



ЗНАМЯ

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

выходит с января 1931 года

содержание

Григорий ДАШЕВСКИЙ	3	Восемь баллад. <i>Стихи</i>
Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ	5	Два рассказа
Константин ВАНШЕНКИН	15	Волнистое стекло. <i>Стихи</i>
Владимир КУЧЕРЯВКИН	19	Я смеюся, мерзавец... <i>Стихи</i>
Юрий БУЙДА	26	О любви. <i>Рассказы</i>
Марк ШАТУНОВСКИЙ	36	креплёное — для дам... <i>Стихи</i>
Абрам ТЕРЦ	41	Кошкин дом. <i>Роман дальнего следования.</i> <i>Публикация и послесловие</i> <i>М. В. Розановой</i>
Александр САМОЙЛОВ	150	Река Миасс. <i>Стихи</i>

мемуары, архивы, свидетельства

Борис ПАСТЕРНАК	153	Начало пути. Письма к родителям (1907 — 1920). <i>Окончание.</i> <i>Публикация и комментарии</i> <i>Е. В. Пастернак и</i> <i>Е. Б. Пастернака</i>
-----------------	-----	--

публицистика

Лев БЕЗЫМЕНСКИЙ	191	Информация по-советски
-----------------	-----	------------------------

критика

Андрей НЕМЗЕР	200	В каком году — рассчитывай... (Заметки к вечному сюжету «Литература и современность»)
---------------	-----	---

май

5/98

Абрам Терц

Кошкин дом

роман дальнего следования

Пролог

Чем дольше живешь, тем быстрее бежит время. Сперва казалось — абберрация. Куда спешить старикам? Молодо-зелено, но старикам-то зачем торопиться? Все одно помрут. Большие дела откладываем на завтра, на старость лет, до лучших времен. Откладываем, в общем, до смерти. Потом замечаю за собой: не помираю. Время идет, а я все еще живу. Ничего не попишешь. Приходится.

Когда обо всем этом думаешь, — естественно, рискуешь. Но без риска какой интерес? Сидеть и лить слезы? Иду ва-банк. Замечаю за собой, что слишком много читаю. К чему бы, думаю, мне столько книг перемалывать ежедневно, когда все одно кранты? Кому это выгодно? Все равно не усвоишь. Два раза на дню мою голову. Компьютер перегружен. Дает сбой. Пока маменька не придумала мне задание писать в трех экземплярах имена зверей, грамота давалась с трудом. А тут выпрыгнул: зверинец! Научился читать и писать. Почти рисую. Пишу «тигр», и тигр потягивается, шевелит усами. Вместо ничтожных букв настоящие звери бегут рысцой по разграфленным тетрадам к вечернему водою. Доброе слово и кошке приятно. «Спать пора», — говорит мама, вернувшись с работы. Откладываем на завтра, и они снятся всю ночь. И все такие пятнистые. Особенно леопард и жирафа. Стараюсь эти золотые слова писать особенно правильно. Не пишу — глажу льва или тигра, и те сияют, обрадованные.

Так я научился писать. А уж потом читать. Воссоздание на бумаге чудных звуков и знаков препинания рисовалось магией, колдовством, но было мне даровано свыше, сверхъестественным образом, вопреки законам природы. Почти как — чудо. Ангелы летают... Не надо приbedняться: мы все бродим рядом с чудом и только потому живем. Черной магией и чернокнижием отродясь не занимался. Все эти гадости мне приписали позднее идейные враги и соперники. Хотя, если покопаться в душе, случалось, подлезал на рассвете, засыпая, под одеяло, словно стремился сдвинуть напоследок свое астральное тело с мертвой точки под таким углом зрения, чтобы видеть под утро сны один другого прекраснее. Ждал, как прорежется третий глаз в сплетении ветвей.

Бархатная ночь. Оле Лукоие. Из тех, что снятся на юге раз в жизни рядом с любимой девушкой. Потрогаешь за ножку — атлас. А уж за коленку — соловьем зальешься. Снулые коготки тамариска и отпечатки пальцев едва мерцают. Дышу все глубже, и звезды падают, как в узкий колодезь, в мою богатырскую грудь. А звезд в небе, как в «Тысяче и одной ночи». «Пошло, пошло», — кричат грузчики, и ты уже ни о чем не гредишь, а только бежишь и бежишь под грузом, который висит в неистребимой высоте над тобой, как ястреб, и так будет продолжаться до конца света.

Ставлю непотребный вопрос: а есть ли у жизни конец и сколько можно подводить итоги? Пока никого нет, тут бы и нам сочинить что-нибудь занимательное. Недаром я читаю старые книги и не могу остановиться. Не в силах разрешить простейшую проблему: почему я так много читаю? То ли нелегкая нашла, то ли уже тронулся. Просто неприлично. Жена ругается по утрам, взяла новую моду, «опять читаешь?» с укором, а я за ночь пролистываю тысячи изданий. Словно столбняк напал, либо какой-то ступор, судороги, конвульсии, онейроидное расстройство, или я не в состоянии вспомнить что-то очень значительное и ответственное в жизни, от чего зависит судьба не одного десятка созданий, доверившихся памяти, которую по непонятной причине у меня отшибло к моему стыду и физическому ужасу.

Рукопожатие смерти. Ни с того ни с сего рука или нога выходят из строя, из повиновения, их почему-то скрючивает и начинает мелко трясти. Хватаешь здоровой рукой трясущуюся конечность, и все, круг замкнулся, тебя всего уже бьет портативным электрическим дрипом, язык бездействует, не в силах расцепиться и прекратить надругательство, и некому сказать со злорадством, что попался, который кусался. Так ведь недолго себя придушить по ошибке. С переляку, с бухты-барахты. Доказывай потом, что без дурных намерений. Клешня сама норовит перекусить морщинистое петушиное горло, и, пытаясь ее удержать, ты хватаешь не пустой звук, а чью-то куриную руку. Опасность, как всегда, выскальзывает у нас из-под пальцев.

— Молчи! молчи! — говорю самому себе. — Курносая скоро вернется. Смерть не за горами! Смерть во все привносит свой саркастический смысл и поджигает обиженно губы, будто ее и не было.

Полная беспомощность. Откатываюсь назад на колесиках и мгновенно засыпаю. О чем писать, говорить, если я чуть что отключаюсь и не могу остановиться? Мне пора. Пальцы перекручены и не могут попасть в собственную прорезь. Пуговицы не слушаются. Все шиворот-навыворот. Завадили, бляди? Вечно не тот номер. То ли это был маршрут, по которому мне было велено если не послать телеграмму, то срочно лететь и билеты уже заказаны, либо с кем-то должен был непременно пересечься. В условленном месте, но с кем персонально, где, — голова садовая, — потерял из вида. Действительно, пока до Бога дойдешь, все ноги обломаешь. Однако не исключается, что речь идет о романе, да к тому же о романе, всем, кроме меня, хорошо известном, вроде «Робинзона Крузо» или «Острова сокровищ», от знакомства с которым зависит ваше личное счастье и взаимное процветание.

Боже, каким ореолом он был окружен, этот недосыгаемый остров, в мои школьные годы и как долго не давался в руки, но и не оставлял в покое. Прельщал, как питон в раю. Вот что самое пронзительное: желтоватый заманчивый колер переплета.

Все кругом — и в школе, и во дворе — сходили с ума и прыгали в восторге вокруг этих островов. Я один еще не читал по своей пролетарской отсталости. У-у-у! Как я им дико завидовал, буржуям!

Наконец маменька, служившая в городской библиотеке, принесла-таки с работы долгожданный роман, но запретила читать поздно вечером и оставила на утро завтрашнего громадного дня. Всю ночь вертелся и не сомкнул глаз в ожидании своего воскресенья. Пока не проснулись мама с Вивой. Значит, уже можно вставать. О, Боже, скольких душевных мук нам стоит любая безделица! Другой бы на моем месте... Нет, глубоким стариком я не сержусь на мать с отцом. Они знали, что делали, отодвигая от меня любимую книгу как можно дальше.

Итак, я уселся с утра на низенькой детской скамеечке, выпиленной на уроках труда своими руками старшей сестрой моей Вивой и вошедшей в семейный состав домашней мебели-утвари, и погрузился в божественный мир путешествий и приключений. Запомнилась картинка, кинутая в аквариум (да, у нас, как у всех нормальных детей, был аквариум) в образе золотого шнурка, спасительной петли ловкому Робинзону, и мы с ним, по аксельбанту забравшись на покинутый бриг, нашли там уйму необходимых вещей и продуктов, позарез полезных каждому мореплавателю, засевшему, как в крепости, на необитаемом острове. Каждому путешественнику в конце пути необходим необитаемый остров.

Все собираюсь освежить в голове инвентарную опись предметов, обнаруженных на том корабле, с таким простодушным жаром, что диву даешься на первобытный реализм, да роман как в воду канул и — пиши-пропало. Не беда, прейскурант Робинзона Крузо принесет урожай сам-друг нашим внукам и правнукам.

Суеверным страхом и пиитическим ужасом поразила меня также картинка, смысл которой лучше всего раскрывает таинственная подпись под ней: «Это была нога человека!». Советую посмотреть. Вообразите, Робинзон, как не знаю кто, истосковался по людям, но от первого же человеческого следа на прибрежном песке у него волосы дыбом и мураши по всей спинномозговой оркестровке! Сколько воздуха в этой ничтожной сцене и какой огонь! А что поделаешь? Людоеды!

Лишь боюсь, не повинны ли тут старческие провалы ума вкуче с мнимыми воспоминаниями. Если не ошибаюсь, кенфабуляцией называется. Не шалит ли Мнемозина? Рассеянный склероз, прогрессирующий паралич... Как бы нам не забыться вечным сном, не заметив, что происходит. Где же тогда будет набрано «продолжение следует»? Есть такое мудреное слово в медицине, и я с ним уже сталкивался не

однажды. По-научному — амнезия. Вернешься домой с улова и хоть бы хны. Разводишь не второпях руками. Улизнула золотая рыбка.

Был у меня милый старик — тоже из разговорчивых, с выражением неизлечимой болезни на затаенном лице. Так он через каждые десять минут переспрашивал собеседника: «А вы когда эмигрировали?» Сперва смеялись, но потом всем без исключения делалось не по себе.

Главное — установить сеть в голове и этому направлению следовать.

А я выбрал вместо бредня японский калейдоскоп на отмени. Мало ли что в голове мешается? Это как живопись Кандинского с английской булавкой и с чорте чем. Все течет и смешивается, все тонет, не успев до конца рассказать о себе. Какой уж тут реализм? Слава Богу, освободился и давай ширять дальше.

Я давно подозревал, что наша память ошибочна. Мы носим внутри не то, что происходит, а то, что нам так или иначе в данную минуту недостает или выгодно. Пройдет минута, другая, и мы начнем (очнись, рамолик) видеть и понимать по-иному. Что в такой неопределенной ситуации прикажете делать художнику? Ловить момент?

Мне уже доказывали, что я не сидел в тюрьме (самое драгоценное время моей жизни). Мало ли что про меня говорили. Говорили, что меня вообще не было. Понимаете — вообще. Вот что смешно! И что уж тут сетовать, что одни воспоминания обо мне или мои собственные накладываются друг на друга и в итоге выходит совершеннейшее не то.

А тут, сбоку говорят о тебе, например, что ты колдун (потому что еще не умер), и всем скопом, толпою, идут убивать. Прилетишь завтра, и вот мое предисловие. Что же до пролога, то пусть говорит Камюэнс: «Одна таинственность — все небо, и чудо дивное — весь мир!»

Все жутко интересно. Если бы не одна мелочь. Я не уверен в себе. Всегда был уверен. Даже до наглости доходило дело. А тут вдруг стал сомневаться. Дайте вспомнить, с чего это началось?

А началось с того, что один ненормальный стал писать мне письма с требованием, чтобы я перед ним покался. А заодно бы покался перед советской властью, которая меня покарала, не получив на это с моей стороны благожелательной санкции, и очень за то обижалась. Не знаю, за что он на меня озлился, кажется, за то, что не признал его Иисусом Христом. Лучше бы ты человека убил, лучше бы ты сына своего зарезал во младенчестве, предлагал он мне покаяться и рисовал картины моих загробных мучений. Форменный садист. Хорошо, когда сумасшедший. А если в здоровом уме?

Кто говорит? Автор говорит. Телефон говорит. Идите к черту! Вам самим пора лечиться. Мало ли какие мысли приходят в голову. Эскиз, если хотите. Ну кошка и кошка. Я не виноват. Каиново отродье. Зрение без помощи глаз. Мы знаем из сновидений, что таковое возможно. Только бы не поехать. А то и не заметишь, как время пройдет.

Лиловый сумрак собора. Витражи. Головокружение. Шартр — я не скрываю. Предвечный сумрак. Молчание. Все видят, а я не вижу. Обидно. Праздник у нас во Франции, как сейчас помню. 14 июля, взятие Бастилии. По Ромену Роллану. В молодости читал. И вдруг как шарахнет. У Эйфелевой башни. То-то зрелище. Фейерверк с того света. Лица, омытые смертью, носят подобие нимба. Одним бамбуком питаются. Молиться не из-под палки, а по изъявлению сердца. Видно, здорово я им всем досадил.

На рассвете скрипит птенец — пить просит, и птицы ведут бесконечные разборки, не давая спать. Думаю с тоской о собственной роли в романе: ничего себе демиург! того и гляди в России снова пойдут стрелять, а ты отвечай... Как наладить промышленность? На месте президента я бы сам украл шмат сала и бутыль джина. В порядке компенсации. Нечего быть ротозеями. И все бы заулыбались: ядерная держава!

Дайте передохнуть. До остановки поезда осталась одна минута. Никто и не заметит. А вдруг наткнусь? Ночами идет нескончаемая перекличка.

Тропики, что ли? Не устаешь фиксировать. Небо едва поблескивает. Да и там-тамы не унимаются. То ли снова ловят просочившихся в лес пассажиров, то ли ночная проверка встречных потоков движения. Мертвые и живые различаются по интенсивности звука, не говоря уже о тональности. Мертвые, считается, звучат мелодичнее, а живые несколько глуше, но те и другие склонны к мистификациям.

Говорят, живые и мертвые не должны пересекаться во избежание беспорядков, и контролеры устали опрашивать переселенцев.

Доносятся голоса с дальних дистанций. Может быть, с того света.

Голоса приглушенные, мужские. Эхо по преимуществу женское (иногда в скобках).

Голос: — Дай мне жизнь!

Я (неожиданно для себя самого): — Ты вернешься к жизни.

Второй голос: — А куда пойдут другие? (другие?)

Я: — На запад.

Третий голос: — А другие? (а другие?)

Я: — На восток.

Четвертый голос: — А другие? (а другие?)

Я: — В землю.

Пятый голос: — А другие? (эхо испуганно, сбиваясь с ноги, торопится: а другие-другие?!.)

Я: — Вниз. Еще глубже вниз. В море.

Шестой голос: — А я? Я?!

Я: — Ты пойдешь со мной...

Голоса смолкают, сцена проясняется, хотя я еще не нашел, куда мне послать шестой голос, и оставил вопрос открытым. Все же оставляя его за собой, я словно пообещал ему что-то хорошее в жизни. Тут распределять места и голоса в мироздании мне изрядно поднадоело, и я подумал, не просыпаясь, не наделить ли этого выскочку в знак внимания каким-нибудь редким свойством — бессмертием, например (конечно, весьма относительным), не превращая, однако, избранника ни в ангела, ни в демона, но оставив, как все мы, грешные, обыкновенным человеком. И вот этот недоделанный тип внезапно закопошился во тьме, и у нас состоялась предварительная беседа.

Я: — Только попробуй. Пароль! Быстро — пароль!

Он: — Атлантида. Отзыв?

Я: — Сатурн... Индекс?

Он: — 215.

Я: — 314.

Мы наскоро обнимаемся, и в ту же минуту я пробудился, бросив моего собеседника на произвол судьбы. Пускай сам уточняет, родились ли львята, куда ведет золотой шнурок и сотни других вопросов, повисших в утреннем воздухе...

декабрь 1996

Глава первая. Небесный кабинет

В Москве в то лето стояла египетская жара. Перебежав под солнцем улицу генерала Врангеля, Бальзанов отпер тяжелую дверь со львами и нырнул в уже знакомый подъезд, в блаженный полумрак и прохладу необитаемого особняка. Холодный, конденсированный воздух хлынул ему в ободрение вместе с невнятными запахами давно не ухоженного жилья. Пахло сухой известкой с едва заметным привкусом люминала и подсохшей уже, закосневшей плесенью — от позабытых дождей, от просочившейся крыши, от лопнувшей в допотопные годы, лукавой канализации. Никакой сырости, однако, либо гиблой вони от помойных ведер не слышалось. Предназначенное на слом и застройку, поруганное гнездо стоически оборонялось, и, казалось, само себя незаметно проветривает.

Дивная лепнина с козлоногими младенцами, нимфами, дельфинами и каскадами винограда на высоченном потолке, облупившаяся кое-где по карнизам, давала знать, что дворянская эта услада начала прошлого века располагала когда-то к балам, к достатку, к пассажирам на фортепьяно, пока, уплотняя жилфонд, ее не раскассировали, не загадили и не выбросили, наконец, за ненадобностью на свалку, в безумный кавардак приарбатских переулков. Но дом все еще дышал. В жестокие морозы он отдавал благодарно накопленное за лето тепло, а в зной источал назидательную прохладу.

Связку ключей от бывшего ученика, а ныне милицейского начальника Бальзанов получил легко. «Лады, Донат Егорыч, — сказал ему майор Петухов, — сходите в разведку. Пускай вы и на пенсии как заслуженный учитель, держите хвост пистолетом!»

Менты — грубый народ, да за Бальзанова горой. Скольким он выдал путевку в жизнь! Не считая грамотности. Чего-чего с ними только не изучал? Письмо Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне. «Луч света в темном царстве» по драме Островского «Гроза». До сих пор частная клиентура идет от давних подопечных. Дети, внуки, приятели вчерашних учеников. А то, что иногда зубоскалят, он не в обиде.

— Берегите стеклянный глаз, капитан. Выбьют — второй не купите. Ни пера ни пуха.

И точно, подумал Бальзанов, девка — не баба, глаз — не п.да... Вслух же сказал:

— К черту! Не хипешуйте, орлы! А ты, Пашка, вообще молчи. Братское чувырло! Марушник!

Они так и покатались:

— Наблатыкался!

А какой он им капитан? Шутейное прозвище. Спасибо «сыщиком» в лицо не зовут. И все из-за невинной слабости: любил Бальзанов гулять по заброшенным домам. Из комнаты в комнату. По лестнице. Обмылки старых книг. Обрывки газет. Тени забытых предков... Всякий словесник в наши ненадежные дни все-таки немного историк...

— А дом ваш занюханый уже шестой месяц в аварийном состоянии. Ни тпру ни ну. Куда смотрит земская управа?..

Хорошо в доме. Свежесть и тишина гробовая, словно в запертой церкви. Был бы Бальзанов суеверным — самое время о душе подумать, о бренности мира сего. Сик транзит. Паутина по косякам. Раковина внизу, как водится, разбита. Унитаз бездействует. В парадной зале, в бывшей гостиной, разделенной на четыре пенала, кто-то пробовал в одночасье ломиком расковырять и выудить ореховые паркетины, да так впопыхах и ушел ни с чем. В предполагаемой спальне он пошарил карманным фонариком и ахнул. Поперек стены, по ветвистой трещине, как по городскому шоссе, беспечально струились двумя ручейками вездесущие муравьи низкорослой восточной породы. Будто служащие в час обеденного перерыва. Зараза на нашу голову. Вы читали о термитах? Дай им на откуп обесточенное жилье, они же его мигом растащат. У них в подполье, небось, тоже кипит строительство за счет разоряемой храмины. Бальзанов немало насмотрелся, как перекачивают деньги из банка сверху вниз и обратно, и смело мог сказать: жулье! черная индустрия! Сколько ни сватался, куда ни бегал, так и не докопался, поставлено бесхозное здание на капитальный ремонт или его за давностью срока вычеркнули из списка. Темнят, твари. Как полагается у нас, никто ничего не знает. Тогда он сказал, замыкая на железный засов подпорченные червем, но все еще лоснящиеся по-барски двери: «Молчать! Я здесь начальник!» И дом безмолвствовал...

Мышами между тем и не пахло. И это интересно. В аннулированных, опустошенных квартирах плодятся беззастенчиво мыши, выедая остатки-сладки вплоть до ржавых матрасов. А судя по всему, — после выселения хозяев — сюда вообще не ступала нога человека. Непотревоженная пыль лежала на высоких, под мрамор, толстых подоконниках. На исполинском камине, который небось сто лет не разжигали, а берегли как пьедестал для поломанной, но фасонистой жардиньерки, — тоже. И на письменном столе о трех курьих ножках — в «небесном кабинете», как его мысленно окрестил и пометил на схеме квадратиком наш сыщик, — пыль...

Заколоченные нестругаными щитами окна бельэтажа пропускали в полутьму свет сверхъестественной яркости, и вся эта просторная комната, фасадом на улицу Генерала Врангеля, представилась на мгновение шкурой бенгальского тигра. А в ореховой полосе, за продавленным диваном, — лампа!

Они встретились глазами и страшно друг другу обрадовались. Золотистая такая, пузатая, с медным абажуром. Сияет из угла. Будто дразнится, улыбаясь: «А я тут пряталась! Еще до твоего вторжения! Как ты меня раньше не заметил? Разиня!» И когда Бальзанов взял ее в руки и сдул осторожно пыльцу, она слабо вякнула и затенькала, как пятилетняя девочка: «Не здесь я стояла, а там. Выше! Еще выше!» И повела золотой головкой по голубому небосводу. Небосвод и вправду был голубым, когда бы обои по кабинету не потускнели от ветхости и не отклеились местами от стен. Сбоку, на покалеченном столике, она и возвышалась, красавица, либо царила над миром с отсутствующего ныне, запроданного антиквару великодержавного книжного шкафа, с выписанного из-за границы, инкрустированного пер-

ламутром бюро или еще с какого-нибудь стреноженного престола, озаряя то лоб мыслителя, то лысину дипломата, то розовые щечки милой вазелиновой барышни, строчащей очередное послание бесцветному своему кавалеру...

Да вот, смотрите-ка, и послание! Бальзанов поднял с полу затоптанное письмо — без адреса, без подписи, без даты — с остриженными придирчиво началом и окончанием. Кто-то над ним, видимо, уже потрудился, удалив все подозрительное и заслуживающее внимания. Некоторые абзацы были аккуратно замазаны. Примерно так работает военно-полевая цензура.

«...за это время просветлел мой разум, и я пришла к выводу, что всему виною, здоровью и моей жизни — Сергевна. Она хотела меня увековечить и рулить мной, как ей вздумается, и это ей удавалось. Дорогая сестра, сколько раз обрывалась моя душа и холодело мое сердце от ее слов, озорства и выходов! Не могу тебе передать, а себе простить, что я терпела и как я могла попасть в такой омут. Где я познала срам, безобразие, сорвала свои нервы и проклята до мозга костей, за что? Я думала и мечтала, что только я должна жить хорошо, к чему стремилась всю молодость, училась всякому делу и осталась брошена в бездну!

. Ни его, ни мои родные не хотят к нам ходить. У меня были мысли, что я была замужем, что не хотели, может, меня брать? Но все вылилось в скандале зимой из-за квартиры, и я поняла. Да разве станет свекровь гостевать, когда она халила их по всему поселку, а мне пела другое. И вот насколько я доверялась ей как своему человеку, потупел мой разум, и все пошло самотеком, вся жизнь пошла у всей Малаховки на виду.

. Настенька! Вот был случай при тебе, как она меня уложила спать с этим парнем. А мне говорит: вот, Клавка, какого они о тебе мнения — поверили! А теперь что она со мной сделала? Мне только надеть намордник, а в душе я ничего не имею. А сколько было таких случаев у меня с ней, я молчала, но в душу складывала. Все-таки я не дура, просветлел мой разум, и я поняла и этим довольна. А ведь людям-то не докажешь, ведь с моей стороны сколько было дурных выпадов, когда я чуть не спятила, а потом каюсь горько и не сплю ночами. А люди-то говорят: «Твоей тетке надо памятник поставить при жизни, как она о тебе заботится». У меня в душе сколько раз были такие моменты покончить с ней навсегда, а услышу от людей, остановлюсь, опять в душе все подавлю и не велю себе до другого раза. И это затянулось на несколько лет.

А сегодня я первый раз в жизни решилась погадать у сербиянки. Она мне добавила к моим мнениям, что тебя испортила виновая дама. Она клала твои волосы и следы в могилу с покойником, чтоб ты была ни в живых ни в мертвых. Ты ходила по больницам, но тебе не помогает. Это верно. Ревнует меня к каждому столбу и ни с кем жить не дает — ни с Васькой, ни с Николаем Ивановичем. Собрала я все документы для детей, устрою их в садик рядом и порву с ней навсегда. Даже не возьму от нее тряпицу, как бы мне ни приспичило. Пусть меня судят люди, судит Бог, ну а как же я должна жить, теряю сознание. Чать у меня двое детей.

Сима опять меня ругает, говорит, напрасно. Мол, на Юрку не надейся, а она тебе все-таки помогает. Да, говорю, вылезла мне в бок ее помощь. Встревожили мои нервы, я на них накричала, а зачем — сама не знаю. Когда мы жили в Москве, зажжет лампадку на 6 недель, говорит — с мужиками не спят, грех. Подушки мои перетасовала с довоенным пером.

Ведьма! А сама всем рассказывает, будто я у нее пух из перины краду, паскуда.

Дорогуша, ты не плачь и не расстраивайся за меня. Надо мне с кем-то поделиться. Все будет хорошо. Я полечусь у старушки».

На конверте с оборванным адресом дописано крупными буквами:

«ПРО КИЕВ НИКОМУ НИ ЗВУКА».

Безграмотное это создание сначала не возбудило у Бальзанова никакого инте-

реса. Ради чего, подумалось ему, люди так сражаются? Да еще скользнула у него в уме «виновая дама». Карточная масть?.. Или опять виноватого ищут? Вспомнил и тут же забыл. Что ему до бабьих вздоров? Но сочетание имен — Настя и Сергеевна... Сергеевна и Настя... — чем-то задело, и он, сунув бумажку в карман, обернулся к лампе.

Медная, конечно. Дореволюционного виража и стажа, заморской, видать, чеканки. Испещренная, если рассмотреть в лупу, мельчайшими ссадинами, шрамами, завитками. Без изъятий. Здоровенный, правда, синяк под глазом, на месте старого тавра. С кем не бывает? Медаль за отвагу. «Кому нужны наши ордена? — с горьким сочувствием подумал Бальзанов. — Кто оценит их в этой дыре, посреди хлама и мусора, в толпе покореженных монстров и неизлечимых инвалидов? Разве что пробежит по зацветающей борозде опоздавший к общим работам муравей-землепроходец. Не оставляя отпечатков. Да я, отставной козы барабанщик, поглажу ласково пальцем ее вычурную спинку. Служила верой и правдой не одному поколению недорослей. Ворковала вокруг да около семейного камелька. И на тебе — изгнание и забвение в придачу». Впрочем, Бальзанов едва ли был целиком прав. Нет, судя по всему, лампу не засунули в нищенскую рухлядь, предназначенную к ликвидации и раскиданную по комнатам. Ее поманили надеждой, оттерли предварительно мелом от сала и копоти — блистай, лампа! — от бессознательных предрассудков и страхов, будто бы за неисправностью снесут ее в утиль, и просто запаматовали в предотъездном бедламе эвакуировать в новый район, на именитое местожительство, во славу и продолжение ее исторической миссии.

Так, переговариваясь с бесприютной лампой и оглядывая ценное изделие со всех сторон, Бальзанов нажал нечаянно выключатель, и она вспыхнула у него в руках и зажглась во все свои девичьи 100 свечей. От неожиданности старый учитель выругался. Что за дьявольщина?! Электричество, вроде, давно уже отрезано, а лампа знай себе горит. Ночью можно работать. Но не успел он изумиться первому своему открытию и вполне его оценить, как наставница-лампа повлекла его чуть ли не за руку к своему законному месту на письменном столе и спрашивает: видишь?

Надо думать, он бы и сам через несколько минут добрался до ящика, вырванного с корнем и положенного на стол, ровно гроб с покойником.

В ящичке валялись пачки фотографий Очаковских еще времен и покоренья Крыма. Бальзанов с интересом перетасовал благородное собрание. И кого он тут только не встретил! Вислоусые помещики в модных когда-то венгерках и сердобольных сюртуках, дамочки в грандиозных, страусовых шляпах коварно улыбались и строили из-под шляп анютины глазки с вечным намеком «женитесь на мне, и я вас осчастливлю», бородатые бабушки-дедушки, привет из Мариуполя, с ружьем, на пароходе, чиновники с преданным, чистосердечным взглядом, сановники в звездах, некрасивые курсистки сжатыми губами выговаривали «вот тебе, вот тебе!», лопухие гимназисты в фирменных мундирчиках, толстомордые няни и барыни в кринолинах, ершистые студенты-народовольцы, готовые запеть варшавянку, один студент даже ехал на велосипеде на зрителя (вероятно, на фоне кавказских декораций ему, чтобы не упасть, были вставлены в ателье невидимые распорки в колеса), не говоря о детях — голышом, в шахматы играют, в матроске, на маскараде, нога на ногу, как большой, рядом с мамой, верхом на пони. Казалось, весь дом высыпал на него, хотя Бальзанов сознавал, естественно, что в полном составе они здесь не уместятся. Да и вся команда уже вымерла. Ну, в лучшем случае два-три зазнобыша из почтенного семейства еще где-то прозябают.

Некоторые фотографии — исключительно мужчин — были гильотинированы. Точнее сказать, невредимыми оставались только головы, по самую шейку отрезанные от туловища. И дураку ясно, что это были офицеры — не белой, а еще царской армии, — лет сто уже как убитые. Спасая дорогое лицо после революции, родственники и знакомые или сам аника-воин, чудом уцелевший, ножницами устраняли нижнюю, компрометирующую часть тела: погоны, аксельбанты и другую музыку. Наивные люди! По отрубленным головам можно было спокойно вычислить и вырезать всю семью. Потом-то ими гордились, но головы уже не пришьешь.

В одном портрете с нафабранными усами и лихо сдвинутой фуражкой внимательный взгляд следопыта без труда обнаруживал черты явного мошенника. Ну, быть может, не вор, рассудил Бальзанов, а карты передергивать мастер, фальшивые деньги сбывает, амуницией приторговывает. Видно по улыбке: продувная бестия. Хоть прямо хватай с фотографии и волокни в каталажку. Ни усы, ни чины не спасут. Кодекс чести... Но мошенник уже был обезглавлен.

Посреди бардака фотографий, наспех, небось, кем-то уже перлюстрированных, белело несколько выданных страниц из никак не обозначенного фолианта. Нормальный типографский текст напоминал тайнопись, криптограмму и требовал разгадывания. Пускай на дворе стемнело — новоявленная лампа поможет исследователю скоротать первый свободный вечер в чужом доме. Бальзанов пододвинул к свету ошметки бывшего кресла и стал читать.

«У вас ли мой прекрасный башмак? — Да, он у меня. — У вас ли мой золотой шнурок? — Нет, у меня его нет. — У вас ли мой новый платок? — Нет, у меня его нет. — У вас ли мой гусь? — Нет, у меня свой петух. — Есть ли у вас серебряный шандал? — У меня оловянный шандал.

— У вас ли мой золотой шнурок? — Золотой шнурок у меня.

— Какой орел у вашего брата? — У него молодой орел нашего соседа. — У вас ли железный молот кузнеца? — У меня его нет. — Любите вы табак? — Нет, я его не люблю. — Что же вы любите? — Я люблю чай и кофе».

Абракадабра какая-то! Ни один ключ не подходит. В отрочестве увлекался Бальзанов способами шифровки. «Квадратный», «квадратно-гнездовой» способ, «звездно-квадратный», «интегральный», «травопольный», «цифровой», «шифр нигилистов», «квакша», «адмирал Нахимов»... Этот же текст, по сравнению даже с древнеславянской «литореей», был элементарен. И, тем не менее, составлял шараду!

«— Красный платок у меня или желтый? — У вас нет ни красного, ни желтого платка, у вас мой золотой шнурок.

— Сколько коней у вас? — У меня пять коней. — Хотите ли вы мой нож? — Нет, я его не хочу. — Где видите вы трех больших слонов? — Я вижу их у нашего богатого соседа, у которого три дома. — Имеет ли дом купол? — Нет! — Есть ли у солдата кивер? — Да!

— Сколько крыльев у соловья? — У него два крыла.

— Который час? — Двенадцать с половиною».

Бальзанов невольно сверил часы. На хронометре было ровно полпервого. Совпадение, конечно. Впрочем, у них в книжке, по всей вероятности, стоял тогда день, а у нас ночь. Учивая болтовня двух надутых идиотов начинала утомлять. Куклы какие-то, немцы, наверное. При чем здесь «орел», «слоны», «шандал оловянный» и «двадцать два воробья»? И что это за таинственный «золотой шнурок», который то обнаруживают у себя славные бюргеры, то периодически теряют? Безусловно, старый учитель понимал, что все это не больше, чем кодовые знаки, замаскированные флажки, которыми обмениваются между собою не люди, а спрятанные за ними слова или цифры, если ключ двойной и замок с двумя оборотами. Возможно также, каждый лист негласно пересекался с другими страницами, а скрытый смысл должен проясниться в конце издания, но конца, однако же, не было. Текст походил отдаленно на школьную головоломку в журнале «Вокруг света», доставлявшую нам всем во младенчестве немалое удовольствие. Тончайшим витием и шитьем изображался девственный лес без единой живой души. А под картинкой — вопрос отважному читателю: «Где спрятался охотник?» Должно быть, тот охотник был Робин Гудом и отменным браконьером. Ползай по листу пальцем хоть два часа — ни за что не найдешь! Но стоило приставить рисунок ребром к носу и взглянуть на замысловатый пейзаж с угла, как открывалась истина, до того очевидная, что становилось смешно. Охотник, пока мы за ним плутали по лесу, влез на дерево, привязал к двум вершинам гамак и мирно почивал среди ветвей, бездельник, поближе к небесам. Смотришь вниз, — из-под куста второй охотник, меньших размеров, строит мерзкую рожу, целя в ненаглядного зайца. А там уже — идите все сюда! скорее! — третий охотник крадется по траве, примериваясь к тетереву. Бальзанову стало грустно. И это не считая собак...

«Видите ли вы эти прекрасные похороны? — Да, я их прекрасно вижу. — Кого видите вы там в цепях? — Я вижу в цепях убийцу нашего хорошего соседа, бедного кузнеца».

Тарабарщина укачивала, не отпуская от себя далеко и становясь как будто понятнее и прозрачнее. «У вас ли мой золотой шнурок? — Да, он у меня». Баль-

занов стоял на Полянке, возле гастронома, щекой к мимоидущей толпе, обдумывая, не подарить ли Лариске на женский праздник 8 Марта сумочку на золотом, через плечо, шнурке. Такая симпатичная сумочка только что промелькнула перед ним на Полянке и уплыла вместе с дамой и золотым шнурком.

Между тем, невзирая на молодость, которая ему грезилась, и здоровые в те времена оба глаза, соображал попутно, что остается преподавателем Бальзановым, что топтуном никогда, слава Богу, не работал и никакой Лариски у него отродясь не бывало. Была Оля, но это другой разговор. Но к чему отвлекаться, подменяя объективный рассказ частной автобиографией, пускай — не совсем бесславной. Автор и сейчас касается зыбкой материи снов, лишь поскольку она подкрепляется строгим документальным материалом. К сожалению, перед снами, во сне всякий человек незащищен и порой такое замыслит — как Бальзанов со своей мифической Лариской, — что хоть святых выноси. Ан, в обратную сторону уже не повернешь. Думал? — Думал. — Видел? — Видел. Держал руку на пульсе? — Не держал, а только... да и то во сне. Вот за это теперь и расхлебывай.

Боковым зрением, не поворачивая тугой головы, Бальзанов все замечал и фиксировал. Народ валит с работы, вталкиваясь монументально ногами в мартовскую грязь. Но его объект наблюдения, фигурант на сыскной фене, по закодированному оперативному прозвищу Проферансов, не выходит, как обещали в верхах, на явку. Осторожничает, собака. Страхуется. Или наверху перепутали. «А ты — терпи, недосыпай ночами, со своим золотым шнурком и бесстыжей Лариской в сердце, — ворчал про себя Бальзанов. — А марушник Пашка опаздывает...»

Прочавкав по той же каше, а местами, где слишком слякотно, перелетая по лужам, что твой воробей, Бальзанов нелегально возник на Пятницкой, напротив ресторана «Балчуг». Пролистал теплый еще номер «Вечерки». Наши забили канадцам две шайбы. Температура воздуха в сводке минус один по Цельсию. Ожидается переменная облачность. Ничего себе минус! Ботинки раскисли и ядовито повизгивают. Сравнительно светло. Вечер почему-то задерживается. И Пашка Петухов, как всегда, портачит, опаздывает на смену, как прежде на первый урок опаздывал: «Простите, Донат Егорыч, не поспел с дежурства». В той же «Вечерке» фельетон «Похвала глупости». Про начальство... Где-то уже читал что-то похожее. Не упуская ресторан «Балчуг», Бальзанов продолжал просматривать газету. Опять двадцать пять!

«Что я вижу там на улице? — Вы видите там хорошенькую женщину с очень хорошенькими детишками. — Собачка ли это, которую я вижу? — Нет, это не собачка, это свинья. — Но почему вы покупаете зонтик, вместо того чтобы купить трость?»

— Не слишком ли много вы едите? — Нет, я пишу слишком мало.

— Что у вас украли? — У меня украли прекрасные часы и золотой шнурок, который я купил в Париже. — Стреляйте же, теперь ваша очередь! — Спасибо, я только что выстрелил...»

В ту же секунду створки «Балчуга», мановением швейцара, раздвинулись с металлическим звоном и выпустили из мраморных недр драгоценного фигуранта. Ничего не слышав о нем, кроме клички Проферансов, не видя никогда раньше даже на фотоснимках, Бальзанов тем не менее мгновенно его узнал. Тот самый! Такая, значит, сила внушения исходила от его фигуры и скрытой внутренней подлости. Ну, буйвол! В распахнутом широко пальто, с крупным телом бывшего борца и гимнаста, с транзистором на груди, он дружески улыбнулся, как бы давая понять, что тоже узнает Бальзанова, и пересек улицу. Шел на вы, не таясь, таким медведем, вставшим на задние лапы, и, приблизившись, сказал по-конспиративному тихо и глядя в сторону: «Напрасно, — говорит, — вы стараетесь, заслуженный учитель Бальзанов. Ничего у вас не получится. Только себя погубите. И в бумажке, — говорит, — над которой вы корпите и чуть было не уснули, нет никакого шифра».

И, произнеся эту загадочную фразу, он театрално рассмеялся. А сам, невооруженным глазом видать, подшофе. Из разинутой пасти доносилась нежная смесь ликеров «Шанель №5» и «Герлен» с аперитивом «Кот дю Рон». «Впрочем, — подумал Бальзанов, — не такой я дегустатор, чтобы разбираться в питейных нюансах, да еще на расстоянии, да еще во сне, когда обоняние притупляется». До него доносились не столько запахи, сколько оттенки этикеток, которыми сопровождаются эти редкостные напитки, широко известные во всем цивилизованном мире. Тем временем японский транзистор, болтавшийся на груди Проферансова, словно крохотная болонка на золотом шнурке, мелодично наигрывал танец маленьких лебедей с саблями.

Обронив свое веское и решительное кредо, не вполне понятное Бальзанову в тот щекотливый момент, лиходеи преспокойно зашагал дальше в направлении Кремля, к месту назначенной явки. Бальзанов, естественно, за ним, далеко не отставая, хоть был дезавуирован, как мальчишка, в жгучих глазах противника. А что оставалось делать? Брать негодяя у него не было полномочий, да и ничего криминального пока что он вроде бы не совершал. Упустить же из виду не позволяли совесть и обострившийся донельзя инстинкт разведчика, подсказывая, что впереди и позади Проферансова клубится по дороге великая беда, и если не ты, русский сыщик-доброволец Бальзанов, то кто же еще спасет от нее беспечное человечество?

Между тем, спина, за которой наш герой следовал буквально в десяти шагах, на Чугунном мосту вдруг согнулась, осела, съежилась в объеме раз в двадцать — тридцать, подпрыгнула, и шарик — не шарик, мячик — не мячик, золотистый клубок покотился по тому же пути, прямым курсом на Красную площадь. Только с обратного заезда, чем ходили когда-то у нас на демонстрации. Махонький такой, однако ж, мохнатый, что твоя Колхида... Бальзанов забежал к нему с фланга и мог удостовериться, что это был все тот же Проферансов. К ужасу своему, лица он не запомнил, но суть Проферансова так и перла, так и скакала у него между ногами. Как бы не раздавить! И ведь уйдет, сука!..

Вот где нам нужна товарищеская помощь. Шайбу, шайбу давай! Рация не работает. Ребята, если вы живые, пасуйте, передавайте, ребята! Пас, ребята! Пас!..

И не зная, как выпутаться, он проснулся в каком-то тяжелом, зловещем недоумении. Случалось ли вам, читатель, видеть во сне человека, которого вы не знаете, но вроде бы почему-то знакомого? Очнувшись, вы ломаете голову, стараясь подробно припомнить, кто же это такой, пока не возникает уверенность, что вы хорошо с ним знакомы, но только по иным сновидениям, быть может, более ранним. Словом, появляется ощущение или, если хотите, иллюзия, все более крепнущая в сознании, намек, заявка на человека, сопровождающего вас, хотя и недоступного, и вам персонально враждебного, перетекающего из одного сновидения в другое... Подобное чувство возбуждал у Бальзанова Проферансов, про которого он в сущности знал лишь одно, что тот — писатель, притом лично ему глубоко антипатичный и даже, вероятно, опасный.

Не исключено, что здесь сказались последствия бессонницы, которой Бальзанов страдал в результате давней травмы. Сперва он даже радовался: не заспишься, да и ночью в тишине работать намного сподручнее. Простор для размышлений! И вдруг, к своему стыду, на первом же витке провалился. Заснул, как суслик...

Едва светало. Щелястые окна сделались белесыми. На часах половина пятого. «Пора домой, — решил наш герой. — Дочитаю последний листок, и айда, Бальзанов. Значит, говоришь, ничего, говоришь, загадочного. Ну это мы еще посмотрим! Где, бишь, я закимарил? Там какой-то охламон спрашивал второго болвана: «Который час?» И тот отвечал с апломбом: «Двенадцать с половиною». Помнится, тогда я сверился с часами, отметил совпадение и вскоре отключился... Ничего не понимаю!..»

Фразу-то он нашел, ту же самую фразу, но звучала теперь она немного по-иному. На сей раз болван отвечал четко и внятно: «*Четыре* с половиною». И какая точность! Словно типографские знаки передвинулись, равняясь на стрелки бальзановского хронометра. Что такое возможно, он не допускал. Но это говорило о мере давней усталости. Вот и задремал на лету, что с ним нечасто случалось. И всякая чепуха лезет в дурную башку. Забываются слова. В грамматике путаница. Составлял эту абракадабру, правда, тот еще знаток языка. Конец по нелепости не уступал началу.

«Хотите вы купить этот замок? — Я хочу его купить, но у меня нет денег. — Отрежьте мне кусок говядины. — С величайшим удовольствием!

— Кто стучит в дверь? — Это я! Хотите вы мне отворить? — Чего желаете вы? — Я пришел просить вас отдать мне деньги, которые я вам одолжил. — Если вы будете столь добры и придете завтра, я вам их отдам.

— Но у кого золотые шнурки? — Ни у кого золотых шнурков не было и нет».

На этом выдранные листы обрывались. Бальзанов пролистал до финала и плюнул. В тот же момент лампа начала мигать. Вот-вот перегорит. Или шнур испорчен? Он наклонился посмотреть, где у нее розетка, и поежился. Ни розетки, ни шнура у нее не было. Лампа светила и мигала, вообще не включенная в сеть. Самовозгораясь как бы от себя персонально. Но такого не бывает. Где источник?

На батарейках, наверное. Вставленных в ее основание. Но, с другой стороны, отчего так ярко, почему так долго?.. Бальзанов усмехнулся. Ему показалось на секунду, что он препирается сам с собою, наподобие той пары дегенератов, что вела бесплодный спор о золотом шнурке... А лампа между тем все мигала и мигала, и он обратил внимание, что вспышки и угасания в ней совершаются с определенной, пускай и быстрой, периодичностью. Лампа явно пыталась — своим способом, на своем языке — с ним заговорить.

Тут Бальзанова осенило: в электрических позывных повторялась одна гамма: «Убийство на втором этаже. Колдовство под кроватью». На словах «колдовство» и «убийство» менингитная проволока в ее пустой голове так яростно накалялась, что лампа грозила лопнуть от переполнявшего ее волнения и негодования. Казалось, она кричала, она взывала к нему и ко всем трудящимся. Перед этой вопиющей действительностью кошмарный сон с Проферансовым представлялся детским садом.

В колдовство Бальзанов не верил и сказал шутливо лампе: «Сама ты колдовство», не имея в виду ничего дурного, на что она то ли обиделась и перестала мигать, вернувшись к обычному, нейтральному освещению предметов, либо, наоборот, довольная доставленной информацией, участливо засияла — он не понял.

Со светильником под мышкой Бальзанов отправился в обход второго этажа. Ничего особенного. Квартиры, правда, более опрятны или прибраны. Вереница комнат. Пройдешь по одной, заглянешь направо-налево, — пустота. И так все другие. В конце анфилады кто-то пробежал. Метнулись тени. Но он был не из робких.

Это просто кошка. Должно быть, с чердака через крышу. Все спокойно. Если не считать сбежавшихся на верхней площадке, выставленных и поломанных стульев, образовавших баррикаду. Издали, как в тумане, увидел медленно приближавшегося к нему незнакомого человека. Маленький, тщедушный, уже в годах, и несет перед собой, представляете, медную лампу. Посмеялся. В разбитом, в конце коридора, зеркальном шкафу осмотрелся. Все наперекосяк. В одном куске зеркала отражался стеклянный глаз с орлиным почти выражением, а второй кусок — выношенная уже наполовину, но зрячая физиономия.

Кровати нигде не было. Зато был чуланчик. Без обмана. Только все колдовство уместилось пока что в одном чемодане. Кучка пожухших манускриптов. Письма. Пробежал по первому попавшемуся.

«Андрей!

Сейчас полшестого утра ... очнулся от оборвавшегося сновидения, которое было насчет Вас ... писать Вам это письмо ... Мое имя и фамилия Юрий Савловский ... отношения наши оборваны ... не в попытке их возобновить, а только ради Вашего блага, ... Ваше появление в моем сне было для меня полной неожиданностью.

... совершая побег, ... Всего-то и нужно легонькую дощечку приподнять, закрывающую лаз ... ее только с той стороны, с Вашей, можно приподнять, где вы возле моего лаза ... а под вами как раз вот это отверстие ... только руку, чтобы ее отодвинуть. «Андрей, это я, Юра ... выпусти меня на волю...» И не веря своим ушам, слышу: «Не отодвину...»

... полно друзей ... право объясниться ... обратно в туннель запихнуть ... непростительное ... из лагеря писал вам письма ... что я чудовище ... под вами в туннеле до конца жизни. Я хотел ... и слышать не хочет ... стена отчуждения ... Ваш двойник ... наглость ... никакая не наглость ... безнадежны ... прощайте... До Суда Божия...

... невинен как агнец ... помочь Божьему делу ... дурных целей у меня не было... вознесен к Богу ... Что же натворил Андрей?..

... провинились перед Богом, отказавшись выслушать меня ... мне Богом поручено ... а ради этого дела... Христа ради ... так перед Богом не поступают ... я с деревянным крестом ... подлые иностранцы из посольского автомобиля ... психушку ... которую мы распили под рассуждения о необходимости реформации православия ... общего Божьего дела ...

... научной литературы о загробной жизни ... существует, и возмездие в ней ... ради спасения Вашей души ... я вовлеку Вас в проект общего нашего с Вами ... включая ... Бродского и Солженицына ... десант в Португалии ... западная зараза гедонистического эгоизма ... писал Вам в Париж восемь лет тому назад ... невозможна ... не знал ... стало ясно ... »

«Завтра, — подумал Бальзанов, — изучу». Прошелся вторично по второму этажу. Ничего занимательного, кроме пустых бутылок. Разных марок. Одна, между прочим, «Кот дю Рон». На дне темная жидкость. Недопита. Завтра изучим. Эх, как сказал поэт, разумея нелегкую профессию правдоискателя: «Изводишь единого слова ради тысячу тонн словесной руды!» Бальзанов часто повторял себе в утешение эти золотые слова.

Вшивая раскладушка, прикрытая шерстяным одеялом. Венский стул, который выглядел особенно одиноко в центре пустой комнаты. Сиротливый телефон на голй стене. Забыли срезать. Он снял трубку. Ни звука. Разумеется, отключен. Но кто-то же все-таки добивался его через лампу? Неужели в этих стенах есть какая-то живая душа?! Ну, хорошо, не здесь.

Электрические сигналы, бывает, подаются на больших расстояниях. Но где-то. «Десант в Португалию? Настя? Андрей? Кошки? Бродский? Россия? Лета? Лоре-ля? Гогры тужероскип! Кто зовет меня на помощь? — вздыхал Бальзанов. — Неужели у меня есть единомышленники, последователи? В Москве, в России, на белом свете...»

Глава вторая. Желтая опасность

Таксист меланхолично насвистывал маленьких лебедей и, внезапно, озлясь, обрвал программу.

— Не там ищем, шеф! Не за теми охотимся!

Бальзанов про себя матюкнулся. Проходу нет от доморощенных Пинкертонов: стоило намекнуть, что он как-то связан с милицией и что срочно надо в Бескудники и немедленно обратно, как шофер — будьте любезны — уже вставляет поправки и предложения московскому угрозыску.

Из-за таких мудозвонов, между прочим, мы и просрали Россию. Наломали дров. Одних высланных из Москвы бывших плюралистов — 14 тысяч, не считая пуперлеев, ксикоманов и подпольных алкоголиков. Цвет нации, позволительно заметить!.. Каждый воображает себя властителем дум и лезет распоряжаться. Каждый! Воображаемая страна...

— На всякую хитрую задницу, папаша, есть хер с винтом! Правильно я говорю? Что делать, спрашиваете? — от желтых очищать Россию. Желтых пора выводить на промокашку! Желтая опасность угрожает первопрестольной!.. Да вы сами знаете... Знаете, наблюдаете каждый Божий день и делаете вид, будто ничего серьезного. Правильно, папаша?..

— Это японцы, что ли? — Бальзанов невольно подыскивал аргументы, удобные собеседнику. Желтой опасности он не ощущал и впервые о ней слышал. Но доверительная, панибратская манера обращения обволакивала и заставляла перейти на абсолютно безумную точку зрения. Когда вам твердят «правильно я говорю» или «судите сами», «как честный человек вы должны признать», «вы же понимаете», «наука доказывает», «всем известно», вы невольно соглашаетесь. Вы поддаетесь гипнозу и начинаете видеть, чего сами не замечали. Нет чтобы просто послать: «А иди ты в болото!..»

— Зачем японцы? — обиделся шофер. — Японцы нам не указ. Роли не играют. А эти — международный комплот. Тайная организация. Заговор. И у каждого, обратите внимание, опознавательный знак! Чтобы не спутать с нашими! У кого желтая кофточка, у кого цветочек. Ленточка, между прочим. Как вы сказали: откуда и почему появилась в Москве желтая угроза? Так это вам заниматься, вам расследовать! Вам! Правильно я говорю?.. Как — чего хотят?! Мирового господства, естественно! Гегемонии! Как при Гитлере...

Бальзанов промолчал. Гитлер его не занимал. И даже Сталин не занимал. Его занимала Москва. Как где что плохо лежит, она тут как тут. Не надо объяснять. Но в этот ранний час, если посмотреть сверху, с холма, Москва валялась перед ним, как нищая, неприбранная старуха в жалком полицейском участке, разбросав насколько хватает глаз свои тощие, бесчисленные руки и ноги. Бедная, исхудалая, вороватая Москва!.. Еще не открылись магазины, не выстроились очереди за крестиками-ноликами, а она, спящая, была готова потрафлять всякому, кто к ней прильнет. И молчаливому сыщику, идущему спать с бесперспективной ночной работы, и маленькой домохозяйке, вставшей затемно включить водопровод своему расписному огородику

под окном, и студенту навеселе, оставленному на переэкзаменовку в столице, и стайке усталых барышень с вокзала, бредущих назад, по домам, не солоно хлебавши...

Этому чувству домашности способствовала погода. Жара не упала к утру, а лишь сгустилась. Парило. На голове образовалась воздушная шапка-ушанка, которую не могли рассеять теплые шлепанцы ветра, бившие по щекам, когда водитель опустил наконец-то боковое стекло.

— А почему так трясет? — спросил седок по наивности. Они приложились два раза как следует, до скрежета. Выбрались на Павловскую и подскакивали на ухабах. И поразителен был философский ответ шофера:

— Таков конец многих великих империй!..

И пока он опять не завел шарманку о желтой опасности, Бальзанову захотелось подумать о чем-нибудь приятном. Таков минимум у каждого из нас — о чем-нибудь добром подумать, пока везут. Ничего больше. И начал мечтать, куда едет. А ехал он в Бескудники, к Суперу, юному другу. Показать замысловатую лампу, чинчином лежавшую на коленях в акушерском саквояжике вместе с халатом и фотоаппаратом. Пусть развинтит. Проверит батарейки. И передаст Андрюше, пускай тренирует Матильду, верного пуделя. Скоро на охоту!

Вы не представляете, как омывают душу мысли о любимых людях!

Супер, Андрюша, Настя, Матильда. Да еще нежданно-негаданно затесавшаяся в эту компанию медная Лампа — вот и весь гарнизон. Мы еще повоюем!..

Москва засасывала. Москва рисовалась смесью роскошного похоронного бюро, Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и свалки. На горизонте вставали миражи новостроек. Высотки. Помойки. Однорукий подъемный кран. В дальнем, как в зеркале, окне разорвалась граната. И в третьем, и в четвертом. Это на секунду из-за туч, обложивших город, грянуло солнце — и спряталось.

На всем лежал слой пепла, как при последнем дне Помпеи. Ветра не было, но в голове вертелась нелепая, даже оскорбительная фраза: «Самум в Москве». Словно речь о какой-нибудь Африке. Откуда аналогия? Объясняем. Мы слишком привыкли и перестали замечать, что Москва как-то враз сделалась омерзительно грязной. Тучи пыли, песка и придорожной глины осаждают город. На перилах, на плитах, на чем придется — серо-бурый налет. Каждые полчаса хочется вымыть руки. Лестничные клетки, лифты, чердаки превращены в клозеты. Всюду царит болезненный, застарелый, отчаянный запах мочи. Куда-то испарилась расхожая должность дворника. Никто ничего не убирает. Звонки бездействуют. Такого одичания, по-видимому, не было со времен революции. Иногда кажется, что столичные жители заняты в основном одной заботой — как соорудить непроницаемые железные двери — двойные, тройные, с отсеками, да приладить где только можно хитрые стальные замки.

Но еще омерзительнее бьющие в нос на каждом шагу непотребные смешения. Преизбыток чуждых русскому уху нововведений. Киллер, клитор, клиренс, клиринг, спикер, сникерс, стиморол!.. Неповторимая жевательная резинка. Санкт-Петербург Ленинградской области! Вот и сейчас метнулась в глаза вывеска метровыми, неуместными здесь, в этой духоте, буквами — «Фанта и пепси». И еще одна, на маленьком здании, возле заерзанного сарайчика — «Православная мастерская. Пошив и кредит». Проспект устаревшего имени Розы Люксембург пересекала улочка, о которой мы раньше не слышали, — «Новомученика Валентина и матери его Аглаиды». Машина застряла на семафоре, и Бальзанов полюбопытствовал, кто эта Аглаида, хотя не знал, грешным делом, и кто такой Валентин. Шофер, попав в переплет, не разбирая дороги, произнес нечто невнятное: «Пророчица! Недавно преставилась. Роли не играет...»

И пошел нести околесицу — про верхнюю гляделку на ветровом стекле. Сечет в зеркальце, а там, на заднем сидении, — вот как вы уважаемо расположились, — черномазая лапа на белой, как сметана, девичьей ляжке! Раскудрявилась, лярва. Чуть не вытошнило.

Пока негритос с желтой гвоздикой в петлице бегал за сигаретами, верть к девке. Как тебе, девка, не совестно? Что тебя коренные москвичи хуже долбят, что ли? Та с достоинством возражает: «Долбят все одинаково. Мне без разницы, батя. Да черножопые, папаша, плотют чистокровной валютой. Нашим не угнаться». А у самой на шейке желтая косынка. Это у них, у всех у *них* такой опознавательный знак. У негритоса — бутон, у девки — платочек. Свой своего за версту узнает...

В Бескудниках слетать к Суперу — минута. Бальзанову повезло. Соседка Юличка в этот заутренний час еще не прочухалась, а Саша не убежал еще в долж-

ность, в свой задрипанный НИИ. Договорились на обеденное время. Все сладит. Назад — на тех же колесах, по тем же колдобинам, по той же Москве.

Удивительно. Сколько бы мы ни знали за ней прегрешений — а уж сколько мы их знаем, можете себе представить, — мы все равно остаемся с Москвой. Какими только словами ее не обзываем? И дура, и сука, и безумная старуха, и нет на тебе живого места, Москва, не означенного стыдом и пороком! А все-таки... Такое бывает, говорят, в сексопатологии. Старик прикивает к телу своей гниющей возлюбленной, множество раз ему изменявшей, и плачет, и причитает — ничего, никого, милая, кроме тебя, нет...

Разговорчивый шофер на обратном перегоне вернулся к действительности прошлогоднего посла. Едет, как обычно. Зима. Это случилось еще до того, как его по ошибке, по желтому навету, запрягли в нервно-психиатрическую клинику №7 имени Льва Толстого. Еще темно. Только, мнится, у переезда, вымахала дама в газовом платье. И будто голосует, преграждая путь. Пошла прогуляться? Зимой, на рассвете? Подудел, бибикнул — ноль внимания. И что бы вы думали? Как вылез — на рельсах, на железнодорожном пути — перпендикулярно — салазки. С двумя детишками. Едва оттащил и развязал — пропыхтел товарняк, семь сорок пять. На суде установили картину. Мачеха привезла мальчика и девочку, близнецов, чтобы не кормить, и поставила на рельсы. Пусть, дескать, вместо меня их поезд зарежет. Отец, как положено, отбыл в командировку...

— Мачеху задержали?..

— Куда там! Выкрутилась, зараза! Сами, дескать, с утра пораньше убегли кататься с горки. С полотна. А кто их желтым одеяльцем связал и привязал к салазкам, будто бы уже и не помнит. На суде, как я показывал, — привидениям не верят. Атеисты, ети...

— А где привидение?

— Ну как вы не поняли?! Детей-то, детей упредила из-под поезда их покойная мать... кладбище же рядом. Возле железной дороги...

Бальзанов в привидения верил не больше, чем в желтую опасность. Хотя и обдумывал ее по застарелой учительской привычке — надо не надо — к анализу. У нас ведь, что ни год, изобретают себе в оправдание какое-нибудь новое горе. При Сталине, помнится, во всем обвиняли евреев. Это хоть как-то понять можно — уж больно их много. И главное — всюду: и московские, и бухарские, и финские, и французские, Пушкин — и тот еврей, не говоря уже о Гейне и Мандельштаме!.. Потом американцев. И это можно бы понять — слишком богатые: с такой наличностью только и скупать весь мир разными способами. Но уже не однажды доводилось слышать, что всему заковыкой японцы, которые на самом деле никакая не желтая раса, а прилетели из космоса. Пришельцы, значит. И с китайцами их не сравнивайте. Китайцы — они настоящие — и огороды разводили у нас на Дальнем Востоке, и прачечные по всему миру держали, а теперь — рестораны. И японским рестораном вы китайский не переубедите — не тот случай. Потому что вся желтая раса нас или кормит, или чего-нибудь нам шьет-мастерит (мэд ин Шина, мэд ин Тайвань на клеймах читали?), интересуюсь только какие-то крохи на нас заработать и не слишком про нас задумываясь: мы же для них все на одно лицо: два конца, два кольца, посередине гвоздик! А японцы — японцы нас изучают, они нас почти под микроскопом рассматривают, как невидаль какую, как диковину. И всегда с фотоаппаратом! Китаец с поварешкой, японец с фотоаппаратом! К тому же мы не знаем, какие они — японцы — на самом деле, и на мысль о непознаваемости японцев нашим земным разумом наводят простые русские девки с их неприличными частушками, где между прочим поется: «На окне растет цветок беленький да аленький, никогда не променяю х.. большой на маленький», а на практике между тем предпочитают они японцев, на сей раз с другой мотивировкой: размер, говорила Нинка с Шаболовки, неутомительный, а иногда и вовсе никакого размера нету. А что же у них вместо палки? — заинтересовалась тогда Верка с Полянки, что возле Дома ученых, и долго они обсуждали обнаруженное промеж ног вьющееся растение вроде душистого горошка, но с благоуханием укропа. А бабы им не нужны. Размножаются вегетативным путем. И это не дикость, не суеверие. А как иначе объяснить, отчего Япония, проигравшая войну и тяжело пострадавшая, по ряду показателей опередила Америку. А мы, победители, того и гляди вообще ноги протянем. При наших-то ископаемых, лесах, реках, землях!..

Таксист тоже попался стебанутый. Денег не взял. Потом, говорит, расплатитесь. А под самую завязку, стал объяснять, что жена его смертельно больна раком.

— Но есть разница, — уточнил он, — рак-самец и рак-самка. Рак-самец, бывает, излечивается. Рак-самка — никогда. Так вот у моей жены — рак-самка. Она, между прочим, имеет ярко-желтую окраску.

— Вы что — сами видели?

— Собственными глазами! Желтая! Ровно канарейка!..

На прощание он втиснул в бальзановскую руку скомканную бумажку. При случае прочтете! Желаю успеха. Фукнул газом и умчался, аспид. Надо ли говорить, что больше они никогда не встречались?

Таким образом в восемь утра Бальзанов наконец-то освободился. Смотрит по сторонам, все нормально. Девочка в желтом платице играет в классики. Расчертила мелом, поправила сквозь желтое платье сползшую, должно быть, резинку от штанишек и давай прыгать. Полуголый мужчина в желтых шортах, уже пожилой, с непомерным брюхом, шпарит по улице Сергея Есенина спасительным «бегом жизни». А сам, быть может, ночью перекинется в такую жару от рака-самки. Нет, присел на деревянную перекладину, обтянутую вокруг скверика, и обмахивается веером. А веер у него не желтый, а зеленый. Может, отдышится... Парикмахерская на углу еще не открывалась, а парикмахерша, с желтым бантом в голове, уже восседала в пустом кресле клиента и, смотрясь в громадное зеркало, причесывала щеточкой свои накладные ресницы. Проехала с желтой цистерной городская поливалка, орошая асфальт и моментально испаряясь не достигающим панели дождем. И под колесами засияла наша деревенская радуга...

Уже у себя, под душем, Бальзанов оценил ситуацию. Главное — не спешить. И, может быть, не ложиться немедленно. Во всяком случае нынче с утра потерпеть. Второе — переодеться, почиститься и подготовиться к исчезновению. К полному и вместе с тем незримо, временному переселению в Кошкин дом. Купить термос. Достать носки и пять пачек чая. Связь с внешним миром поддерживать через Андрюшу и Супера. В крайнем случае — через Настю. Они не подведут.

— Ай, баловница! дает игру! — пританцовывал Донат Бальзанов под ледяными струями, вспоминая, что произносит эту фразу, почитай, лет двадцать по утрам — после незабываемой встречи на Северном Кавказе. Там, перед отрогами гор, у въезда в санаторий «Наяда», молодой усатый мужик без трусов, в болотных сапогах, по колено в каменистом ручье, охаживал себя брызгами по бокам и обращался за сочувствием к приезжим на автобусе высокопоставленным дамам: «У, бля, дает ихру!» Те не реагировали. А мужик все повторял с придыханием и тарачился восторженно на иностранных прихожанок: «У, бля, дает ихру!..» Потом были рассказы о погоне и похищении из серала какой-то обкомовской дочки республиканского разлива, преждевременно украденной... О воинском госпитале в Нальчике... А из всей гирлянды экзотических приключений в памяти застряли только мужик без трусов в кипящей, как дьявол, речушке и его победоносная, искрометная реплика...

Растерся докрасна жестким, как наждак, полотенцем. Свежестираная рубашка ластилась к штанам и выгибала по-кошачьи спину: «А я глаженая! А я глаженая!» Туфли стояли по стойке смирно — пятки вместе, носки врозь. Вновь готовы к труду и обороне. Что значит многолетняя холостяцкая практика и привычка все самому разрабатывать и планировать. Да разве в наше суматошное время возможно все предусмотреть?.. Только Бальзанов прицелился поест по-человечески — тарабанят в дверь. Властно, фамильярно. Почерк генерала Осадчего. С утра ему надо было обязательно отбомбиться.

— Это что же у нас происходит, Донат Егорыч?! — бушевал на пороге Осадчий при всем параде. — Ваши, Бальзанов, газетенки сионских мудрецов какая-то носатая сволочь сует без зазрения совести в мою почтовую щель! А я — читай! Наслаждайся!..

— Бывает, Олег Рудольфович, случается, путают ящики.

— Это кто же путает? Кто?! Тут явная провокация! Организованный террор! Они нарочно подсовывают! Они! Специально! Желают запугать!..

Он ввалился без спроса, не извинившись, чем-то необыкновенно рассерженный.

— Да вы не волнуйтесь. Хотите чаю? Здесь — молоко. Там — сахар...

Чай, масло и ветчину он послал так далеко, что даже наш Егорыч, притерпевшийся к милицейскому мату учитель, не решился бы воспроизвести дословно его махровую речь...

Но вы замечали когда-нибудь, как передвигаются малые дети, научившиеся

ходить? Они наклоняют авансом большую, тяжелую голову, выпячивают животик и, падая, бегут за ними что есть мочи, чтобы не упасть. Коротенькие ножки отстают от туловища и топают, едва поспевая, и развивают иногда бешеную скорость. Добежав до препятствия, они тем же порядком катятся обратно, пятками, не оглядываясь, и быстро-быстро перебирают колесиками, наподобие паровоза, дающего задний ход, пока не плюхнутся наземь. Плюхнувшись в мягкое кресло, паровозик заревел:

— Полюбуйтесь! О чём *они* пишут? Что печатается в стране?..

И всучил газетку, изукрашенную анонсами всевозможных торговых контор и лечебных заведений. Среди вороха театральных виньеток, рецептов, адресов выделялась молодая цыганская мордашка в рамочке с завлекательной рекомендацией:

«Если у вас есть неразрешенные проблемы в личной жизни и в бизнесе, только я могу вам в этом помочь.

НАТАЛЬЯ — цыганка из Бессарабии с большим опытом гадания: на картах, по руке, на кофе и т.д.

ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ С ДУХАМИ ИЗ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ».

К объявлению приложен номер телефона.

— Но я, мой генерал, газеты «Экран» не выписываю. Это кто-то другой в нашем доме получает. К нему и адресуйтесь. А ежели вас увлекают прямые контакты с духами из пятого измерения — свяжитесь по телефону с цыганкой. Я полагаю, вам не откажут...

Слабость Осадчего лакомиться чужими газетами была известна. Благо, почтовые ящики не всегда запирались. А генерал был скуповат и подозрителен к достоинию ближнего. Порой Бальзанова охватывала жалость к этой породе людей, потерявших не то чтобы вес и авторитет, но свои нерастроченные способности к руководству, к водительству, к должности отца-командира и сменивших былое величие на въедливую склоку по любому поводу. Там — нехорошо, здесь — не так! А вы сами догадайтесь, кто во всем виновен! Вы же умный человек, Донат Егорыч! Ну зачем, к примеру, вы собаку завели? Лает по ночам. Никому житья не дает. Ну, купили бы овчарку. Ищейку бы заприходовали по дешевке, пользуясь знакомством, в уголовном питомнике. Это, я понимаю, — собака! А тут — пудель?! Это что — намек? Политическая близорукость?.. Идеологическая обструкция?..

На сей раз, однако, гнев Осадчего превзошел все ожидания. Ваша близорукость, кричал он, граничит с преступлением. Куда смотрит милиция? Кого мы воспитываем? Ваша прямая обязанность — с помощью добровольцев вести надзор в доме, кто какие журналы получает и читает. К чему народу излишняя информация, вроде меморандума этой псевдогадалки? У народа отнимают великое право не знать, не видеть и не слышать еврейской чепухи. И наша святая задача — это право охранять. Мы же не американцы! Да и какая она, к беременной матери, Наталья? Явная Саг-г-г-очка, Саг-г-г-очка из Одессы! Установите личность! Проверьте документы! Прочь псевдонимы! Выслать из Москвы! Что это за контакты с пятым измерением? С публичными домами по городам и весям России? С борделями на Западе? Развели порнуху с дозволения начальства! А контакты желтой прессы с международным желтым террором?..

— Скажите, генерал, — Бальзанов попытался остановить извержение, — вам кто-нибудь поручил сеять в народе панические слухи о желтой опасности? Или просто пудрите мне мозги, сбиваете с панталыку, отвлекаете внимание? Кто вам подсказал?..

Осадчий не полез, против ожидания, в бутылку, не пошел на принцип. Ярый ругатель в нем внезапно угас, и он спросил вполне миролюбиво:

— А где собака?

— Какая собака?

— Ну, которую вы подобрали, я не знаю у кого, и хотели — усыновить.

— Скорее удочерить, генерал. Она — дама. Ее звали — Матильда!..

И Бальзанов растолковал Осадчему, что Матильду он подарил бывшему сослуживцу после его, генерала, письменных доносов в милицейскую школу, откуда Бальзанов, однако, уже полгода как уволился в связи с выходом на пенсию. Между тем собака лаяла тогда и немного повизгивала на законных основаниях. Что Осадчий опять-таки пропустил мимо ушей.

— Матильда — звучит красиво, однако несолидно. И потом ведь это все-таки,

Бальзанов, человеческое имя — Матильда? Откуда повелась такая дурная мода у наших засранцев-образованцев прилагать собакам и кошкам христианские имена? Придешь в гости, а из-под стола вылазит кот Иван. Нет чтобы Арон, например. Или пес Тимофей. Потап. Макар. И виляет хвостом. Кошунство, согласитесь! Святотатство! Антинародная мода!..

— Помилуйте, Олег Рудольфович, но у русского народа всегда было в обычае кликать котов Васьками. Корова — Зойка, коза — Манька. А медведь — Мишка. И ничего оскорбительного. С почтением величают: Михаил Потапыч, Лиса Патрикеевна... Петуха зовут Петей...

— Нет, нет и нет! Я против игривостей, Бальзанов. Увольте от ваших Мишек. Даже собаки в нашей жизни должны олицетворять собой нечто возвышенное, патристическое. Вот читал я недавно книгу — «А. И. Солженицын в воспоминаниях современников». Так у нашего великого классика, выясняется, было два кобеля — Варяг и Кенгир. Бывало, как гаркнет: «Варяг — тубо! Кенгир — к ноге!» — аж сердце радуется. А по душе разливаются исторические аналогии во славу наших предков...

— «Варяг» помню, — крейсер, а про «Кенгир» что-то подзабыл...

— Эх, вы! Молодежный наставник называется... Ленивы мы и нелюбопытны — это точно классик сказал. Историей надо заниматься, Донат Егорыч. Родной историей своего Отечества! Я всякий вечер три-четыре узла распутываю перед сном. Бывает, до двенадцати с половиною ночи изучаю. Засиживаюсь. Уже супруга в претензии, что манкирую супружескими обязанностями. Да только долг, сами знаете, допрежь всего. Служба! А недавно выписал по Интернету из библиотеки имени Александра Третьего Благословенного редкую книгу середины ненашего века. Называется «Полуостров Кенгир». Это в старину, при генералиссимусе, место было такое каторжное, концлагерь — Кенгир...

— Концлагерь?! С репрессированными?..

— Как все-таки либеральная наука умеет запудрить людям мозги. Ну, с репрессированными... А говоря трезво — с большим скоплением нежелательного по тому времени элемента. Опасное место. Мне рассказывал в детстве дедушка об обороне, которую их полк держал при Кенгире...

— Пойдите. Теперь и я вспомнил. В Кенгире было восстание заключенных. Его раздавили танками... Страшное дело!

— Страшное... Да разве русские когда-нибудь боялись? Да и насчет танков, Бальзанов, я думаю, преувеличено. Артиллерия, правда, была с обеих сторон. И — пулеметы. Но когда мы, русские, не жертвовали собой? Нелегко было раздавить Кенгир. Дед говорил, что страшнее Кенгира за всю его военную карьеру ничего не было. Вот тогда-то и решил будущий классик воспитать собаку непреклонной свирепости и назвать Кенгиром. Не то что ваша легкомысленная сентиментальная Матильда!

И тут Бальзанов подумал: что для одного человека страшно, то совершенно безвредно и героично для другого. И если сам Кенгир становится лучшим другом человека, то почему бы, в принципе, не назвать котенка Майданеком, собаку будем кликать: «Освенцим, иди сюда!», а благородную лошадь наречем — Дахау... О, превратность истории!..

— А что у тебя там?

Генерал ткнул пальцем в запертую дверь за спиной Бальзанова. За короткие минуты беседы он собственным волевым решением перешел с соседом на «ты». Смысл бесцеремонного маневра был виден Бальзанову насквозь. Вот сейчас спросит, зачем нужна одинокому пенсионеру вторая комната. И он спросил. У них с генеральшей было пять комнат — весь этаж. Но зарился на убогую жилплощадь учителя. Ему некуда было поставить кое-какие вещички, — про себя предположил Бальзанов. «Кое-какие вещи-чки!» — откликнулся генерал эхом. У него квартира слишком заставлена мебелью, с пониманием осознал Донат Егорыч. «Много мебели», — печально вздохнул Осадчий. И потому («И потому») мало места («тесновато»). Несколько вещей он бы охотно перенес к соседу («Не жидись, Донат! Перетащи к себе два моих ящичка и один сундучок»). Казалось, не то Бальзанов читает вперед генеральские мысли, не то Осадчий безвольно повторяет за Бальзановым. Он словно был марионеткой и слегка вихлялся.

Разумеется, он не сказал, во-первых, что несколько уже лет, промышляя ростовщицеством, мечтает припрятать у соседа золотишко, камушки и другую утварь. У того, — помятуя его прошлую связь с милицией, — надеялся он, искать не станут,

а станут — он спихнет на Бальзанова свою нечистую мелочь. Бальзанову это намерение не нравилось ни в первом, ни во втором варианте. Разоблачать Осадчего он, конечно, не собирался, но и служить ему ширмой тоже не улыбалось.

Во-вторых, о чем собеседник умалчивал, но что было ясно как дважды два, генералу не терпелось взять под контроль запертую комнату. «Фигушки, — подумал Бальзанов. — Не видать тебе моей мастерской — с картотекой, архивом и фотолaborаторией. Но пасаран! Вход закрыт».

Криво усмехаясь, будто преодолевая через силу внутреннюю боль и беспомощность, Бальзанов, полагаясь исключительно на обострившуюся интуицию, вынул стеклянный глаз, повертел в пальцах, протер носовым платком и вставил обратно в растопыренную глазницу.

— Как настоящий! — ахнул генерал. — Даже еще красивее!

— Сделано в Италии, в Палермо, — сдержанно приврал Бальзанов. — По спецзаказу. Но сколько от него неприятностей!..

И тут же, не отходя от кассы, в сокрушении сердца, признался под секретом, что теперь, из-за этого великолепного протеза, женщины его безвозмездно любить уже не хотят. Подозревают, что он все время как-то странно на них посматривает. Как если бы напускал болезни или порчу дурным глазом. В итоге кредит пошатнулся, денег не хватает, вынужден подрабатывать, страдает запоями, подхватил триппер... По мере этого покаяния Осадчий расцветал. Правда, подумал Бальзанов, есть риск, что он всю эту фигню донесет ученичкам, и смеху не оберешься. Но, с другой стороны, такой ценой добывалась и некоторая свобода движений. А на репутацию пенсионера плевать. Кого волнуют старые калоши?

— А как же дом, Донат Егорыч?

— Какой дом?

— Ну, этот... Куда ты ходишь... На улице Генерала Врангеля...

Вляпался, гад! Вокруг закавыченного дома наверняка уже вилась подозрительная охрана...

— Ничего интересного. Труха. От квартирантов и следа не осталось. Провел там вчерашний вечер и, представляете, заснул. Разморило в такую жару. Правда, слегка поддатый. Денька еще два пошурю и на свалку... Кстати, Олег Рудольфович, нельзя ли у вас одолжить на месяц? На две недели? Промотался к беременной матери. Желательно валютой... что? Нет при себе? Ни хрена. Я к вам скоро зайду... Привет генеральше!

Ну, за все посчитался... За деда, зека не из Кенгира, правда, но из Карлага... За поруганную собаку и за кота Ваську... И лишь остыв, стал подводить знаменатель. Негусто. Впрочем, и генерал допустил ошибку. Не выдержал и брякнул про дом. А откуда ему известно о доме? Кто навел? Обкладывают... Но в данном случае у Бальзанова имелись свои резоны работать на снижениях. Лучший, хоть и опасный, метод работы — это допустить преступника к себе возможно ближе. Так чтобы уже преступник охотился и следил за тобою. И уже не поймешь, где сыщик, а где разбойник. Но мы-то, между собой, понимаем...

Оставшись наконец один, Бальзанов развернул бумажку, сунутую в карман безумным таксистом. Так и знал — кляуза!

«Нервно-психиатрическая Больница №7 имени Льва Николаевича Толстого

Главврачу Шрайбергу Миرونу Зиновьевичу
От психбольного Степанова Эдуарда

ЗАЯВЛЕНИЕ

Думается, что пришло уже время трезво оценить сложившуюся ситуацию. Как преодолеть столь значительное отставание? Отказаться от разрешительной практики и перейти к регистрационной? В силу сложившихся обстоятельств жилые постройки пришли в негодность. Атмосферный воздух становится взрывоопасен. Имеется специфическое воздействие на здоровье населения. А вышестоящие органы лишь информируются об этом. Лежу на койке и вспоминаю свое далекое детство, отрочество и юность. Месяц март кончается, а мне делать больше нечего на нашей Голубой Планете (Земля). По сему просил лечащего врача Каменцову О. Е. написать мне путевку в московский крематорий. Слышу мелодичный звон кремлевских ку-

рантов, и миллионы голосов поют торжественно и согласно. Солнце встает над Индией и Китаем. Светло, как днем. Ворона кричит, надрывается под окном: «Дурак! Дурак! Дурак!» Обидно, а что поделаешь? У меня нет на ворону даже детского оружия: пу-га-ча. Железнодорожные катастрофы стали печальной действительностью. Добрачные половые связи себя изживают. Принудлечился. Поставлен на психучет. С жалобой на затопление от жильцов этажом ниже пыталась проникнуть ко мне неизвестная женщина в желтой форме. Далее, со стороны пришельцев посыпались удары ногами в дверь и попытки высадить ее корпусом тела. Желая предотвратить высаживание двери, я потребовал конкретного соблюдения принципа неприкосновенности и права на частную жизнь. Вы на моих нервах не отыграетесь, ибо они терпкие и закаленные. Предупреждаю вас, доктор Шрайберг. Посмотри на себя в окно. Ты же весь — желтый...»

Дальше Бальзанов читать не стал. Как сговорились. Все они — от шофера до генерала — пытаются отвести его от заколдованного дома. Наводят на ложный след. Значит, его место — там, в эпицентре событий. Из плешивой своей головы Бальзанов выдернул волосок. Уходя, приладил к двери мастерской. Пускай, подумал, моя судьба держится на волоске. Буквально — на волоске.

Глава третья.

Дневники барина Проферансова и Льва Толстого

«...И погрузиться с головой в сладостный мир прозы.

Крематорий работал на полную нагрузку. Каждые двадцать минут, примерно, подкатывал автобус с дорогим гостинцем, прикрытым каверзными венками, кое-как скомпонованными из проволоки, пипифакса и жести, и с порцией родни, суетливо занимавшей позиции на подступах к целованию. Очередника, недолго помешкав, клали на парапет перед блистательным конклавом органа, вносящего, несмотря на бездействие, ноту концертной подтянутости в убогую обстановку ритуального заведения. Задрапированный квартет принимался мусолить Бетховена, приглушая стенания женщин и назойливый скрип подъемника, опускавшегося в преисподнюю. Миг спустя от всей процедуры оставались только отторгнутая, неприкаянная крышка гроба да размалеванные венки у стены, предназначенные к распродаже.

Прибыв за час до спектакля и удаляясь покурить в колумбарий, я с чувством тоски и сарказма наблюдал, как иные из толпы пугливо озираются и печально следят со двора витиеватый дымок над трубой. Должно быть, воображают, что это возносится в небо душа и последняя мысль отлетевшего человека. Но я знал наперед здешний распорядок вещей. И сколько пудов пепла ежемесячно обязана сдавать государству прокопченная фабрика на урожай удобрений. И что дым над крышей висит совсем от другого источника, а когда твоего усопшего сожгут, в принципе установить невозможно. Но существенны ли эти различия для мировой истории?..

Мы произносим *история* чаще всего с придыханием, с почтением, но мне это словцо изрядно поднадоело. Я устал от истории, встречая повсюду ее несправедливость. Принято думать, что история — это высший суд над нами, это авторитетная и как бы окончательная точка зрения на улетающую действительность. Потомки, де, нас поймут и расставят все по местам. Как будто потомки умнее, нежели мы с вами. Как будто у потомков не будет своих забот, своих позднейших свершений, а сохранится, единственно, *наша* занимательная история — для судебного разбирательства. Не обольщайтесь! История беспощадна либо, в лучшем случае, безучастна к прошлому. Истории не до нас. По сравнению с ее жестокостью знаменитое холодное равнодушие природы — сущие пустяки. Обогнуть природу, либо ее обогнать, при известном старании, можно. Историю никогда не обманешь. История все перекраивает на свой фасон и каждый исторический шаг истолковывает по-своему. Представьте, вы прикатили на родимое пепелище, а там и не пепелище совсем, а свежая густая семья и ваше место занято другой веселой компанией, которая о вас и не слышала и знать ничего не желает, кроме собственных, тоже весьма недолговечных интересов. Стоило на секунду отъехать, и начинай сначала, привыкай, пожалуйста, внедряйся в супер-

маркет, где вы теряете себя и невообразимо злитесь, оттого что по капризу дирекции все товары уже переставлены и ничего не найдешь на знакомой полке. Все перепутано и перевернуто. Каждый Божий день вы проваливаетесь в хаос и приходите в отчаяние... Тогда, возможно, вы поймете, что не природа и не время, которое утекает сквозь пальцы, сами по себе виноваты, но во сто крат беспощаднее историческая застройка.

Предположим, Пушкин вернулся в Михайловское, в наследственное гнездо, ставшее давно уже пушкинским заповедником. Где и как он там своих питомцев отыщет, что увидит в картине перетасованного мира? Если ему повезет, за прилежное знание литературных текстов и биографии поэта, его назначат экскурсоводом по михайловским хваленым местам. Поставят масовиком-затейником на эстраде. Но скорее всего сочтут за безумца, свихнувшегося на Пушкине. Да не то что Пушкина, которого у нас все заслуженно любят и помнят, возьмите любого заурядного гражданина и перенесите его лет на тридцать-сорок туда-сюда, и ему нечего будет делать на трамвайной остановке, он не уживется в обществе и примется искать современников среди младенцев в детсадыке либо на кладбище или в музее...

Мне жаль стариков: у них теряются формы. Старики усыхают, приближаясь к своему покоробленному скелету, либо тучнеют, расплываются, делаются хромыми, горбатыми, с опухшими ногами, увечными. Какая разница? Всеобщий переход в бесформенность, в первоматерию смерти, на которой мы плодоносим. Зато им открывается завидная длительность жизни. Длительность, сама по себе что-то обозначающая, соблазнительная и — одновременно — бессмысленная, беспредметная и принимаемая в целом за пошлость существования. Когда беспрестанно хочется спать в продолжение бытия. И нечем убить время. А надо убить: скучно! Игра в домино, в шашки, в карты без азарта, а просто как завиток растяжимой длительности. День прошел, и слава Богу. Спатеньки пора. Ничего не случилось... Старики не спешат помирать. Старики демонстрируют удлинитель по отношению к нулю. Они стареют по мере того, как вокруг воздвигается совершенно другая, непробиваемая реальность. Все слабее и слабее держатся за детей, за внуков. В незнакомой обстановке им становится мало-помалу неинтересно жить. Они отдаляются поначалу, застывают надолго в гордом одиночестве и чувствуют себя иностранцами в этой чужеродной среде. И только потом, догадавшись в конце концов, что они тут ни к чему, — умирают...

Наше похоронное кодро явилось к двум часам. Первыми в вестибюле показались конвойные в полупрозрачных макинтошах с богатой кладью, похожей больше на раскормленное пирожное. Следом ввалилась сборная гвардия в штатском, подогретая весенней поездкой и вспрыскиванием в буфете. Ядро составляла мордва из девятого отдела, уполномоченная изобразить коллектив какой-нибудь ремонтной конторы, толком не раскусив, кого и зачем хоронят. Главный не соизволил приехать. Я не в обиде. Ему так же, как мне в те ответственные дни, светила вышка. Лейтенант Майборода громко напомнила старшему лейтенанту Кудлай, что, мол, вертлявый козел своевременно сыграл в ящик, ускользнув от расплаты по непогашенным векселям. Девушкам оставалось дивиться на мою предусмотрительность.

Из ветеранов нашего цеха приперся в сапогах один Коля Вовченко, парторг, незлобивый хохол, по фатальной многодетности годами не вылезавший из казенного барахла. Вовченко и теперь был в зимнем мундире, со споротыми почему-то погонами. И едва взобрался на кафедру, так и давай без роздыха дуть по цидулке, санкционированной в Цехе. По сокровенным причинам не упоминались ни имя покойного, ни его заслуги, ни звания. Я пристроился к провожающим как сторонний созерцатель. Благо, в новом обличи меня здесь никто не узнал. А что вы хотите?

Молодой человек в европейском платье с иголки...

— Смерть вырвала из наших рядов, — сипло трубил Вовченко, — ...сомкнем теснее ряды, утрем слезы... память о нем надолго сохранится в наших сердцах...

Усопший, тоже в штатском, в полуоткрытом виде, внимательно слушал. Я всматривался в благообразные, восковые черты. Правда, лицо в морге успело деформироваться. Но старого воробья не проведешь на мякине. Тот самый, тютелька в тютельку, бесценный Лев Николаевич, которого наши девушки — Майборода и Кудлай — за глаза величали двусмысленно: «вертлявый козел».

Когда загоношился бетховенский квартет, мне послышалась «Вечная память». Лежа в гробу, казалось, покойник себе в утешение тихонько подвывал. Это было неприятно. Мелькнуло на секунду, будто меня хоронят, меня опускают со скрипом под зеленое сукно, имитирующее весеннюю травку. Я ушел, не оглядываясь...»

Бальзанов вышел на кухню, звонко чпокнул престижную бутылку, но прополоскал только рот и незаметно выплюнул. За ним почти наверняка подсматривали. Интересовались, чем занимается старикан в своем подозрительном уединении. Но, возможно, с его стороны то была чистая мнительность — плод затяжной бессонницы и сгустившейся вокруг нездоровой тишины. По счастью, водоснабжение на втором этаже работало безоговорочно. Уборная тоже, как выяснилось, действовала нормально. Он с наслаждением помочился. Ну и текстик отмочил старый хрен! Следует признать, однако, что ему самому все же недостает исторического образования. При всей своей преподавательской эрудиции он так и не понял, что хотел сказать своей новеллой автор? О чем речь? Да и, вообще, когда она была изготовлена? За достоверность происшествий поручиться, конечно, нельзя. Мог просто сочинить...

Судя по деталям — то ли убирали Берию с поста в середине века, либо на примете имелся Крючковский переполох, если не Волохонские мятежи и Балахнинская анархия. Разлинованная бумага ничего не доказывала. Полусвежая на просвет, затрепанная...

Местоимения в рассказе тоже не совпадают. Кто покойник? Кем служил и чем промышлял автор в ту лихую годину? Если, конечно, все это правда, а не какая-нибудь новая, с потолка, подтасованная легенда... Но как согласовать массу несообразностей в этом запечатанном доме? Начиная с лампы, которая на всю эту периодику его и натолкнула. Опробованная в лабораторных условиях и развинченная до основания лампа никаких энергетических батареек или там радиоактивных капсул в себе не содержала и упрямо не зажигалась вне своей конуры. Хотя Супер и подключал к ней всевозможное электричество. Но стоило вернуть на родную территорию — прыщет светом на славу. Подавать сигналы, однако, больше не удавалось. Может быть, дожидалась момента?..

Бальзанов допытывался у Супера:

— А может, Саша, лампа у меня лазерная? На каких-нибудь микро-альфа-бета-проводниках?..

Тот по обыкновению застенчиво улыбался. Отнекивался:

— Все это свыше, Донат Егорович, слабого моего разума.

Между тем кандидат кибернетических наук в свои тридцать с небольшим. Разбирается в химии, форсирует физику, увлекается прикладной хромопластикой. Не говоря о феноменальных способностях к любому ремеслу. Оттого и снискал в народе прозвище Супер, что означает Супермен, но звучит демократично, даже запанибрата, без высокомерия и пижонства. Только и слышно вокруг: «Супер, почи телевизор! Поставь, если не трудно, новый холодильник. Почини канализацию — у нас говны хлынули, пошли верхом через трубу, и всю квартиру затопило! Наладь, пожалуйста, швейную машинку. Не могли бы вы, Суриков, достать молока ребенку? Наколи дров старушке. Вскопай огоролик. Будь другом, Супер, помоги отвезти багаж на Ярославский. Сочини посылку. Отпиши дочери в Самару, что я совсем слепенькая. Разыскал бы ты, Суриков, Володю-утопленника. Одолжи десятку до праздника...» И Супер никому не отказывает.

Про таких во время оно и говорили: «Будь все люди, как Саша Суриков, коммунизм у нас был бы давно построен!» А сейчас — в задумчивости разведешь руками: какой талант пропадает! Без претензий! Без процентов! Без лозунгов! Без веры в мировой прогресс и в религиозное возрождение. В церковь не бегают. Коммунизм не признает. Капитализм не строит. По выходным ухитряется у приятелей из выпитого поллитра особым вращением руки извлечь ради общего смеха еще сорок одну лишнюю каплю небесной влаги. Тем и доволен, тому и рад. И всегда улыбается приятно большими голубыми глазами на круглом миловидном лице.

— Дальше, Бальзанов, я за вами не последую. Некогда. Мне еще на Калужскую заставу надо успеть до вечера — за высокочастотным трансформатором одному славному парню. У вас своя тропа. А у меня другие обязанности...

Бальзанов не упускал случая съехидничать, срывался:

— Сеять доброе-вечное? Философия малых дел? Толстовские заморочки? Начитался мурь, программист!..

— Да ладно, Донат Егорович! Никаких программ. Просто — хобби такое. Пунктик. Конек.

Пунктик у Супера — Настя с Андрюшей. Сестра Настя больная. В частых депрессиях. Супер ей всю квартиру оштукатурил. Наклеил для веселья обои с картин-

ками из русских сказок. А племянника-бастарда, невесть от кого приобретенного, усыновил еще четырнадцать лет назад. Весь Суперов институт таскал ему марки от заграничной почты для Андрюши. Зловредной соседке Юличке Супер рассадил целый цветник на солнечном балконе — из ноготков, тюльпанов, анютиных глазок и других миниатюрных растений. Да и Бальзанова Супер не раз ссужал пятеркой в аварийной ситуации перед пенсией. Подкидывал кефир, проявлял фотопленки. Только его одного посвятил Бальзанов в секрет своего добровольного заточения. Они встречались по утрам в приарбатских переулках. Поддерживали связь. Консультировались. Однако Супер наотрез отказался осмотреть территорию.

— Нет-нет, Донат Егорович, сами говорили, у вас криминогенная зона. Не для меня. Лабиринт. Мы движемся к общей точке. Только с разных концов... Вы ищете причину мирового зла в надежде обуздать, а я друзей обустроиваю кое-какой домашней аппаратурой. Ради облегчения жизни... Не смейтесь! Я по мере сил, на досуге, обеспечиваю свой околоток, свой двор, родное гнездо и стараюсь помочь кому и чем придется. Для своего удовольствия...

Бальзанов не смеялся. Охота была Суперу откликаться на любую нужду и расточать прикладное добро по любому поводу! А ведь он был единственный, кто реально — пожелай он содействовать — мог помочь. Выяснить, откуда берется звуковой фон в доме, разрешить загадку местного водопровода. Почему на втором этаже тот спокойно фурчит, тогда как главный канал перекрыт? Да и распутывать вдвоем эту длинную писанину было бы куда веселее. Супер все же кандидат наук. Кибернетик. Хорошо подкован. Даже по-английски. И Андрюшу наставляет упражняться в языке.

«Я не против, — вздохнул Бальзанов, — пусть учится, хотя у меня на Андрюшу свои дальние планы...» — и открыл вторую тетрадку.

Сверху, на обложке, было выведено от руки большими красивыми буквами, без кавычек: *Дневники графа Льва Толстого*. Признаться, подлинных дневников Толстого Бальзанов раньше не читал. Не фальшивка ли это? Не гнусная ли обструкция национальному гению? Три великих романа отставной словесник знал чуть ли не наизусть. С детства помнил «Анну Каренину», «Крейцерову сонату» и «Братьев Карамазовых». Не ловите старика на слове! Не надо дешевить! Но что у Толстого еще имеются какие-то *дневники*, он почему-то не слышал или забыл. Либо в его время толстовские дневники по идейным соображениям были просто не в моде... Эпиграф на первом листе подогревал недоверие:

«...Чорт догадал меня родиться в России с душою и талантом!

Пушкин»

Нужна точная справка. Не мог наш Пушкин такого себе позволить! Много претерпел от царей, от светской черни, но был и оставался русским патриотом. Как была нужна в данную минуту поддержка Супера или Андрюши, чтобы установить клевету! Но не гонять же Супера по библиотекам! Андрея же, по его малолетству, Бальзанов и сам ни за что не допустил бы в это чертово логово, хоть он и рвался в бой, на пожар детективных событий.

«...Дневники Толстого — сколько они наделали зла! Нет, не в истории, не в обществе, которое вправе гордиться замечательными дневниками писателя, а в частной жизни самого Льва Николаевича, в его семье и в судьбе. Дневники, смею заметить, имели для него болезненные последствия и закончились смертным исходом. Дневники при нем исполняли, по-видимому, роль наркотика (оттого-то он и не сумел, с омерзением от содеянного, бросить вести дневники), но лишь растравляли глубже душевную и семейную рану, становясь замедленным средством и способом самоубийства.

По заразительному примеру Толстого либо в невольное, беспочвенное ему подражание чуть ли не все в доме и около принимаются строчить дневники. Жена и дочь, родственники и знакомые, писатели и почитатели, единомышленники и противники, хитрые камеристки и бдительные секретари, домашний врач и застольный музыкант. Кажется, только повар не вел тогда дневника, да и то по натуральной неграмотности.

Впрочем, участие повара и лакея в домашнем раздразе зафиксировано в других дневниковых записях и возбудило, помнится, споры у толстовцев, деливших рубище:

распинаемого царя. Иные дневники велись через копирку и срочно пересылались с нарочным соседнему мелкопоместному бесу, пишущему параллельный дневник. Дневники крали, вырывали из рук. Дневниками сражались. А в центре всей вакханалии стоял ее вдохновитель, просветленный старичок, исповедуя воздержание и взаимную любовь.

За подвиг долготерпения и нравственные живые уроки, преподносимые изо дня в день современному человечеству, Чертков, первый ученик и апостол, объявил Толстого выше Иисуса Христа. Лев Николаевич тоже был недалек от подобных о себе измышлений.

Зато, говорят, до нас дошла такая мемуаристика, такая документалистика о Льве Толстом, что нетрудно рассчитать комментаторам каждый час его дня и ночи, в особенности в последние годы. Как он страдал, чему учил. И разве не возникает порою подобных завихрений вокруг любого гения, к которому льнет со всех сторон благодарное человечество?.. Не спорю. Человечеству хорошо, а Толстому плохо. Как-то, знаете, неловко читать и перечитывать бесчисленные о себе дневники. А ведь сам зачинал и создал прецедент!

Жена плакала, умоляла, ползая перед ним на коленях, поменять в дневнике ту или иную фразу, чтобы ей не было так обидно перед его всемирным бессмертием, перед нравственной его, неоспоримой для всех красотой. Толстовский дневник висел над ее головой, как Дамоклов меч, и был орудием пытки. Грозил застрелиться и даже стреляла в воздух из пистолета, желая возбудить внимание и жалость. Травилась, топилась — отдай ненавистный дневник! Соответственно, у старика участились спазмы и кризы. Старик умирал, но упорствовал: не отдам! Закладывал дневники в банк, прятал под подушку, за книгами в шкапу, в сапог за голенище... В целях безопасности завел тайный список — «Дневник для одного себя». Видимо, все остальные, не для себя одного, дневники предназначались со временем для всеобщего вразумления. Однако Софья Андреевна, все обшарив, отыскала-таки и этот злосчастный, засекреченный, интимный дневник и перепрятала в своем тайнике, среди дамского белья — не достанет. Толстой срочно, по живому мясу, делал свежие записи. Пока однажды, в третьем часу ночи, не услышал «отворяние дверей и шаги». Это старуха, прокравшись в кабинет, копалась в его дневниках...

Почему, кстати, Толстого похоронили в Ясной Поляне, откуда он стремился всеми силами уйти и ушел, до сих пор не пойму. Посмертное прикрепление по месту жительства?.. Следует учесть.

Бежав из Ясной Поляны, едва очнувшись, ведет последний дневник, куда записывает — очень правдиво и честно — все оттенки своих предсмертных переживаний...»

Тут Бальзанов и сам услышал отворяние дверей и шаги, шуршание бумаг, перебираемых Софьей Андреевной. Мимо проплыла немолодая дама в длинной ночной рубашке и беззвучно захохотала. На первом этаже, в зале, заиграл незримый рояль. То была обычная в эти вечера слуховая галлюцинация. Не глядя по сторонам, усилением воли, он продолжал читать дневник Льва Николаевича.

«...Вероятно, читает... Отвращение и возмущение растет. Задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать...

В 6-ом часу все кое-как уложено. Я иду на конюшню велеть закладывать. Душан, Саша, Варя доканчивают укладку. Ночь, глаз выколи, сбиваюсь с дорожки к флигелю, попадаю в чащу, накалываюсь, стучаюсь об деревья, падаю, теряю шапку, не нахожу, насилу выбираюсь, иду домой, беру шапку и с фонарем добираюсь до конюшни, велю закладывать. Приходят Саша, Душан, Варя. Я дрожу, ожидая погони.

Но вот уезжаем. В Щекине ждем час, и я всякую минуту жду ее появления. Но вот сидим в вагоне, трогаемся.

Страх проходит. И поднимается жалость к ней, но не сомнение, сделал ли то, что должно. Может быть, ошибаюсь, оправдывая себя, но кажется, что я спасал себя — не Льва Николаевича, а спасал то, что иногда хоть чуть-чуть есть во мне...»

А спасать-то чуть-чуть оставалось. Всего несколько дней...»

Должно быть, ночное, предотъездное возбуждение передалось Бальзанову. Или тон дневников, насквозь правдивый и по-толстовски гипнотический, создавал иллюзию, будто до него доносится прерывистое дыхание старца, удары головой о стволы,

хруст сучьев, скрип колеса... И легкий возглас вослед: «Милый Левочка, где теперь лежит твоя худенькая головка? Услышь меня!.. Левочка, пробуди в себе любовь, и ты увидишь, сколько любви ты найдешь во мне...» — и твердые аккорды убывающего фортепьяно...

«...Поразительно, что, мучая и убивая друг друга (в чем каждый из них себя и других бесконечно уверял), они в то же самое время искренне жалели и любили один другого! Не мне, старому греховоднику, копаться в семейных тайнах, в нежных чувствах или, как говорил мой старинный знакомый, обольщая женщин, и таяли от одних этих слов: «А если пойдут чувства и начнутся переживания?..» Но хочется сообразить, объяснить... Тем более, в мемориях все это подробно описано. Неужто Лев Толстой, умнейший и добрейший из всех знаменитых людей, прекрасно сознавая — а это разойдется в цитатах по всем чужим дневникам, ждавшим лишь обнаружения, едва старец умрет (и он об этом догадывался!), — что главный пункт помешательства Софии Андреевны составляют его дневники, неужели даже в этот отчаянный момент он не хотел задержать мчащийся, как поезд, дневник и прекратить повальное, всеобщее уже умопомешательство?

Зачем ему были нужны эти беглые заметки? Оставить жену рыдать на украденных дневниках, пока он, как заведенный, изучает себя ради «внутренней работы» по самоулучшению? Заготовить алиби для нечистой совести на тот пожарный случай, если жена все-таки покончит с собой? Продолжать несравненную диалектику души в развитие старых романов?

Помните, как Татьяну Берс — будущую Наташу Ростову — изумительно описал? А она потом, постарев, скажет, нимало не заботясь о благородной репутации автора: «Рабочий *не имеет права* есть сладкое!.. Я недавно читала о крепостном праве: на душе становится весело!..» Ай да Наташа!.. А он все понимал. И бежал не от семьи — от себя.

Умирая, сказал: «Помните одно: есть на свете пропасть народу, кроме Льва Толстого, а вы все смотрите на одного Льва...» Так что же нам делать после этого, как поступать с его неизлечимыми дневниками, где все эгоцентрично и сосредоточено на себе? По счастью, сиделка-дочь тут же побежала от ложа умирающего доложить в соседнюю комнату последнюю толстовскую волю, и Гольденвейзер все это безукоризненно занес в свой походный дневник. Никуда не скроешься...

Последнее, чем меня порадовала Софья Андреевна, так это рассуждениями о Льве Николаевиче после его кончины. За обеденным столом, видя битые сливки, она промолвила: «Вот Лев Николаевич хотел бежать от этих сливок, а Бог-то ему не дал и взял его! Хотел свои принципы исполнить, от роскоши бежать. Но на это не было Божьей воли...» И еще говорила вещи поумнее о мировой войне: «Бог — это нечто неподвижное. А мы все — мы то подвигаемся к Нему, то отходим от Него. И вот, когда мы отходим, дьявол, который караулит, тут-то нас и хватает. И вот теперь дьявол вселился в Вильгельма и через него губит людей. Все равно как в нашей семье дьявол вселился в Черткова и погубил нашу семью... И я тогда подпала внушению дьявола. Разве можно сказать, что Бог меня наказал? Нет, я забыла Бога, а не Бог меня наказал! Я была тогда то что называется «порченная»... это все дело дьявола...»

Не исключено, впрочем, что в ее сознании бедный Лев Николаевич тоже принадлежал к разряду «порченных», подпавших влиянию дьявола. Но какая глубокая связь между уходом Толстого из дому и кровью сперва мировой, а затем гражданской войны! Между историческим и семейным романом. «Война и мир».

Ситуация неизбывного кризиса носилась тогда в воздухе. К чему скрывать? — я это на себе перенес. Нет, я не был толстовцем. Скорее, наоборот. Я был в то время очень радикально настроен. Вот написал эту фразу и рассмеялся. Настолько она персонально ничего не говорит. За анархические убеждения меня, студента, уpekли-таки в Сибирь на три года.

Очень, помню, гордился. От нечего делать сочинил письмо Льву Николаевичу. Самому пастырю! «Очень скоро, — написал, — мы будем резать помещиков, включая детей и женщин. И вам, граф, несдобровать! Мир захлебнется в крови! Желая вам легкой и счастливой смерти!» Мальчишество, конечно. Сдуру, сторяча отправил заказным. Кто же мог представить тогда, чем все это обернется? Сначала будут резать помещиков, а потом уже анархистов. А потом крестьян, которые их резали. А потом... Длинная история... короче, сбежал из ссылки, что было довольно легко

в ту пору, и шась в Ясную Поляну. Принимает. Не стану описывать множество раз воспроизведенную толстовскую физиономию. Портрет Толстого работы Репина читали? Точная копия. Являюсь и прямо, с бухты-барахты, истину, говорю, Лев Николаевич, проповедовать следует револьвером. Ну, старик и опешил... Потом лет через пятьдесят, через семьдесят, просматриваю дневники Булгакова, личного, казалось бы, секретаря Толстого, все искажено, все не так, как было сказано. Все не на месте. Но основная мысль сохранилась: «доказывать истину в наше время можно только револьвером...» Но Льва Толстого уже не было в живых. И не с кем теперь спорить...»

В этот момент в парадную дверь, внизу, основательно постучали. Бальзанов сполоснул рот алкоголем — ради маскировки. Спустился. Не снимая засова, посмотрел в замочную прорезь. Немолодая женщина в шали ходит по тротуару и время от времени колотится, как нанятая, в замурованную дверь. Сперва увидел ее худые ноги на высоких каблуках. Затем, в свете фонаря, рассмотрел и весь силуэт. Юлия Сергеевна! Соседка Супера приволоклась с окраины и бьется, как сомнамбула, в чужой опечатанный дом. А ножки, как щепки! «Чего надо?» — спросил измененным баритоном. И грубо выругался, как подобает нетрезвому человеку.

— А почему у вас свет горит? — ответила она тоненьким голоском, откровенно кокетничая.

На часах было без пяти десять. Позднее время. Небось, на метро прикатила. Выясняется мало-помалу, что ее, видите ли, беспокоит свет. Свет, видите ли, проникает сквозь щели заколоченных досками окон и мешает спать. Живет, дескать, напротив, и свет, который раньше никогда не зажигался, бьет прямо в глаза. Но Бальзанову доподлинно было известно, что напротив его замурованного дома находилось только одно бывшее посольство, где никак не могла жить Юлия Сергеевна, обитающая в Бескудниках, у черта на рогах, рядом с Супером, на другом конце города. Но она-то не знала, что он знает, и летела, как бабочка, на огонь. «Ах, ты моя ласточка!» — подумал Бальзанов и продолжал препираться через закрытую дверь.

— А что происходит в этом доме? — спросила она и окончательно выдала себя.

Бальзанов мог бы сказать, что в доме идут ремонтные работы и какое, вообще, ее собачье дело до всего этого. И она могла бы ответить, как честная пенсионерка, что работают у нас в стране только до шести вечера, а в одиннадцать часов всем трудящимся полагается спать. Но почему-то этих слов они с ней друг другу не сказали. И она исчезла...

«...Что такое семейный роман, в жанре которого у нас в России лучше и продуктивнее других трудился Лев Толстой? В результате разрушил собственную семью и бежал от семьи куда глаза глядят. Сыновья роптали. Девчонки глотали слезы. Софья Андреевна, прежде чем родить Александру Львовну, принимала меры: вскакивала беременная на столы и на стулья и прыгала, чтобы вызвать выкидыш. Андрей Львович обзывал отца сумасшедшим старикашкой. «Только недостает, чтобы Лев Львович стал меня ругать!» — плакался Лев Николаевич. Второй сын напечатал на отца пасквиль. Четвертый говорил, что охотнее всего публично повесил бы Льва Толстого. Вот вам и «семейная хроника»! А он их всех содержал, воспитывал и не жаловался: был большим семьянином и писал прекрасные семейные романы. Правда, признавался друзьям под большим секретом, что не было и не бывает на свете ничего страшнее женщины. «Женщина, — говаривал Толстой, — вообще так дурна, что разницы между хорошей и дурной женщиной почти не существует». А Толстой, уж Лев-то Толстой знал толк и разбирался в бабах! В ответ Софья Андреевна немощного старика обвиняла в гомосексуализме...

Я не вижу иного выхода из создавшегося положения, как принять сам прославленный жанр «семейного романа», высшим авторитетом которого остается у нас Лев Толстой, не за факт, а за форму художественной композиции. Это просто способ такой нашелся с конца, кажется, XVIII века, по-семейному компоновать персонажей. Можно и по-военному, по-партийному. По-религиозному, наконец, принципу. Искусство вообще находится по ту сторону жизни. Писатель, прежде чем что-то написать, умирает. Наивные читатели выдают книги за жизнь и думают: вот у меня семья, и у Палваныча семья, и у Нинсевны семья, и Лев Толстой описал в своем романе такую же семью. Как реалистично, как правильно! Китти там, Анна Каренина... Просто как живые! Ходят по роману, как в собственном доме, и разли-

вают чай. Прекрасные образы русских женщин. И так похоже! А помните маленькую княжну с усиками в «Войне и мире»? Кажется, она немного картавила. И рано умерла при родах...

Не могу достучаться! Не в силах доказать, что никакого семейного романа, никакой семьи вообще не было и нет. Меня подавляет Лев Толстой...»

Мысли о Юлии Сергеевне мешали читать Бальзанову. Зачем она, старуха, с другого конца города прилетала сюда, как мотылек на свет? Необходимо ее ответно посетить, договорившись с Супером. Быть может, она что-то знает или помнит из прошлого об этом заколдованном доме? Но сперва надо было дочитать дневник.

«А зачем, собственно, я веду дневники, без расчета, как Лев Толстой, что человечество их прочитает? Как пародия и как правда — «Дневник для одного себя». Скажу суммарно: мне важно не потеряться. Для того и веду дневник, чтобы себя запомнить. А то растеряюсь, пропаду среди сгибнувших сил, и неизвестно еще, какой голос будет от моего имени за меня говорить. Для одного себя!..»

А между тем за окном простучали каблучки по асфальту, и Бальзанов подумал: «Неужто это моя Оля идет ко мне? Нет. Ей некуда идти. Ведь самого меня под влиянием этого дьявольского кино уже нет. Но вот она уже в доме. Моя!..»

Но тут, слава Богу, затрезвонил телефон. Бальзанов вскинулся, хотя знал заранее, что никакие телефоны здесь уже давно не действуют.

— Бальзанов у телефона! — сказал он по привычке к дисциплине.

Там помолчали. С другого конца провода, будто с того света, донеслось отрешенным и как бы даже механическим голосом:

— Колдун у вас?

— Какой колдун? В доме никого нет.

— Проферансов. Да вы не пугайтесь. У вас еще найдутся сторонники.

— Я ничего не боюсь, но кто говорит?

— Не волнуйтесь. Читайте дальше. Говорит телефон.

— Кто?

— Телефон.

И трубка была повешена. Бальзанов кинулся звонить к Суперу, но телефон больше не работал. Только в его сознании перезванивались слова: «Кто говорит? — Телефон». Как если бы телефон, без нашего участия, мог сам разговаривать. Телефон?!

Глава четвертая. *На одном дыхании*

«...На улице Врангеля у меня отказали ноги. Асфальт подо мною поехал, в голове помутилось, вот-вот растянусь. Я так и понял. Правильно! Третий звонок!

Случалось, и не раз, а все-таки пугаешься. Как перейти дорогу? Сбегать на Арбат за пирожными целая проблема. Того и гляди, в конце Поварской загремит карета. От дома Наташи Ростовой барышни с приживалками покатили за булавами в Кузнецкий пассаж. А ты, старикан с Молчановки, жди-пожди, пока проскачут! Мое многотерпение с годами войдет в пословицы...

Надо, однако ж, собраться с мыслями, взять себя в руки и миновать тракт. Жизнь прожить, говорят, не поле перейти. Нет, легче прожить жизнь, нежели перейти улицу. Машины так и шмыгают. У них — дизель! Им бы, главное, задавить... Вот если бы вместо дизеля по Воровскому, от Союза писателей, цокая подковами, выступали авантажно осанистые, бравые кони! Меньше риска и воздух чище. Навоз. Общение с природой. Я давно предупреждал, что не мешало б изобрести бесшумные, просторные электрические омнибусы, и пусть катаются по России туда-сюда, развозят грузы, народ. А вместо аэропланов пускай фланируют над океаном расписные чудесные шары-монгольфьеры. Как при великом Фридрихе, при Александре Благословенном!.. Между нами говоря, боюсь испустить дух под автомобильной шиной.

Гляжу, с Восстания — то бишь с Кудринской площади, — кавалькада автомобилей. Блиндированные. Прямо на меня! Возле Борисоглебского, однако, круто

ваем, дескать, обоюдостороннюю связь. Я тут же, пока не закосили, пересек проспект!

Подобное бывало со мною. Стою на перекрестке и не могу шевельнуться. Самому смешно! Впиваюсь когтями сзади в холодную панель какого-то доходного здания и не в силах оторваться. Все кажется, врежусь лицом в мелькающую коляску. Нарушения в гравитационной системе? Потеря равновесия?.. Но мы же штурмовали, черт подери, Перекоп! перешагивали Альпы!.. И вдруг, ни с того ни с сего, спокойно, не торопясь, по воздуху, — переплываю шоссе. Мания какая-то...

Дайте разобраться. Ты мнешься на углу, а ползучая старушка — в чем душа теплится? — видя, что ты неподвижен, будто инвалид, подает тебе милостыню. И я, как бывший нищий, произношу автоматически: «Спаси тебя Христос, милая!» А сам думаю: вы не знаете, граждане, как это сложно и горестно переставлять слабые ноги... суставы — как от водянки. Кто бы пособил, поддержал? О будущем не поминаешь. Помогите, Господа ради, переправиться через рубеж!

Помимо автомобилей боишься, что тебя окликнут. Узнают, и ты пропал. Какой-нибудь доктор Шрайберг или вон та седенькая бикса, что подала тебе десять копеек. «А помнишь, дружок, — скажет шмакодявка, прицеливаясь, — как ты меня, обольщая, водил гулять по лугам и ресторанам и что между нами вышло?» Уйди, паразитка! Ничего не помню. Честное благородное слово, ничего между нами не было. И тут она как взвьется!..

Мысленно перекрестился. «Извините, мадам, но я не тот, за кого вы меня принимаете. С кем-то перепутали...» И хочу уйти, а не стронешься... Как будто звание камер-фрейлины мне что-нибудь говорит? Вечно путаешься между юбками. Какая Журавская? При чем тут Донна Анна? Во всяком случае, не эта же развалюха?! На ее иссохших устах шелестят проклятия.

Перескочил или выскочил? Никогда не убивал стариков. Ни детей, ни женщин. Если разобраться, то я добрый человек. А вы, я не уверен, что вы никого не убьете, находясь в моем состоянии, если вам понадобится брать на рывок Перекоп. Кто из вас не разменял бы прохожего на перекрестке?.. То-то и оно. Нейтральные. Ни в п..ду, ни в Красную Армию...

Прошу об одном: не завидуйте моей длинной жизни. Сплошные неприятности. Камушек подвернулся. Кошка перебежала тропу. Как всегда, профилактически делаю кошке бубуку. Сооружаю в кармане два пальца — указательный и мизинец, — вперед рогами. Внимание: выскакиваю!

Наконец, рискуя жизнью, отлепился от стенки и весело перелетел мотыльком. Возле церковки Симеона Столпника, что супротив аннулированного с войны Чашникова переулка, причалил с трудом и перевел дух. На садовой скамье соседствует девушка в профиль. Личико у нее показалось мне любознательным. Взгляд на нем, можно сказать, отдыхает. Ничего себе цукатный орешек. А с другой стороны, барышня как барышня, барсик как барсик. Носик у нее, правда, был аккуратным. Листает книжку. Но это еще не довод. Много я пересмотрел девушек, и женщин, и даже, случалось, матрон на своем веку. Бывает, красавица — глаз не оторвать, — а глуповата. Бывает, огонь-амазонка. А приглядеться — посредственность. Либо рожа рожей, а внутри — верх совершенства. Но чтобы складывались сразу четыре карты — ум, красота, сердце и совесть, — таких я давно не встречал. Но всегда надеешься.

— Гражданочка, позвольте спросить, — поинтересовался я на всякий случай у прекрасной незнакомки. — Что вы читаете?

— Сказки Андерсена, дедушка.

Это я — дедушка? Показывает обложку. Действительно, — «Сказки Андерсена». Серебряная книга. Обменялись взглядами электрического характера. И тут я встал за ней и пошел. Почти как обезьяна на задних лапах. Лет ей, по-моему, было восемнадцать, не старше. Да и я не мальчик. Почти девчонка. Поманила пальцем.

В Мерзляковском, номер семь, вошли. Портрет Хемингуэя висит под стеклом в свитере. Микки-Маус болтается над овальным столом. Все так понятно. Кружевные разводы. С бахромой. Паустовский на подоконнике. Взгрустнулось. Снимает угол с подругой. Оказалось, ее звали Юлией, и она уже зачислена этим летом на первый курс Тимирязевки. Увлекается ботаникой. Я растрогался. Напоила чаем. Мысленно к ней я говорил себе, ломая узловатые грабки:

— Не желаешь ли ты со мной, Инезилья, умчаться на крыльях любви? Да так, чтобы мы забыли об этой грешной планете и унеслись в небо?! Ладно! Приду в

другой шкуре, и ты у меня запоешь, как перламутровая скрипка, как виолончель какая-нибудь...

Все это, скорее, произошло в моем подсознании. Не надо хвастать. Ничего особенного. Читали «Фауста»? Воображает, что его зацепила на склоне лет сверхъестественная Гретхен. Обычный дальтонизм пожилых мужчин. Над пододеяльником у себя на Молчановке я вообще расплакался. Не умею, хоть убей, вдеть одеяло в пододеяльник. Нужны девичьи пальчики...

Останний, на прощание, посошок в дорогу. Водка — будто сроду не пробовал — широко и свободно разлилась по груди, как ляжка бурлака. И вся горечь жизни, и стыд непризнанности, и терпкое, ядовитое отвращение к себе заключались в этой мизерной рюмке. Клин вышибают клином.

Для бодрости и спокойствия: предстоит катапультироваться!..

Пачка подъемных крупными купюрами. Мелочь я рассовал по карманам. Пускай подавятся. Саквояж с бумагами. Белья не беру ни капли. Другой размер, а назад мы не вернемся.

В довершение приключений я, снаряжаясь к отплытию, с ужасом обнаружил, что трусы у меня по рассеянности надеты наизнанку или, как потешались еще в минувшем столетии, шиворот-навыворот. Скверная примета! Недосмотрел, паралистик! По собственной халатности чуть публично не отключился. То-то с утра дрожат тронутые Паркинсоном коленки. Катаlepsия какая-то. Пора на свалку. И с барышней допустил промашку. Пускай перед моими премудростями красавица, как заводная, хлопала ресницами, вонзаясь лучами в измученную грудь, где я для нее развешивал волшебные сады и дворцы. Реагирует с амбицией:

— Откуда вы взяли, дедушка, какая была погода в день бракосочетания Марии Антуанетты? Вас же тогда не было там, во Франции!..

Чем прикажете соответствовать? Едва не брякнул в сердцах, что у меня феноменальная память на дальние дистанции, и прикусил язык. Отыскались, мол, факты в придворной газетной хронике. Не открываться же сдуру, кубарем, что сам заседал вась-вась с нотаблем визави дофина и вправе живописать цесарок и фазанов, пряности и сласти, какие нам подносили к свадебному столу. Да, пировали знатно... Нынче так не танцуют. Это вам не Пахмутова, а Джованно Люлли! Чувствуете звуки? Менуэт — как плясали? Чтоб не спутаться буклями, не наступить на платье. Вся аристократия, буквально, на красных каблуках. Вальсы в те далекие времена еще не вошли в обычай. Не настолько еще деградировали. Почиталось непристойным обнимать даму за талию.

— И не величайте меня, Юлия, — умоляю, — дедушкой. Слава Создателю, я не мальчик и умею себя поставить, за себя постоять... Зовите меня, если хотите уважительно, — Доктором.

— Доктором?! А вы случайно не по нервным расстройствам? Не по сосудистым афазиям?.. Тератология... Диспепсия... Фармакопепия... Идиосинкразия...

И она заулыбалась. Артикуляция иностранных вокабул дается ей, замечаю, с известным напряжением. Одобрил находчивость, подивился наивности. Туманно аттестовал себя доктором гуманитарного профиля, не уточняя деталей. Мало ли какая завтра мне потребуется профессия? Могу студентов натаскивать к выпускным экзаменам. На любую тему, по всем аспектам. Вас, например, Юлия Сергеевна...

Закинул удочку и опомнился:

— Тысяча извинений — спешу к пациенту... Может быть, к вам от меня, сеньорита, с эстафетой забежит на днях один сказочный принц. Мой ученик, между прочим. Прошу любить и жаловать. Подающий большие надежды талантливый писатель...

Юлинька расцвела. Уверяю вас, она буквально растаяла.

— Как это интересно! — говорит. — Никогда не видела вблизи знаменитого писателя.

По-стариковски зондирую почву на предмет женихов и поклонников.

— Я — кошка, которая гуляет сама по себе! — гордо рекомендуется Юлия.

Я чуть не умер! Из Киплинга! Сколько шалых девиц залапано гулящей цитатой? Вот вам на сегодняшней день и все философское кредо!.. Черт, потерял очки, шарю по карманам. Аж вспотел. Без очков я просто никто. Катавасия какая-то. Первая теорема — снова одолеть Поварскую...»

«Пока он ее одолеет, — подумал Бальзанов, — не выскочить ли мне на воздух,

перекурить». Жара уже спадала. На дворе никого. Ну, ни одного человека. И тут подумалось в который раз: неужто опасный преступник и впрямь так слаб и беспомощен, что не может перейти дорогу? Супер опять не приехал вовремя... Но тут же услышал: тарахтит мотоцикл. Явился. И не дав ему слезть с седла, ни с того ни с сего спросил:

— А правда, Саша, что человек, по Дарвину, произошел из обезьяны?

— Не знаю, Донат Егорыч, скорее наоборот. Недаром к концу жизни любой человек гораздо больше похож на обезьяну, чем в юности... А говоря серьезно, не знаю и никто, я думаю, точно не знает. Читал я где-то, что в конце двадцатого века в Лондоне в Музее науки специальная выставка была «Дарвин и Гексли», так там в соответствующем разделе плакатик висел: «Не доказано наукой».

С Супером всегда интересно. И мы рванули...

«...Расставание, однако, у нас было преисполнено скрытой многозначительной близости. Давно я не испытывал столь нежного рукопожатия среди моих современниц. Разве что у Донны Анны наблюдались подобная эластичность жестов и пружинистая сила. Ладонь, давая понять и удерживая остаться, долю секунды не выпускает ваших пальцев, пряча в вашей руке незабываемый отпечаток объятий. Так в лесу аукаются подруги. Так плачут глупые лани и умные бабы, тоскуя о возлюбленном на излучинах великой реки. И притом такая невинность в опущенных долу очах. Ничего фривольного рука не позволяет, но, внимательно прощаясь, как будто приглашает к свиданию, с одушевленным намеком на более тонкую связь и грустным напутствием поскорее сюда вернуться...

Трезвон в передней!.. Писатель на мушке...

— Давненько-давненько... Заждался... Легки на помине... Как же, как же... Всегда рад... Хотите причаститься?.. Как — по какому поводу? С моим отбытием!.. Нет, пока не в Америку. Поздравьте: съезжаю с квартиры... Здесь неподалеку. На Сретенке... не беспокойтесь — мне помогут... Обижаете старика... Вот новость! Завязали? Искренне жаль... Ваша воля, милорд. Ну я один вздрогну. Пожелайте ни пера, ни пуха. Оп! И все готово!.. Водочка первый сорт. Номенклатурная. С семгой и с лимоном. Помните у Бунина? Нет, у Тургенева. Из рассказа «Ловцы». Состязание в «Записках охотника». А еще писатель... Впрочем, я тоже запомнил. Слыхали анекдот о склерозе? Приходит к доктору... Тогда не буду. Просто к слову пришлось... И не надо! Лучше я, с вашего позволения, еще гамары дерябну. Сполосну зубы и баста. Без чарки правды не скажешь. Ее же и монаси приемлют... Не бойтесь, не соблазняю в компанию. Мне, говоря по совести, ваше здоровье дороже. Вы — первая ласточка нашей новой прозы. Не краснейте! Скромность украшает девушек только до шестнадцати лет... О, что я вижу!.. Сюрприз? Целый Декамерон! Давно издали? И переплетик славный. Кто художник? С большим вкусом. Шрифт не подкачал. При нынешней полиграфической скудости просто роскошь! Примите поздравления старого библиомана. За ваш литературный успех, сударь... Вечерком засяду. И тогда уж не взыщите!.. С книгой для начала — простите — необходимо переспать, и она, быть может, откроет свою тайную власть над нами... Читал я ваши рассказы и, кажется, догадываюсь, в чем их сокровенный секрет, а значит, и привлекательность... Форма, содержание, жизненная правда, стиль, сюжет и другая требуха — все это небесполезно лишь начинающим авторам. А ваши новеллы, молодой человек, мне довелось изучать, пока вы шутовали в больничке. И сумел оценить... не надо благодарностей! Тяпну еще стакашек. Я вам серьезно говорю... За вашу и нашу свободу! Вот так!.. В ваших вещах неистощимый лабиринт... Наподобие матрешек... Ведь как это скроено? В одной спрятана вторая, затем — третья, четвертая... Пусть они примитивны и кое-как раскрашены. Это — выход из действительности... Штабелями, штабелями у нас, батенька, убивали. И это действует на нервы... О чем нынче вопит поверженная Россия? Только о том, как бы выйти из себя и вновь заполучить весь белый свет... Всемирная отзывчивость... Россия сама не знает, в каких она границах... Безумная страна... Лепила Шрайберг меня заверял наперед, что вы сейчас в идеальной форме... Тьфу-тьфу, не сглазить... А у самого чуть что ножка подпрыгивает, уложенная на другую ножку... но я не об этом... Клиника, понимаю, для вашей светлости была что нашему брату бессрочный каземат... Я взял вас на поруки, под расписку. Вам надобно отдохнуть. Сидите и пишите... Что может быть сладостнее в этом безумном мире?.. С вашего разрешения, последний раз ныряю! В водке главное то, что она откровен-

на... Вспомним Анну Петровну. Не желаете?.. Нельзя быть таким жестоким... До сих пор не забыли?.. Слабая аргументация!.. Мало ли что изменяла... С вашим же — если угодно — созданием!.. Да я не спорю! Не оправдываю!.. Засадить мужа в психушку — не шутка... Будьте снисходительны!.. Она же как лучше думала... Успокойтесь, я не Шрайберг!.. Не стану разубеждать... Не собираюсь я вызывать чумовозку! Вы меня в гроб загоните... Эх, матрешка, матрешка... Пойдите, мне плохо... Дайте руку... Приподымите меня... Ближе! Ближе! Дышите глубже!.. АХ!!!

(далее другим почерком)

Жизнь, по всей вероятности, лишь разбег для прыжка в книгу, и, вынырнув на поверхность знакомой Поварской, в первый момент я ее не узнал. Теоретически она была той же крутой магистралью, по которой ваш покорный слуга шлендал сегодня утром, не решаясь через нее переправиться, а практически совершенно другой, более, что ли, спокойной и тихой заводью, будто парковая аллея в провинции. Истинный Версаль да и только. Мирные особняки, цветники, деревья и никаких машин! Хоть танцуй посреди пустыни. А можно побежать или запрыгать, как в детстве, на одной ножке, выделявая кренделя сюжета. Ни усталости, ни боли, ни хмеля в прозрачной, как эта сухая осень, и пустой голове. Весь сивый бред остался там, позади, на предыдущей странице. Казалось, я не ступаю по улице, а мягко скольжу глазами по классическому ее описанию, лишь кое-где внося сознанием мелкие исправления в текст, несколько старомодный и неувядаемо прекрасный. Удивительная легкость слога!

Глядь, разбитная нянька выводит на розовый воздух головастого карапуза, не по сезону укутанного в шерстяную кофту, застегнутую на все пуговицы. — Ты бы, голубушка, на своего кавалера еще чесанки с калошами и башлык нацепила! — перемигнулся я с миловидной дурындой и присел на корточки перед курбастеньким монументом. Дурында бессвязно лепетала что-то про конец сентября и дождь по радио, про вирусный грипп из-за границы и грозные наказания хозяйки не застудить Малюту Скуратова... У меня слабость к маленьким. Бедные дети! В обществе взрослых они бесправны и каждую блажь свыше вынуждены принимать, как римские стоики, за историческую необходимость. Что поделаешь, мы появились в этом мире и нам остается только терпеть. У них даже собственных денег нет, чтобы купить конфету. Ни тебе мороженого, ни шипучей воды с сиропом! И я, переложив саквояж с бумагами в другую руку, сунулся было в пиджак порадовать богатыря шоколадкой, но тут же вместо гостинца, запнувшись, нащупал в кармане книгу, вроде бы мною написанную и еще не прочитанную, и двусмысленность открытия меня ошеломила...

Скажете, угрызения совести? Ошибаетесь! Не на того напали! Душа была чиста, как венецианский хрусталь-хризолит, настолько целокупный, что одеяние с чужого плеча мне показалось мешковатым, и я подумал, как бы его обуздать. К тому же мой клиент, мягко говоря, был порядочным негодяем, как это случается иногда с привлекательными гурманами. О женщинах такого не скажешь. Я унаследовал от него только оболочку, не больше, вытеснив его мятущийся дух на свободу, к солнцу, ко всем чертям... Со святыми упокой!.. (Душа с него вон!)

Сколько он умудрился наломать дров в свои неполные двадцать восемь! Одни эскапады в «Арагви» и дуэли в ЦДЛ чего стоят! А игра на скачках? Искательства в «Советском писателе»? Шашни в «Огоньке», в «Московском экстрасенсе», в «Известиях»? Тоже списывать на психику? Благо все разрешилось в душеполезном приюте имени Льва Толстого. Я всегда подозревал за ним что-то не то...

Конечно, мне будет не совсем ловко таскать по столичным редакциям, кулуарам, салонам его одиозное имя, омраченное паранойей. Иди доказывай встречному-поперечному, что ты — благоразумен, лоялен. Совратить невесту у своего наставника и так безобразно разбить ее молодую судьбу. Помните анекдот из серии про сумасшедших? Сказал «дзинь» — и скончался. Вообразил себя стеклянной вазой, мерзавец. Едва не довел подругу до самоубийства и сам рехнулся. Ведь это же надо — приревновать великодушную Анну к высосанному из пальца лицу, к собственному своему, придуманному, мрачному герою романа и обвинить обоих в измене! Вот до чего доводит необузданная фантазия!..

Правда, за исключением психопатических вымыслов, мой протезе обладал, если

хотите, идеальным конгломератом. Жаль было без пользы выбрасывать столь чудесный аналог. Золотой запас! Молод, крепок телом, умен и хорош собою. Одинок. Довольно талантлив. Богат. Да и всех прилипал, супников, любителей кутнуть за чужой счет от себя отвадил. Вот где нам пригодилось безумие! Никаких воздыхательниц, никакой запасной девчонки про черный день. Даром что знаменит, Принц!..

Ах, Валера, Валерочка, что я с тобою наделал!.. Вся литература — игра на краю жизни. Оптимальный для меня, если рассудить, вариант. Впервые за последние пятьдесят лет я был свободен, и, кажется, даже счастлив. Меня уважали, меня сторонились и меня побаивались...

Две легионерки во дворе при моем появлении разом захлопнули пасть и выпрямились на лавочке, и я почтительно поклонился. Привет, мегеры! С добрым утром, вороны! Неважно, что полчаса назад я с ними, быть может, уже здоровался, совершая круговой моцион. Чокнутому простительно забывать соседей, путать даты, избегать контактов. Пускай повернутся камергерши: «А наш-то Принц нынче совсем смурной...» Изысканное и благородное прозвище на том этапе меня устраивало.

Горделивая осанка и шальные гонорары моего предшественника, вероятно, возбуждали зависть. Помню, при Екатерине Второй ревниво говорили — чуфарство. По-нынешнему — чванство, роскошество, но в старину веселее звучало и слышалось либеральное и чивое пофыркивание. Да и в своей натуре я чувствовал недоступность, бросавшуюся в глаза малообразованной публике. Скорее в крепость! Домой!

Странно все-таки: насколько себя помню, мне всегда хотелось быть незаметным и по возможности даже невидимым, и это же скромное свойство обращало на меня разгоряченные взоры толпы. Личность в каждом из нас сидит так же глубоко и плотно, как грифель в карандаше. Не выудить! Не разбить! Разве что растворится. Рассыплется...

Так, болтая о том о сем, я колдовал с ключами — как поворачивать? куда вставлять? всего не предугадаешь! — пока витиеватые засовы и замки отшельника не поддались наитию и я не оказался, наконец, наедине с собою в моих новых владениях. О, как это много!

Декорацию в квартире придется сменить, чтоб и духу его не было, не то что мерзких вещей, вроде бездарного серванта, буфета, шкапа... Подделка под стиль модерн. Разве что антикварную лампу сохранить на память? Все-таки раритет. С арабской вязью... Сам же презентовал ко дню избавления безумца от фурий и фавнов минздрава...

Особенно меня возмутила зеркальная переборка в алькове. Это же надо вычислить, скомпоновать! Ничего похожего я не встречал в лучших лупанариях Азии и фешенебельных борделях Западной Европы. Ну и давали же дрозда наши комсомольцы! То-то никому он этот алтарь не показывал! Берег военную тайну.

Вообразите, анфилада дортуаров, системой зеркал уходящая в никуда. И в каждом зеркале неизлечимо рисуются одни и те же радости. Донна Анна!.. Подумать только, еще до болезни, полтора года назад, Принц развлекался с вами, со своей уютной Анютой, в этом жарком калейдоскопе. Так недолго и свихнуться. И в каждой стекляшке, Донна Анна, вы подмахивали!.. То под вибрацию Вивальди, то под менуэты Люлли, то, возможно, под болеро Равеля. Сплошной «Танец с саблями». Вот и доигрались, красавчики! Шутить с искусством вредно для здоровья. Зеркало все-таки страшно отдаляет нас от самих себя...

Недаром при всей тренировке я не позволяю себе опускаться и слишком далеко залетать мечтами в анналы биографии. Держусь среднего курса, поближе к текущему дню, к светлой современности. Признаться, боюсь заблудиться. Ведь наша память, сеньора, — такая же система зеркал. Засмотришься в нее, и поминай как звали. Собьешься с панталыку. С кем прикажете тогда идентифицировать себя и своих возлюбленных? Сюзанну с Вербеной или Веру с Азалией, как называл я ласкательно одну из своих похищенных у синей Бороды прозелиток, то ли в пятнадцатом, то ли в шестнадцатом цикле? Спутаешь прелестную Юличку, с которой только что подружился и завязал сантименты в расчете на дальнейшие встречи, — да послужит она мне серебристым ориентиром или, вернее сказать, подвесным, из паутины, мостом, перекинутым над пропастью, из одной жизни в другую, — с какой-нибудь монастырской гримзой, вроде Донны Анны, из бывшего репертуара, а ту в свою очередь невольно соединишь с дурной, бородатой нимфой, что лепится по карнизу в одной из комнат, и пойдешь прямой дорожкой по печальным стопам незабвенного

маркиза де Сада... Изъять, упразднить, раскассировать как класс зеркальное царство! Не допущу разврата! Да и спать мы будем в другом, более покойном и respectable помещении...

Все же я не удержался и, пользуясь удобной минутой, разделся. После сегодняшних треволнений не мешало все-таки удостовериться в благоприобретенном наследстве, с каким жить и жить еще долгие годы. А то — случилось в неразберихе — подсунут тебе такое барахло, такую липу, что хоть стой, хоть падай. Лечись, меняй судьбу и беги на другое дело, но опять переселяться мне почему-то не улыбалось. Может быть, из-за Юлии... И не так это приятно — кочевать с места на место. Едва обвык, прижался к людям и сел наконец-то работать, нет, вставай, начинай сначала!..

Со стены на меня глянул — не стану приbedняться — форменный Антиной, и было бы очернительством и преступной неблагодарностью отрицать это свалившееся на меня с небес достояние. Экземпляр первого сорта, с хорошо развитой анатомией. Я с трудом догадался, что это я в своем новом, превосходном, как языческий бог, и омоложенном образе. Мне даже сделалось как-то неловко. Пусть лучше потом когда-нибудь художники нарисуют, а юные дамы воспоют мое обнаженное тело. Куда нам это курлыканье!.. Правда, ноги сперва мне показались от иного туловища, настолько своим изяществом они не отвечали моему внутреннему миру. Но, в конце концов, не в ногах счастье, чай не в балете! Не на фигурных коньках козырять! И, вообще, мой склад ума и сосредоточенный образ жизни не так уж нуждаются в полной, буквальной гармонии с ногами. Ноги, господа, это дело наживное!

Исподтишка, со страхом, я покосился на мои, доставшиеся мне от Антиной, причиндалы. Не слишком ли они эстетичны? Вздох облегчения пробежал в зеркале по моей грудной клетке. Причиндалы были при мне, а главное, обрамление на них почти не отразилось. Как положено мужчине, они напоминали точнее всего трубку от противогаза устаревшей советской фирмы. Вдруг трубка ни с того ни с сего слегка зашевелилась, как гусеница, превратившись в волшебную палочку. Последний аргумент! Однако она не сделалась ни красивее, ни грациознее. Скорее напротив, нарочито brutальнее. Разве что немного мажорнее. О, чудо пробуждения (эту фразу я готов замкнуть двумя знаками восклицания)!!

То ли радость от мысли быть как все, обыкновенным человеком, здесь проявилась. То ли подспудные думы и мечты о Юлии, которая меня поджидала в Мерзляковском переулке, а я ей подавал, так сказать, телепатический сигнал на почтительном расстоянии. Дескать, потерпи немножко, моя сказочная царевна, уймитесь, волнения страсти, засни, безнадежное сердце!.. Или, быть может, зеркальная спальня на меня так подействовала, но я был способен уже в порыве вдохновения — с помощью волшебной флейты — дирижировать целым оркестром. В голову лезли музыкальные фразы из оперы Гуно... Внезапно странные звуки донеслись из кабинета, смежного с потаенным альковом. Хрип умирающего, похожий на придушенный кашель. Как был, в костюме Адама, в одних носках, я бросился на простор, готовый к обороне. Выскочил, сжав кулаки, и от смеха сел на пол. Какие только дешевые трюки не выкидывает жизнь на каждом шагу, соревнуясь с искусством в реализме, романтизме или чаще всего в мелодраматизме. И после этого еще думает, что победит, паршивка!.. А это полудохлые старинные часы в столовой прежде чем отбить заупокойную мелодию, долго собирались с силами, задышливо чертыхались, словно что-то вычисляя или мучительно раздумывая о нехорошем. Да я ведь и видел и слышал не раз эти куранты, только забыл об их напольном существовании. Принц ими страшно хвастался и снисходительно величал «Тещей».

Поворчав и поперхав, Теща пробила полдень. Меньше часа прошло, как я удалился с Молчановки, и полумертвый старик там, должно быть, еще сидел, не солоно хлебавши, рядом с недопитой бутылкой, семгой и лимоном. Однако ж мне было холодно и неудобно, и я облачился в хозяйский мягкий халат с кистями, удовлетворенно подумав, что теперь-то уж эта мохеровая обнова безусловно мне подойдет. А злобную Тещу, чтобы не мешала работать, мы при первой же оказии за кругленькую сумму спроворим в комиссионный. Адье!

Кстати, нашелся повод спокойно, без нервозных одергиваний, осмотреть книжные полки. Боже, какой только дряни здесь не было! Дряни, однако ж, внимательно подобранной и тщательно расставленной. Несомненно, эту дешевую коллекцию наш ревнивец по-своему любил и ценил. Вся многопудовая серия современного детектива, зарубежного и отечественного!

Но откуда, спрашивается, у молодого коллеги такой интерес к первобытному детективу, в тысячу раз ухудшенному и разбавленному водянистой текущей словесностью? Увы, я боюсь тлетворного влияния на литературу житейской прозы. Берегись, писатель, бегать наперегонки с действительностью за опасными насекомыми, за каждым гадом. Укусят! Ты не сыщик и не судебный репортер. И если уж тебя увлекают детективные интриги, ищи в них тайные пути искусства или всеобщей истории, а не полицейский отчет. Дождидайся. Нет-нет, а проглянет в окне над поверхностью бытия и вильнет хвостом новая авантюрная фабула...

Сам я, однако, в окошко не смотрел. С меня хватит! Включил громоздкий сундук в углу, придушил звук. Но не очень-то следил за программой, а продолжал ревизию полок и шкафов. И всматривался больше и зорче всего в себя как в самый надежный и полный пока что источник информации... Да, преступность в России в наши дни неудержимо подскочила. Об этом сейчас много спорят, но здесь у меня особое мнение, подкрепленное скромным опытом. Не стану объяснять или доказывать. Просто расскажу то, что наблюдал наяву. А верить или не верить — ваше право. Надеюсь, вы не забыли большое полотно в Третьяковской галерее. Называется «После побоища». Во всю стену холст. Верещагина или Васнецова, не помню. Я видел его, почитай, лет семьдесят тому назад, но общее впечатление врезалось в меня навсегда. Громадное поле битвы, вроде Куликова, устланное трупами. Живых не видно. Живые ушли отдыхать либо драться куда-нибудь подальше, за раму. Лишь одинокий конь пасется на горизонте да ущербный месяц висит сиротливо в бледном, вечеряющем небе. На переднем плане раскинулся русский богатырь в кольчуге, ногами вперед, на зрителя, хоть выноси с холста на погост, и как-то странно помаргивает на вас помутненными точками, покуда не догадаетесь, что они у него вытекли, выцвели или выклеваны птицами. Рядом, по диагонали, покоится стройный отрок, пронзенный оперенной стрелой в тугую грудь, так что, мнится, стрела еще трепещет и знойно поет в воздухе. А там, справа от вас, татарва-оторва, вздрочив бороденку, в острой шапке, оттененной куньим хвостом, яростно занес кинжал да так и застыл, скрючившись, над бездыханным телом, не рассчитав момента. А сверху орлы-стервятники или коршуны, ругаясь между собой, кружатся над падалью, и это самое главное. Они не ведают, как и куда приземлиться.

Нет, не орлы-стервятники и не другие хохлатые хищники схлестнулись в споре над обильным угощением. Если бы хватило полотна, чтобы изобразить выше и дальше меркнувшее небо над успокоенным полем, или достань у автора побольше смелой прозорливости, он бы запечатлел то, что совершается на самом деле рядом с терпкими птицами *над* сценой после побоища. Там носятся ветром души поверженных и продолжают палить и рубиться еще ожесточеннее, вслепую, толком не сознавая, что происходит, кто прав, кто виноват, где друг, где недруг, в порыве мести и ненависти свившись в один огромный, мохнатый, как облако, клубок. Над каждым большим сражением и после него встает подобное облако, и проникательные монахи созерцали его не раз, с трепетом и отчаяньем, не умея помочь сомнамбулам выкрутиться из постигшей их неотвратимой беды, иногда более свирепой и длительной, нежели сама схватка.

Мне случалось бывать в таких переделках, и я знаю, что говорю. Выскочить из поля борьбы, в которой принимают участие энергии более мощные, чем твой индивидуальный заряд, здесь так же тяжело, а порою невозможно практически, как, падая, ухватиться за воздух. Вы думаете, мне сегодня было легко умирать и заново рождаться, пользуясь спасательным кругом, хоть тот был заранее предусмотрен и заготовлен? Когда-нибудь доскажу, как это в жизни бывает...

Сейчас мне важнее закончить детективную мысль о подлой исторической зоне, в которую мы угодили, похожей на превосходную картину Васнецова. Мы живем после побоища, куда менее оправданного, чем поле Куликово, но столь же грандиозного, масштабного по своим результатам. Мы живем на развалинах, на закате великих преступлений, частично еще не опознанных, не пойманных историками, и преступное прошлое еще стучится в наши двери. Но вернуться назад, в наше теплое общество, оно не в силах и потому дико злится, неистовствует, теряет лицо и разум. Посмотрите, сколько сейчас развелось безумий, неврозоз, бессмысленных уголовных дел разного сорта и вида, деструктивных, разрушительных. Вырождение какое-то. Декаданс, если хотите...

Бывал я у Шрайберга, в больнице Льва Толстого, — пока наш ненаглядный. Принц лечился. Развлекал. Подкармливал молодого человека. Питание там не ахти

какое, зато посмотрелся и наслушался историй — страшно вспомнить. Шрайберг — мой давний знакомый, врач средних лет, но совершенно уже сумасшедший под влиянием больной атмосферы, — рассказывал про одну пациентку. Пожилая уже и широко образованная дама. Все свои сбережения, 400 рублей, требует перевести из клиники в Третьяковскую галерею. У них дефицит. На реставрацию старинной картины «После побоища», между прочим. «Супруг у вас, кажется, погиб на фронте?» — вопрошает участливый Шрайберг. «Первый погиб, — отвечает, — второго посадили, а третий, самый главный супруг, сюда летает». Как уж он летает, не знаю. Все-таки пятый этаж, и связь между ними крайне затруднительна и нерегулярна. Уличные девки и твердокаменные сиделки препятствуют. Любящие супруги общаются украдкой через форточку. В итоге у больной в палате периодически рождаются и подрастают дефективные дети. О двух головах. Одна голова одно говорит, другая — совсем другое. А вы говорите, экономические причины...

Нет, преступные души, отвоевавшись, парят над нами. Иной раз проносятся на бреющем полете, как ИЛы во время войны, скоростные штурмовики, прозванные немцами «черной смертью». Но воплотиться на земле и повернуть историю вспять они не в состоянии. Никакой организованности. Никакой идеологии. Они сами не знают, чего хотят. Зато заразить своими отбросами окружающую среду и деформировать живых, искажая лица и души, они еще ой-е-ей как могут. Вот мы и вертимся в данный момент в криминогенной фазе исторического развития. Примерно так за грозным Иоанном Четвертым, помедлив, поскрипев колесиками, последовала русская смута.

Но, слава Богу, детективный виток на полках окончился вместе с «миром приключений». Мне оставалось развести руками: библиотека недоучившегося гимназиста. Нечего читать. Хорошо по крайней мере, что, снаряжаясь в дорогу, я загодя спровадил сюда кое-какие мемуары и сказки — мои любимые книги из собственного собрания. Просто дал полистать Принцу, а тот и ухватился. Отныне мой корабль оснащен. Не чета научной фантастике, которой здесь изгваздана целая стена.

Ни то ни се. Стыдливый паллиатив. Сам нелепый термин — «научная фантастика» — двусмысленный знак отправления фантастики от науки, — обычная в наше межеумочное время попытка и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. В сущности, перед нами обычный конформизм, приспособление к большинству, к господствующему сознанию. Научная, значит, проверенная, цензурованная, респектабельная, санкционированная свыше генеральным арбитром, наукой. Но, с другой стороны, фантастика ведь это нарушение правил, того, что было, бывает или может быть. В итоге, в общей сумме, в противоестественном жанре «научная фантастика» я пока что нахожу униженное, пришибленное и запуганное воображение.

Иное дело — на практике. Вы думаете, почему последнее время в этой псевдонаучной словесности пошла такая мода на космос, на инопланетян разного фасона? Да только ради того, чтобы уйти за сетку земных координат, апробированных и захваченных наукой, и там, на просторе, вволю разгуляться. Первым эту смелую вылазку из крепости сделал, как всем известно, молодой офицер Герберт Уэллс, когда от науки уже не стало житья. Научных пауков находчивый Герберт обернул в марсиан и объявил им войну. В старое доброе время, конечно, он наслал бы на человека вампиров, а во спасение, взамен сомнительного, перед рассветом, дождя из бактерий, покропил бы святой водицей. Да сгинут! Но что нам делать, если в наших домах вместо призраков бродят роботы, вместо драконов повсюду летают аэропланы, а взамен нечистой силы правят бал бывшие секретари обкомов? Мой девиз: не сдаваться!

Я как-то — лет сорок назад — спросил одного ученого мужика из начетчиков, не случалось ли ему когда-нибудь воочию видеть черта. «Эка невидаль! — тот ответил. — Да он у нас в колхозе на собраниях выступает и в президиуме сидит!» И пояснил вразумительно, что имеет на примете не отвлеченную аллегорическую, а вполне телесного беса по фамилии Сидоренко. У того Сидоренки просто на роже написано, что он, прости Господи, черт. Это в древние времена, еще до революции, когда повсеместно в России утверждалась христианская вера, бесы, действительно, боялись показываться на глаза и чаще всего принимали форму кошки, поросенка, змеи, сороки и прочей мерзости. А теперь они так обнаглели, что действуют в открытую. Влезут в человека и преспокойно себе заседают и выступают.

Не считайте меня ретроградом. Я не против науки и согласен ее внедрять в любые области знания. В медицину, в ботанику, в хиромантию и даже в магию. А

уж в колдовстве без науки просто не обойтись! Сам неоднократно использовал последние достижения разума, не говоря уже о подсобках, о новейших аппаратах техники и механики. Бывало, как воткнешь индуктор Блюментроста — смеху не оберешься... Да и научная фантастика в высшем смысле выражает нашу вечную страсть и потребность в сверхъестественном. Но зачем все на свете превращать в науку? Я за чистоту жанров. А что касается сказки, то она за себя постоит и вас когда-нибудь еще поставит на место. Не трогайте сказку, умоляю. Она — моя...

Глава четвертая (продолжение). Кошачий вальс

...Тут взгляд мой невольно упал на освещенный солнцем яркий квадрат паркета. Там, перед высокой телевизионной стойкой, сидели две хорошенькие кошки, всю тараша зеленые глаза на замысловатый экран. По ящику тем временем закончились уже последние известия и передавали в виде отдыха и развлечения какой-то документальный фарс про кошек в нашем хозяйстве, так что я первоначально решил, что кошки на полу просто к нам дезертировали из кинофильма. Бредятина, подумал я. Нервное переутомление. Нет, смотрю, настоящие кошки уставились в телевизор и принимают, так сказать, солнечную ванну. Господи, прошелестело в душе, как все-таки хорошо и правильно, что у нас под боком, в быту, помимо раздражающих политических страстей и сражений, существуют кошки с их фундаментальным, начиная с Египта, стажем. Вспомнил, что и Принц говорил, что в последнее время к нему повадились кошки на огонек, неизвестно как и каким путем проникающие под крышу. Посидят и уберутся, как не было приятельниц, проявляя редкую для этой породы ненавязчивость и самостоятельность. Собственное жилье, в итоге, он прозвал уже «Кошкиным домом». В шутку, по Маршаку или по русской сказке, откуда Маршак, заурядный детский писатель, все это и скатал потешными куплетами, развлекая малых ребят.

Кошка выскочила,
Глаза выпучила...

Принц же мне подсунил вырезку из эмигрантской газеты «Панорама» где-то в Калифорнии. Слегка запахло научной фантастикой, но заметку подклеиваю:

«Любовь средних американцев к собакам и кошкам — общеизвестна. Многие специалисты даже утверждают, что по накалу этой страсти жители США занимают первое место в мире. В чем причина этой страсти? Обычно считалось, что в ее основе лежит гипертрофированное чувство гуманности, свойственное американцам. Но теперь, похоже, найден более правильный ответ. Недавно доктор Брэд Стайгер, один из крупнейших в мире специалистов по поискам разумной жизни в космосе, заявил: «Многие кошки и собаки, живущие в домах американцев, есть не что иное, как гуманоиды». Стайгер говорит, что впервые идея того, что кошки и собаки могут быть инопланетянами, пришла ему в голову около четверти века тому назад. В то время миллионы владельцев кошек и собак не только в США, но и в других странах стали утверждать, что их питомцы странным образом резко повысили свой интеллектуальный уровень: они стали умнее своих родителей (а иногда и своих владельцев). Многие легко понимали (без слов) все, что желали хозяева, и т.д. Стайгер и группа его сотрудников провели опрос нескольких десятков тысяч владельцев собак и кошек. Результаты были обработаны на компьютере. Полученные выводы утверждали: примерно одна пятая часть собак и кошек резко отличается по способностям от своих обычных собратьев. Фактически все они обладают способностью к чтению мыслей хозяев на расстоянии, а также странным образом положительно влияют на их здоровье.

Несколько известных экспертов, например Хейден Хьюз, поддерживают выводы группы Стайгера. Хьюз считает, что в лице кошек и собак мы имеем обширную популяцию инопланетян, которая постепенно увеличивается. «Никто не знает, — говорит Хьюз, — какова истинная цель этого тайного проникновения гуманоидов на нашу планету»».

Опять инопланетяне! Сколько можно все загадки и тайны, которых, уверяю вас, на земле предостаточно, выводить из межпланетных общений? Вот уже и кошки из космоса! Мне случалось в свое время досконально изучать астрологию, но по части

кошек, извините, я геоцентрист. Все-таки это преувеличение, что кошки к нам залетели с Венеры или Сатурна. Невозможно поверить! Безграмотно! Антинаучно!

— Кис-кис-кис! — поманил я незваных гостей. Ноль внимания! Даже не посмотрели в мою сторону и не сказали вкрадчиво «мяу». Вместо ответа кошачья парочка как бы поднялась на несколько сантиметров в воздухе перед телевизионным окном и принялась, что называется, танцевать, оставаясь, однако, в положении на четвереньках. То есть плавно вертеться, помахивая передними лапками, выгибаться, крутить хвостиком, словно обводя полукруг, и строить в экран умильные гримасы.

Тут только я обратил внимание на прелестную, еле слышную, усыпительную мелодию, лившуюся из телевизора, при выключенном предварительно звуке, мне совершенно не знакомую, под которую развязные твари и выделявали свои антраша. Подошел проверить громкость. Там уже шла вовсю футбольная передача, и дикий шквал криков, топота, улюлюканья и пронзительного свиста обрушился на меня.

Обернулся взглянуть на реакцию животных. Но те как сквозь землю провалились. Может быть, их спугнула экзальтированная на экране толпа.

Забегая вперед, отмечу, что с тех пор в «Кошкином доме» гости или хозяйева долго-долго не показывались, хоть я регулярно оставлял для них перед телевизором блюдечко молока из холодильника. Или рассердились за неласковый прием и затаили в душе обиду? Так бывает не с одними животными, но еще распространенней с людьми, делающими из обиды душевительный капитал. Пусть никакой обиды не было, они ее раздувают, им приятно обижаться и растить и лелеять безусловную свою правоту. Притом иногда с самыми добрыми намерениями. Я много натерпелся от придуманных обид и потому стараюсь вести себя крайне обходительно с потенциальными доброжелателями и неизвестно откуда возникающими противниками. Как пузыри от реденького дождя на лужах в солнечную погоду где-нибудь в деревне...

А кошка, помню, сидит на балюстраде у меня в имении под Пензой, еще в крепостное время, и дует на грозу. Синие треугольники в черном небе, оранжевые змеи так и прыгают, и сверкают в ее потусторонних видениях. Пожирает грозу очами и всем намагниченным телом. Гневно вертит и бьет хвостом. И не уходит, чертовка. Насыщается электричеством, и ревностью, и завистью. Гневается, надменная, что не она грозу сотворила.

В ту ночь, между прочим, мое имение кто-то ни с того ни с сего спалил...

Назавтра я поспешил в публичную библиотеку Иностранной литературы. Записался в Историчку. За несколько дней перевернул горы справочников, пособий и монографий на доступных мне языках. «Кошкин дом» Маршака Самуила Яковлевича перечитал два раза. Но ничего на первый случай принципиально нового для себя не нашел. Кошки действительно, по-видимому, впервые завелись в Египте. В одном древнем городе их настолько уважали, что без пощады казнили особо опасных преступников, вольно или невольно оскорбивших кошку. Когтистых мумифицировали. Усатым поклонялись под видом богини Баст, воплощавшей веселье и радость, а на греческо-римско-египетской основе сближавшейся с Артемидой, Дианой, Гекатой, Селеной и богом Ра, имевшими в свою очередь касательство к охоте, солнцу, луне, к лесному и подземному царству, к ночным страхам и призракам. «Кот, мститель богов», — угроза из «Книги мертвых». Понимаете теперь, что значит обидеть кошку и откуда неуклюжие, запоздавшие научные фантазеры позаимствовали гипотезу об их небесном происхождении? Я понуро задумался...

Да и взять наши добрые простонародные загадки и сказки. Сколько тут кошачьего юмора и мечтательности!

Четыре четверки,
две растопырки,
один вертун,
два яхонта.

Яхонты, понятно, — глаза, вертун — хвост, растопырки — усы. Так и видишь эту кошку... Но ведь я, кажется, и не угнетал никогда, и не третировал кошек? Всегда с почтением: Котофей Котофеевич, Василиса Васильевна... Не ударил в жизни ни разу, словно чуял сердцем поверье, о котором прочитал лишь нынче в справочнике: кто побьет кошку, тому не будет удачи ровно семь лет. Век живи, век учись! Не

охотился в Африке ни на львов, ни на тигров, ни на прочих высоких сородичей из привилегированного семейства кошачьих, в отличие от некоторых отечественных писателей, пренебрегших запретом ради заморской экзотики, кто, быть может, за это впоследствии и жизнью поплатился... Как вдруг все у меня внутри упало, похолодело, и я едва не воскликнул, не считаясь с другими посетителями Исторички: — Вертуны! Идиот! Вертуны!..

Запамятовал, прошляпил, маразматик! Кушак с подшитыми позывными и заговорами, доставшимися еще в молодости, по цепочке, от деревенского кудесника, так и оставил у старика. Да кто же мог догадаться тогда, что «вертуны» — это кошки особой межпланетной породы и популяция гуманоидов, а не просто обыкновенные бесы, с которыми и пересекаться зазорно, а не то что вступать в тесный постоянный контакт?! Сельский кудесник из волхвов по своей крестьянской отсталости не разъяснил ничего ни про кошек, ни про собак, а выражался абстрактными загадками в духе баллады о Вещем Олеге: «Так вот где таилась гибель моя! Мне смертью кость угрожала!» Только не конь и не кость, а кошка, до которой я дошел собственным умом, переворошив груды книг. Но поздно. Старик в отъезде. Даже дух его не вызовешь. Дух-то эвон куда запрятался! Сидит во мне безвылазно и смеется сквозь незримые слезы. Как теперь отыскать заклинания и строгие ритуалы для кошек? Поспешишь — людей насмешишь.

Делать нечего. Повесив повинную голову, как в сказке, отправился восвояси, на кошкину жилплощадь, где меня поджидала масса семейного счастья по обустройству наследственной крепости или, правильнее заметить, моей обетованной державы. На языке вертелась фраза вполне актуальная: «Говно наши дела, Ивац-царевич, — сказал серый Волк». Ах, эта любовь народа к меткому крепкому слову, куда от тебя деваться?!

И впрямь, с той поры неуловимо, непреднамеренно изменился мой почерк. Не под влиянием нового телесного покрова на моей бессмертной душе, как я сперва понадеялся по научной своей наивности, а будто изнутри, с какими-то завитками, подвохами, хотя мельче прежнего. Почерк сделался мягче и вкрадчивее или, проще говоря, кошачее. И как примешься вечером заполнять судовой журнал или походный дневник, буквы так и скачут, так и вьются по бумаге, вертя хвостами, дугой выгибая спины, сворачиваясь в упругие кольца и казуистические грифы. А заставишь себя писать аккуратно — усядется посреди сотрапезниц и давай умываться, либо ластится, кривляка, словно горничная Марфуша, желавшая по мановению выйти за барина замуж, и корчит из-под спуда дворовые зооморфные хари: «Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам!» Кыш, проклятая! Брысь! Ату ее, Завывай! Пиль!

Так, усмиряя страсти и дисциплинируя слог, я вызвал из недалекого прошлого, из Пензенской губернии, звонкого моего Завывая. Разумеется, мысленно вызвал, в виде импровизации. Не заводите же борзую, пускай и дрессированную, из чистокровных русских борзых, в стеснительной московской квартире. Испортишь пса. Зайцев он травил артистически, а кошкам не прощал ханжества. А голос — хоть посылай в оперу, за пояс заткнет любое колоратурное сопрано. Я писал тогда в усадебных мемуарах, к сожалению, вскоре сторевших под Пензой: «И мы за версту слышали ангельский, переливчатый голос Завывая...»

С участием Завывая охота пошла веселее, и мы навели порядок в доме. Кошки в его присутствии побаивались пускаться в анархию и располагались чинно по струнке, как бы на высокой стене, в линейку, или на крыше, в клеточку, а если и прыгали куда, то стройными периодами, синусоидами, абзацами, в хвост одна другой, не нарушая пунктуации самостоятельными капризами. Сам же суровый пес снизу исподлобья следил за ними, светлой, шелковистой мастью почти сливаясь с бумагой, и бегал главным образом в белом вольере между строчками, лишь изредка выскальзывая в заемное пространство, что писатели и собачники хозяйственно именуют полями. И то — по моей команде, в погоне за каким-нибудь неточным словом, слишком расшалившимся, нецензурным, одичавшим. Все равно редактор вычеркнет из списка и не допустит глумиться в печати. Без лишнего шума, без тьяканья. И не давил на месте, как зайца, а брал за шкуру и сумрачно относил в корзину. Пускай подрастет малолетка, на людей посмотрит, культуры поднаберется. Может, из котенка с годами чудо-юдо получится. Гусли-самогуды... Но какой у Завывая был когда-то щипец! Узкий щипец с идеальным прикусом на лебединой шее! И какой подрыв! Борзятник Степан в нем души не чаял и расчесывал утром и вечером, будто одалиску. Нет, жаль, большевики извели на Руси дворянство...

И все же необходимо признаться, я был счастливейшим человеком в те золотые часы моего вынужденного затворничества. Первый кошачий шок, когда коварные звери демонстративно повернулись ко мне спиной, миновал, оставив прекрасный шанс погрузиться с головой в тишину и спокойствие мирной, обыденной жизни. Рабочие по ремонту и реконструкции моего хозяйства вколачивали гвозди, строгали доски, варили олифу, мешали цемент и бойко переговаривались не со мною, меценатом, а с собственным инструментом и скобяной подсобкой, которые по-своему, бесцеремонно откликались теми же, в основном, односложными эпитетами, переходящими в чудную звукопись. Так что бывало невнятно, кто кому угрожает концом света и с кем ведет неукротимый диалог. Гвоздь с молотком или стамеска с клеем? Предобрейший, однако ж, и преобходительнейший народ! Видимо, я сам виноват. После промышленной революции утратил язык металлов, диалект вещей, и все это предстояло заново воссоздавать...

Мне помог, как всегда, прораб Игнат Шебракин. Бывало, говорит, покачиваясь:

— Дак мы эту стенку, ваша светлость, гражданин писатель, как для себя клали. Глаз-ватерпас. Судите сами. По циркулю. Держались вашего чертежа. А она, морда трепаная, сама упала! Сама!.. Да вы не тушуйтесь, Валерываныч. К вечеру зашпакуем. Как пить дать. Будьте уверочки. Закон сохранения и превращения энергии. Ставьте бутылку...

Между тем бутылки в моем холодильнике так же неукоснительно таяли, как исчезало бесследно постыдное добро во дворе возле мусорных баков, куда я ночами сплавлял кое-какую ненужную посуду и рухлядь. Помойка словно впитывала княжеские обноски. Едва выдворишь на рассвете предосудительную тумбочку — к утру как слизнуло морским отливом вместе с разрозненными номерами журнала «Вокруг света» и страничками Ната Пинкертон. И ведь не уследишь. Ни единой души, ни тени. О, пугливая бдительность окружающей нас повсюду молчаливой нищеты! Когда бы мне столь же беззвучно пройти по открывшейся жизни! Мерещилось, предметы сами испаряются со двора, растворяясь в предутренней мгле. Лишь ребятишки пускали зайчиков по окнам из разоренного мною зеркального гнезда.

Несколько дней тянулось заколдованное мое одиночество, прерываемое иногда редкими набегами в город для пополнения холодильника да ночными вылазками с отбросами возле печальных баков. Жизнь, как я давно заметил, драгоценна лишь подобного рода вплетенными в нее промежутками истинного покоя и отдыха или вечных начинаний, не имеющих, увы, продолжения. (Недоступное мне детство, наверное, сплошь и рядом состоит из таких свободных полос, перебиваемых, к сожалению, только воркотнею родителей да серебристой грустью, что ты еще не умер и, значит, все впереди.) Сидишь на необитаемом острове, что твой Робинзон, как жить мне прежде редко когда случалось. Вообразите себе неказистый особняк, лишь наполовину освоенный смутными фигурами каких-то серых туземцев. А вокруг город, наподобие океана, чей ровный припев до тебя порою доносится, не задевая, однако, сознания немилосердной суетой. Отсюда, на пушечный выстрел с брига, милый Сивцев Вражек, а подалее, на сотни миль, раскинулась столица, похожая на смятую карту с кое-какой топонимикой, старой и новой, всплывающей в памяти. Я взял лист бумаги и начал издали, с первых попавшихся созерцательных названий. И получилось в итоге вот такое стихотворение в прозе, если читать верлибром. Или в стиле кроки.

Бескудники. Коньково-Деревлево. Новогиреево. Новые Гебриды. Гвинея. Чертаново. Бермуды. Кинотеатр «Ударник». Потылиха. Нескучный сад.

Хамовники. Грузины. Кривоколенный переулочек. Ямайка. Якиманка. Клуб завода «Каучук». Театральный проезд. Проломные ворота.

Солянка. Стромынка. Ордынка. Остоженка. Полянка. Пречистенка. Мытный двор. Лужники.

Хитров рынок (площадь Максима Горького). Андроньев монастырь у заставы Ильича. Шоссе Энтузиастов. Коровий вал. Крымский мост. Улица Алексея Толстого. Сандуновские бани.

Спиридоновка. Трехгорка. Зарядье. Старомонетный переулочек. Малые Каменщики. Большие Каменщики. Камергер-Коллежский. Бутырки. Беговая. Гавриков переулочек. Виндавский вокзал.

Клиническая улица. Колпачный переулочек. Волхонка. Дом лейб-медика Блюментроста на Покровке. Дворец Советов. Всесоюзный бассейн. Спасоналивковский переулочек. Мюр и Мерилиз. Фабрика «Красная Роза».

Воронцово поле. Площадь на Болоте. Большой Петровский театр (спектакль «Четыре сестры»). Орликов переулок. Кисловский. Котлы. Садовники. Домниковка. Божедомка. Лялин переулок.

Зацепа. Самотека. Разгуляй. Теплый Стан.

Не хватало все это перевести когда-нибудь на колдовское наречие. Из недр восстанут проспекты, города. Но я воздержался. Мне было важно понять и объяснить себе, что означает то или иное слово. Из всех поименованных улиц я знал примерно одну треть. А ежели припомнить, я действительно бывал в доме лейб-медика Блюментроста, лечившего императрицу. Чего там только не было!

Возможно, вы спросите меня: а где была тем временем Юлия Сергеевна? Но прежде чем о ней толковать, позвольте мне воспроизвести ее идеальный образ и сразу оповестить, кто она такая.

Согласно летописным источникам, жили четыре сестры в самом конце восемнадцатого века, из оскудевшей, как это бывает иногда, дворянской фамилии. У первой сестры — красивое личико. У второй — роскошные волосы. У третьей — ах, у нее — бесподобный стан. А у четвертой — белоснежная кожа. Вот и выбирайте! Соответственно все четыре, с маминой подачи, даже в театральной ложе располагались на разных уровнях, в различных поворотах и позах. Этаким квартетом. Та, у которой очаровательная мордашка, сидела всегда анфас и беспрестанно улыбалась. Вторая — спиной к сцене, выказывая превосходные волосы. Третья, с исключительным станом, вообще не сидела, а стояла в продолжение спектакля, подчеркивая свою обтекаемую талию. А четвертая прикрывала физиономию ручками, демонстрируя залу восхитительную кожу.

Ну и как вы считаете, кто из четырех граций получил приз? Первой вышла замуж барышня с атласной кожей. Вторая — с распущенными волосами взяла реванш. Третьей лидировала невеста с несравненным станом. А четвертой, с хорошенькой рожницей, ничего не досталось...

Вот почему я предпочитаю мемуары. Они как вышеописанная выставка невест в старинном театре. До сих пор в слове «театр» мне трагически недостает на конце твердого знака. Там каждая фраза, каждая карта норовит представить себя в неотразимом виде. В ракурсе, на котурнах. И притом какая сквозящая тоска в умолчании об изъянах! Сколько игры и прыти в охоте за женихами! Не смотрины, а чистый цирк. Скачка с препятствиями.

Но не такова ли, в принципе, любая надпись, всякая, если приглядеться, буквенная речь? Она авторитарна. На пуантах. На твердом знаке, на подставке. И всегда позирует. Подчас кокетничает. Прикидывается простушкой: я не такая, я вся иная! А сама, между тем, мечтает о супруге. О будущем. Когда ее — кто угодно! — со временем, с пониманием развернет и прочтет. И души их сольются в блаженном поцелуе...

С Игнатом Шебракиным, прорабом, я направил послание на Мерзляковский. Так, мол, и так, дражайшая Юлия Сергеевна. Вы меня не знаете и никогда, быть может, не видели, но доктор Блюментрост вас живописал. Ну и так далее. Великий наставник. Опыты в мировой истории. Буду всегда рад. Препровождаю вам букет левкоев. Привет гортензиям. Пусть эти лепестки. С нарочным. К вашим ногам. Там-то и тогда-то.

Да. На подставке. Говорим-то мы все в одну минуту, так что и невозможно понять, что и как происходит. И совсем по-другому пишем. В переводе на письменный знак все ужасно меняется, и мы вынуждены вести выдуманную жизнь, Алхимия! Впервые открыл. Только что! Смотрите! У меня все золотое... АЛХИМИЯ!

Дорогая Юлинька! Я вас люблю. Будьте моею женою... Возьмите любое письмо, из самых ординарных, или дневниковые строки безо всяких адресов, предназначенные только себе и никому больше, и вы узнаете ту же танталову жажду выпрыгнуть из границ времени, что двигала Хаммурапи с его памятливым обелиском, грезившим о вечности. С кем не бывало? Ты шлешь рескрипт либо строчишь записку с расчетом, что кто-то прочтет. Спустя мгновение или годы слог уже не на тот колленкор. То ли время во все вносит свой философский налет. Или письменность, сама по себе как таковая уже содержит некую аберрацию взгляда. Пишешь одно — читаешь совершенно другое. Для себя, в рабочем порядке, я это называю «эффектом Хаммурапи». И дневник, и прочую дрянь. Не говоря уже об истинных книгах, о мемуарах...

Так вот, Юлинька — помимо своих четырех сторон — волос, лица, стана и кожи, — обладала еще одним качеством — тайной, а тайна вообще изначально принадлежит женщинам. Даже иногда странно, что эти таинственные существа — женщины — обретаются среди нас. Недаром криминалисты в один голос твердят: шерше ля фамм!.. Ничего вы не найдете, не поймете. Почему она прискакала, и мы тут же поженились? Разъяснение пришло на другой день. В «Вечерней Москве» среди сообщений о разводах появилась вот такая серия неожиданных объявлений:

«Ищу контакта с высшим разумом. Приму помощь посредников. Когда-то Он был потерян. Просто так не обращаться. Черным магам просьба не беспокоиться. Шоссе Энтузиастов.

Прошу вернуть и восстановить добрые отношения с мужем, которого я очень люблю. Тамара. Бескудники.

Надеюсь на встречу с проявлением потустороннего разума в любой форме его существования. Верю, что Вы есть...»

Мне припомнилось тогда завывание: «Смилуйся, государыня рыбка!..» Это было под Котласом. Февраль выпал жестокий, и в ожидании, когда откроют ворота, этап окоченел. По радио, в огне фонарей. Это же надо? — Дайте мне одну...»

Глава пятая. В гостях у ведьмы

По дороге в Бескудники Бальзанов так раздухарился, что спрыгнул на стоянке Нижние Лихоборы и следовал до упора пешим ходом, в такт марша, неизвестно каким Макаром завертевшегося в голове. Шел и мычал под родную мелодию, едва припоминая слова.

Смелыми ту-ру ту-руу-ту!
Смелого тра-та ту-род!
Смелого пуля боится!
Смелого штык не берет!

Хромой, инвалидный битл, вышедший, увы, из боевого употребления. Да, умели когда-то и мы быть рысаками. Пара гнедых! Куда все провалилось? И какая вокруг незнакомая, неземная тишина. Какое раздолье! Разве что машина забарахлит на Коровинском шоссе да прикрикнет вдали осипшая электричка...

На той стороне лихие магазины. Чистка одежды «Эдем». Бакалейная лавка «Галант». В обыкновенной «Галантерее» торгуют пуговицами. А тут, извольте бриться, весь из себя иностранный продуктовый «Галант». Гастрономическое продувное заведение «Плутос». Граждане, берегите карманы!..

Или вывеска у «Динамо» — «Гетера»! Что-то античное, но звучит игриво. Будто кружевное белье для фасонистых кокоток. Фифти-фифти. Опять же — «Эльф». Лучше бы — «Зефир». Было бы ближе к истине. Товары-то сплошь заморские. Импортные. По новой моде. Над Тверской без зазрения совести раздуваются «Непревзойденный американский табак» и отечественная водка «Чистый восторг»! Венерический диспансер — «Лолита». Какое-то почти детское обхождение с мочеполовыми расстройствами. Юридическая консультация «Уют» — по судебным делам и налогообложениям. «Квант-сервис». Окэй!

У «Сокола» вроде публичный дом «Казанова» с аншлагом во всю Европу: «Все для интима». «Хльб» — через ять, но без твердого знака. Столовая «Славянская трапеза». Слава Богу, не монастырская. Ресторан «У банкира». Тьфу ты пропасть! Хоть уходи в подполье...

Наконец, яснее — кинотеатр «Комсомолец». Глазам не поверил. Аж сбился с ноги. Комсомола нет, а «Комсомолец» у них все еще на подхвате? Только что иллюминация не сияет. Перестроился на широкий шаг.

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе...

Завечерело, и в Москве похолодало. Или пригород близко. И вот она, точка отсчета: башня-карандаш! В карандаше, на 3-м, обретается ведьма Юличка. Здесь же жилец ее — Супер. А неподалеку, в захлавленной новостройке на курьих нож-

ках, ютятся три драгоценных для Бальзанова существа: сестра Супера — Настя, племянник Андрюша и моторная собака Матильда. Залетный пес.

Бальзанов долго решал, поглядывая на освещенные окна, куда сперва зарулить, к ведьме или к Матильде? И, едва пришвартовался, завернул для разминки поприветствовать Настю, захватил Андрюшу с Матильдой и айда гулять. Матильда наслаждалась и прыгала на него — в благодарность, вероятно, что он ее однажды вытянул из-под колес. Не то что у людей. Не дождешься...

Итак, уже вечерком друзья тренировали собаку. И, увлекшись, забыли, что ночь на подступах. Кое-какие звезды телепались над головой, что редко увидишь в городской застройке. Дышали полной грудью. Орала, не таясь прохожих: — Ложись! И Матильда ложилась. — Ползи сюда! И ползла, сучонка. Жутко послушная. Вы представляете, чтобы собака все понимала и исполняла мгновенно. Да еще на дальней дистанции. На галантинах! Танцует! Фартовый иноходец!

Учение проходило на строительном полигоне. Что-то вроде бесхозного, загвазданного пустыря. Свалка. Арматура. Отсчитав триста метров во мраке, они командовали «ляг», «замри», потом «сядь», «стой», а затем уже: «ползи сюда!» И вдруг — Бальзанов даже ахнул — вместо Матильды из-за мусора, из-за кучи дерьма, вся в пыли, выскочила исцарапанная Юлия Сергеевна. И тут же на дыбки, воздев ухваты:

— Грабители, бандиты! Только троньте! Ничего не обломится. Я заговоры знаю...

Тут Бальзанов очухался и осознал, что перед ним сама Ведьма.

Это было совершенно сверхъестественное и весьма колоритное зрелище: платье в цветах и птицах, вся в битом кирпиче, шары вот такие, волосы всклокочены, руки в гору, а сама, тем не менее, плюется и ругается, блядь.

— Это вы, — вы! — гангстеры?! Но я не дамся!..

— Успокойтесь, девушка. Отдышитесь. Опустите грабли, гражданка. Никто от вас ничего не требует. Придите в себя! Будьте человеком!

А сам между тем думает, шевелит рогами: откуда и почему вы тут взялись, мадам? Какому лешему вы нужны? Посмотри на свою фигуру, на свои тощие руки, мадам, на страшные, дрожащие, окольцованные пальцы. На бесстыдные узлы и мослы. Что делает с женщинами злокозненное время...

Но примчалась Матильда и давай скакать и лизаться! Пока Бальзанов наконец врубился, что Юлия Сергеевна с перепугу приняла всю их троицу за банду хулиганов, — прошло-таки известное время. Хорошо, Андрей подсказал:

— Она же следила за нами, дядя Донат! С самого начала. За камнями, на расстоянии.

Все равно вопрос повис в воздухе. Кто ее надоумил, курву? Откуда узнала? Нет ответа!

— Она все знает, — прошептал Андрюша. — Она же — ведьма. Мама ее боится...

«Еще не легче, — подумал Бальзанов. — Сплошной Кошкин дом!» А Юлия, как вольтанутая, заголосила из оперы «Евгений Онегин»:

— В вашем до-оме, в вашем до-оме...

И давай охорашиваться.

— И с чего вы взяли, что на вас нападают?

— Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут...

Чтобы прекратить скандал и найти общий язык, Бальзанов в ответ тоже заблеял древним гимном: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...»

Целый дуэт, но никакого впечатления. Все-таки, мелькнуло Бальзанову в уме, до чего перепуганы люди: скажешь им «стой» — стоят! Экая застарелая покорность. Она отозвалась стихами:

— Тебе покорной? Ты сошел с ума!

Покорна я одной Господней воле...

...Она уже не пела, а декламировала. Есть женщины в русских селеньях, у которых на устах при любом вираже обстоятельств наготове цитата. Скажешь такой: «Не мелите вздор, дорогая, это же просто смешно!» А в ответ обязательно: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Полная антология, хоть ползай с утра до вечера по Литературной энциклопедии. И тут Бальзанов велел ей катиться домой и привести себя в надлежащий образ. Сам-де, как все наладит, заявится в гости, и она тогда ему и расскажет. Правда, о чем ей рассказывать, Бальзанов и сам толком еще не знал. Расскажет — и все! Как положено!

— Расскажите вы ей, цветы-ы мои-и...

Но Бальзанов больше не разевал варезку на ее фиоритуры и мигом распорядился всей честной компанией. Собачий спорт отложить. Андрею скоренько валиться в постель, а Матильде повиноваться ему как бальзановскому заместителю. Матильда, растопырив передние лапы, ускоренно дышала и, свесив длинный язык, нервно позевывала. А Бальзанов поплелся за хозяйкой, сумевшей в минуту перевернуть все его планы и замыслы.

Конечно, матюкнулся в душе Бальзанов, противник перехватил инициативу. Скомандовала, как барыня, поставить чайник, пока она полоскается, и накрывать на стол в кухне. Добыть тарелки из шкапа, ревизовать холодильник. Но дверь в ванную за собой не прикрыла, шалава, продолжая демонстративно перекрикиваться и препираться через всю квартиру. И как ее Супер выдерживает?! Едва пробурчал Бальзанов, что за шумом воды все равно ни хрена не слышно, она затянула что-то арестантское: «Не слышно шума городско-ова, над не-вской башней тишина-а...» Голос, правда, у нее был отменный и репертуар богатый. Уж не пытается ли бикса заманить его в свой кафельный грот? Вот влипчивая баба! Разумеется, он рожей не кабальеро, но «капитан, капитан, подтянитесь!..»

А ведьма тут как тут, на пороге, и вторит из Гумилева: «Быстрокрылых ведут капитаны, открыватели новых земель...»

Что она, мысли читает? Поразительно! В пеньюаре, стянута в талии, словно изящный бокал, полный благоуханий, оставляя без внимания высохшую грудь и стройные, мускулистые ноги бывшей физкультурницы. Но, Господи, что она умудрилась тем же моментом состряпать со своей вывеской! Очи, обведенные кобальтом, суриком и ляпис-лазурью, метали искры. Вероятно, аквамарин, или как это у них называется? — атропин, чтобы бросать из-под глыб длинные, лучезарные взгляды. На белесых щеках пунцовая запеканка. Замаранные кармином уста струили по кухне улыбки, готовые отвалиться и ляпнуться на пол. Форменный фантом!

Между тем, если ободрать штукатурку и отпарить от сморщенной кожи глицериновую подкладку, бабонька и впрямь была некогда весьма вероятной. Дама с вымыслом! Бальзанову припомнилась дневниковая запись давнего ее обожателя, что, мол, очертания юной гурии не позволяют ему спокойно предаваться эстетике и сквозят по всему вечернему интерьеру, растворяясь и плавая в голубом воздухе комнат. Этакая ахиня молодящегося бонвивана! Когда-то сплошная душа, теперь Юлия Сергеевна буквально на глазах у Бальзанова обросла плотоядной плотью, вязкой и вульгарной, как тавот из тюбика. Не личико, а палитра. Бальзанов опасно отодвинулся.

— Не бойтесь — я вас не съем! — встрепенулась красotka и похлопала успокоительно по бальзановской коленке. Крючковатая лапа в перстнях давала, однако, понять, что ей ничего не стоило бы проглотить его с потрохами, подобно болотной трясине, подернутой цветастой ряской, лишь ступи нечаянно на земляничную лужайку.

— Что ж мы как сосватанные? Наливайте чай. Себе — покрепче. Мне — сикунец. Не то глаз не сомкну до авроры. Угощайтесь сами, чем Бог послал. Действуйте по-военному. Здесь — печенье. Там — колбаса. Шпроты. Голова не болит? Тогда коньяк. Специально для вас. Из Австрии...

И Бальзанов, видит Бог, не стал церемониться. Умял до авроры все, чем Бог наградил эту бабу-ягу. На австрийском коньяке, правда, едва не брякнул признанием: «Извините, я вообще не употребляю!» Но вовремя спохватился: ее двусмысленная связь с колдуном была очевидна. Да и со всем этим странным домом. Недаром она спросила небрежно, невзначай, не болит ли голова, что для людей понимающих означает приглашение клюкнуть. Небось держит его за последнюю пьянь. Эх, была не была, необходимо поддержать репутацию! И он — принял... И еще раз принял, скрепя сердце, за ее здоровье. Ради первой встречи с такой очаровательной дамой...

Стихов она больше не читала и романсов, слава Богу, куда не пела. Рассуждала про сыр, шпроты и другие пустяки, как заурядная вдова. Бальзанов не очень-то вслушивался и спешил навернуть. Все-таки неделю в траншеях — соси лапу, начальник! Лишь мысленно фиксировал не совсем, так сказать, адекватные для ее пола и возраста выражения. Вдова вздыхала, что раньше — в старые времена — «сказкой» именовался торт, а теперь почему-то печенье. Но какая же это сказка? Это не сказка, а — извините за выражение — говно. Этакая непосредственность! Тем более режущая слух, что произносится как бы непреднамеренно. Что это, кокет-

ство? Или дерзость? Или приказывает достать сахарницу с полки, пока она, видите ли, посидит на своей жопе. А на чем еще люди сидят? Зачем же так манерно выражаться? Того и гляди пустит задорным матерком...

Бальзанов внутренне содрогался от ее избыточного, нарочитого бесстыдства, к какому иногда прибегают эмансипированные дамы. Однако и бровью не повел. Учитель умел слушать не перебивая. Пускай кривляется, сколько влезет. Он ей не судья. Не прокурор. Он только скромный психолог.

Нет, в нашем повествовании нет никаких намеков, что Юлия Сергеевна была слаба на передок. Просто нервная система, наверное, у нее порядочно расшатана. И потому она грубила в несвойственном ей регистре, как это почти никогда не позволяют себе делать мужики, сплевывающие вульгарные слова, не задумываясь, не входя в содержание, механически, будто привычную мужскую повинность, или, в ярости, как намеренное оскорбление, дальше которого ехать некуда. Короче, ее манеры были ни на что не похожи. Какая-то тошнотворная смесь изысканности с вульгарностью.

Упомянула кстати, что поет по праздникам в церковном хоре. И это опять-таки не вязалось с беспардонной лексикой. Но выказывать свою вокалическую близость к священной литургии все-таки не рискнула, и Бальзанов почувствовал душевное облегчение, когда она перескочила на ботанику. Ботанический сад вызывал у Юлии с отрочества обожание. Просторная кухня, где они с Бальзановым заседали, действительно утопала в цветах, и хозяйка их любовно комментировала, сверкая в области флоры уникальными познаниями. Помимо тысячи других скрытых пружин, цветы, заметил Бальзанов, привлекали ее как древний источник бесконечных суеверий. Некий сорт лилии, утверждала Юлия Сергеевна, расцвел на развалинах замка, посаженный туда ни больше, ни меньше как духом какого-то неправдоподобного покойника. Кажется, негодяй сгубил собственную жену, но потом раскаялся, и за это у него на могиле вырос прелестный цветок в знак загробного отпущения грешнику его старых злодеяний...

— А ваш покойный супруг тоже уважал цветы? — перебил Бальзанов, желая поскорее выбраться из зарослей рододендронов, цикламенов и азалий, кивавших на него со всех сторон ее вместительной кухни.

— Почему покойный? — мягко возразила она, нисколько не тушуясь. — И вы, и я, и многие другие прекрасно знают, что он живой...

И тут же взорвалась, курица, обернувшись злобредным, отъявленным петухом:

— Какая я вдова?! Ты — сам вдовец! Твоя ненаглядная Оля давным-давно сгнила на Ваганькове!..

Откуда опять-таки знает? И давай задираться... Пропуская мимо ушей ее похабель, Бальзанов ушел в себя и погрузился в лирическое отступление. Ему и прежде случалось иметь дело с вдовами. Иная вдовица прошмыгнет, как мышка, поскольку в супругах не числится. Помер родимый и все — вдове здесь ловить нечего, кроме как отслужить в крайнем случае панихидку. А другая после мужа — расфуфыренный индюк. Все повторяет, горячась, встречным и поперечным: «Я — вдова! Я — вдова!» Как если бы со вдовством у нее богатства прибавилось. Бальзанов вспомнил одну вдовушку, пережившую трех муженьков. Павлин-баба. Выступает по-генеральски, будто у нее за спиной три ордена Боевого Красного Знамени...

Но в том-то и загвоздка, что Юлия Сергеевна не примыкала ни к одной из этих разновидностей. Она вдовела своеобразно, не мирясь с утратой, чем и вызывала у собеседника острое чувство раздвоенности и опасений, что ее хозяин живехонек. Таких когда-то в России называли соломенными вдовами, но какая же она соломенная, если муж ее не оставил, не бросил, не пропал без вести на войне, а, кажется, вполне законно скончался. Правда, при довольно туманных и скользких обстоятельствах...

А про Олю что сказать? Об Оле, господа, мы лучше помолчим...

Но каков темперамент! Какова отвага! На косвенный вопрос Юличка атакует. Ушлая гадючка! На равных?! Каждый знает о другом много больше, чем другой догадывается. Но не подает вида. И носит, словно вор, нож или пистолет за пазухой, — в душе то есть, — и ходит вокруг да около витиеватыми восьмерками, выматривая, как вернее ударить.

— Да я ведь, Юлия Сергеевна, ни на чем не настаиваю. Я только вспомнил о бывшем вашем супруге, который, говорят, жил когда-то в Москве под фамилией Иноземцев, а затем исчез. Куда он подевался?

Не мог же Бальзанов прямо сказать, что муж ее давно находится в его личном розыске. «Хоть из-под земли, — думал Бальзанов, — а добуду злодея. Но что по-

делаешь с бабой, которая, не слезая со стула своей многозначительной задницей, вопреки всему продолжает любить и почитать супруга?»

— Иноземцев? — переспросила она, будто впервые слышит. — Какая странная, однако ж, необязательная фамилия... Иноземцев... Точно его и нет. Вчера здесь болтался, а нынче и след простыл...

Она засмеялась деланным смехом, плетя свою паутину и откровенно любуясь собой.

— Станет прозрачнее, когда я вам погадаю. Все-таки, Донат Егорыч, вы сыщик-любитель, а я настоящая киевская ведьма. Карты нам все доложат. Карты подобны цветам и птицам: они знают больше нас...

Не успел моргнуть, как у нее из рукава выпорхнул выводок красноперых цветухов и замысловатым пасьянсом расположился на скатерти. Ловкость пальцев словно у фокусника! Либо у завязтого щипача-карманника. Карты так и мелькали.

— Снимите святцы!.. — и снова тасовать-тасовать... — Вы будете, я полагаю, бубновым валетом, а мой благоверный — как всегда — трефовый король! Согласны? Я вам правду открою...

Валет так валет. Плевать. Ведь это лишь по-французски валет — слуга. А поблатному валет — солдат. Мрачный это был сеанс. В гаданиях Бальзанов разбирался слабо, не лучше, чем в ботанике, и не видел смысла в сомнительной ворожке. Правда, он знал чуток те ловкие трюки, которыми аферисты наказывают фраеров. Нынче азартные игры достигли таких степеней, что впору пушки выставлять на борьбу с коррупцией. Раньше, случалось, гусары проигрывали друг другу цыганок. А на днях, сообщила газета, одна буржуазная партия, в предчувствии благих перемен, продула в карты другой буржуазной партии собственную типографию и чужой химзавод оборонного значения. И обе партии, между прочим, — демократические. Не какие-нибудь коммунисты. Обе — за родину и обе — горой за технологический и научный прогресс. Судебное разбирательство кончилось, как обычно, перестрелкой в суде. И вот что удивительно — всего восемь трупов...

Сперва гадалщица посулила Бальзанову долгие хлопоты, увлекательный разговор и мелкие неприятности. В принципе, из таких подробностей на картах можно сложить любую биографию, будь ты хоть на Москве царем, хоть подмосковным гопником, а звучит марьяжно. Потом — известие из казенного дома. Тут она усмехнулась. Большие деньги и дальняя дорога...

— Может быть, еще в Америку поедете, — пообещала ведьма. — Вы собираетесь в Америку? Или во Францию?

Бальзанов досадливо отмахнулся. Ей-Богу, не собирался он забивать себе голову ее дурацкими предсказаниями. И не только по старой атеистической закваске, лучше отвечающей элементарному здравому смыслу, чем все эти чудеса в решетке. Просто, что стоило ведьме пометить колоду задолго до начала гаданий и с помощью перекидки, шулерским приемом «скользок» или как-нибудь иначе крутить теперь мельницу и перепуливать карты, как хочет. Он же для нее не компаньон, а конкурент и притом опасный, безжалостный к ее бывшему кавалеру. Чего ради ей для него рассыпаться? Обманет! Как пить дать, передергивает и притыривает украдкой молитвенник. По лицу видно.

— Вижу по лицу, — подхватила ведьма, — вы мне не верите. И напрасно. Я по-честному вам гадаю. Вон впереди у вас — приятный гость. Червовая восьмерка — удовольствие. Семерка — веселье. И — большие надежды в Америке...

— Но куда вы подевали ссору и потерю друга? Почему утаили картину его преждевременной гибели?

Тоже, мол, не лыком шит. Кумекаю в вашей басурманской арифметике. И перешел в наступление:

— А что трефовый король?

Она явно смешалась. Карты, клялась, ничего не говорят о трефовом короле. Как в воду канул. Вертится где-то поблизости, а в руки не дается. Как будто в то же самое время короля и нет на земле. Ан есть! Но нету и между покойниками. Ведьма вместо дела строила загадки.

— Неужто вы думаете, что я о нем и на него — все эти годы — тысячи раз не гадала?! И не только на картах!..

Это было сказано с таким тихим отчаянием, что Бальзанов понял: не врет. У него язык не повернулся спросить, а что же вообще показывают те или иные королевские маневры. Ясно, она его искала во времени и пространстве настойчивее любых, самых дотошных и влиятельных разведок. И ничего не нашла.

Да когда бы и обрела хоть пустые координаты, какой ей, скажите, прок торопиться о них извещать? Наивно ловить преступника с помощью, быть может, старой его соучастницы. Вдобавок его потерявшей и не устающей украдкой непритворно вздыхать. Подобный наводчик способен лишь замести следы, если бы таковые у меня лежали в портфеле. Лучше брать в союзники свежий ночной воздух, долетающий к нам в распахнутое окно. И все-таки...

— Может быть, Валерий здесь находится и слушает мою болтовню, — промолвила вдруг Юлия Сергеевна, как-то странно зыркнув ресницами в полутемный угол кухни.

Там никого не было. Бальзанову сделалось не по себе. Безумие? Он не был суеверен и не слишком трусил, хотя вообразить себе мокрятника, который следит неотступно за вами, — малопродуктивная, согласитесь, фантазия. В том-то и беда, подумал Бальзанов, что сердце бывшей красавицы забито иллюзиями, надеждами, мечтаньями о возвратившемся короле. Призраки прошлого имели способность по временам у нее оживать и даже присылать ей что-то, как рассказывал Супер, из разных точек и регионов России, чем еще сильнее баламутили ее неустойчивый разум.

Нет, она не была ненормальной в буквальном значении слова и соответствовала менее резкому душевному отклонению, какое простой народ тоньше понимает, говоря о ком-нибудь «сдвинутый», «поехавший», «с приветом» либо, на худой конец, более веско — «чокнутый». Пускаясь в эти нюансы, Бальзанов лишь соглашался с авторитетным мнением, что нет непроходимой границы между полноценным сознанием и слабыми видами умственного расстройств. Да и взять любого из нас — кто не тешил себя какой-нибудь нелепой затеей, не набрасывал в памяти десятки вариаций пути, который уже прошел, и не повернуть по-другому, а вот, поди ж ты, умствуешь, тоскуешь, злишься, порываешься бежать, машешь кулаками, как будто в жизни открылась совсем иная стезя? За мыслями не угнаться, когда они бешено скачут, а кровь кипит, и кто-то из-за угла подначивает нас и покатывается над нами. По-видимому, уморительна пляска святого Витта, разыгранная почти исключительно в обыкновенной голове. Сколько раз Бальзанов и сам ловил себя на похожем мандраже и усилием воли решительно пресекал бардак! А ведь человека нормальнее и рассудительнее его трудно себе представить...

Тем временем на ведьму нашла очередная волна мечтательности и поздних сожалений, и, уставившись в пустое окно, за которым и не снился восход, она шелестела запекшимися губами: ряженный, суженый приди ко мне ужинать...

Не было ни свечи, ни зеркала, ни снега. Да и Юлия Сергеевна давно уже не барышня. А все мечется умом и хлопочет об исчезнувшем женихе...

Внезапно, не выходя из транса, она затараторила, что золото и железо режет, а водиться с палачами — не торговать калачами. И тут она спросила достаточно прозаически, отвечает ли его мизерная пенсия той неумной энергии, с которой он взялся за расследование тайны. Да, вы угадали! Она предлагала взятку.

Сонм идей и предложений пронесся в ту же секунду в голове Бальзанова. Ему, наверное, понадобилось бы несколько часов, чтобы разложить по полочкам все эти сделки, взвесить все «про» и «контра», а затем уже воздержаться от лестного предложения. Но вслух он потребовал лишь две минуты на размышление и пятую, последнюю рюмку австрийского коньяка.

— Да пейте вы, сколько душа просит, — обрадовалась Юлия Сергеевна. — Будьте, наконец, человеком! Расслабьтесь! Коньяк перед вами!..

Первое — ей не терпелось, чтобы он нализался. А тем временем она, не вылезая из кресел своей широкошумной дубравой, станет его соблазнять: «Расслабьтесь! Коньяк перед вами!» Расслабленным субъектом удобнее управлять. Манипулировать — путем внушения — и так и сяк.

Второе. Предлагая его перекупить и направить на иную тропу, ведьма явно преувеличивала свои финансовые возможности и, значит, до сих пор поддерживает незримый мезальянс с колдуном...

— Нет! — засмеялась ведьма. — Дорогой Донат Егорыч — ау! — вы ничего не поняли. Я вам предлагала не взятку, а неисчислимы возможности по раскрытию преступлений. Да вы никак изволите почивать?

Да, он уже спал, положив локти на стол. И продолжал во сне горячо спорить.

— Где гарантия, — спросил он из последних сил, — что ваша организация лучше многих других? А преступностью нынче весь мир опутан. Возьмите нашу родину. Мы уже сами не знаем, где преступники, а где полиция. Но если и вольный

сыщик начнет потакать грабежам и стоять у воров на стреме, то настанет конец света...

Ведьма взяла цветок и мелодично им позвонила. Какой-то Фрейд, подумал Бальзанов и очнулся. Юлия Сергеевна помешивала сахар и, должно быть, звякнула ложечкой. За окном едва побледнело. Вот и ночь прошла...

— И еще ничего не сделано для бессмертия, — подхватила ведьма, — можете ничего не объяснять.

Она бесцеремонно зевнула, ознаменовав откровенно конец аудиенции, и Бальзанов вежливо поклонился. Они оба на сегодня ничего не добились, но остались друг другом довольны. Пускай десятки неразрешимых вопросов тяготили его встревоженную совесть, Бальзанов выбрал из них лишь один, самый невинный, перед тем как отправиться на половину Супера спать.

— Желаю вам приятных снов, Юлия Сергеевна. Ваш супруг в молодости случайно не сидел в лагере?

Она улыбнулась настолько широко и естественно, как если бы своим охотничьим интересом он доставил ей удовольствие. А может, ожидала более каверзного захода и прямо-таки обрадовалась легкости его вопрошания.

— Случайно не сидел. И не случайно тоже. Ни он, ни я. Мы оба, когда познакомились, были так преступно молоды, что не хотели тратить попусту золотое время. Не хватало только сидеть несколько лет в лагере! Можете проверить по своим документам...

Она вынула помаду и еще раз, у него на виду, демонстративно, подмазала губы своим ультрамарином. И он подумал: зачем женщины красятся? Не потому ли, что обманывают и мечтают выиграть партию?

— Впрочем, я знаю, почему вы спрашиваете. Из-за моего языка. Вы же буквально подскакивали на стуле, услышав крепкое словцо из нежных уст. Ну а язык, дорогой Донат Егорович, к делу не подошьешь. А я вас немного, признаюсь, поддразнивала. Ради собственной фантазии. Мой муж, кстати, тоже большой фантазер. Но это, к счастью, не криминальный факт. Не правда ли? Чего же нам ждать от писателей? Вот я вам покажу образцы его сочинений, которые у меня сохранились, и вы будете очень смеяться. Настолько никуда не лезет. Ни в какой протокол. Но, чур-чур, завтра же мне вернете. Под ваше честное слово. Вот как я вам доверяю. В отличие от вашей разведки, сумасшедший...

Ведьма прошлепала в комнаты и вручила Бальзанову ветхие машинописные странички с пометами синими чернилами. Попросила не греметь поутру. Запасной ключ — на гвоздике, если вздумает прогуляться.

— Супер, душечка, изготовил ключик. А то я немножко мимоза и сплю пунктиром, — не удержалась она покуражиться напоследок тоном капризной девочки. — Все зависит от погоды и душевного состояния. Но дверь к себе можете не запирасть. Только не поднимайте пальбу споросонья. Я так перетрусилась, когда вы, как безумный, начали кричать на собаку. Мы не были друг другу представлены, а вы походили, сударь, уж не обижайтесь, на горластого Полифема. Что-то я с вами нынче разоткровенничалась. К чему бы это? Не иначе, как к дождю. А питух из вас никакой. Зря вы притворялись, кривушкин.

И, хохотнув, испарилась. Дверь к себе Бальзанов все-таки запер на два крутых поворота. Мало ли какая моча бросится ей в голову? И тут же до него докатился из глубины квартиры, как-то особенно гулко, — отголосок литургии. Нет, слова были другими. Она пела то ли на кухне, то ли у себя в спальне.

Пользуясь моментом, Бальзанов стал под шумок щелкать фотоаппаратом. Не читая. Только щелкая вспышкой. На всякий пожарный случай. Пускай завывает, Цирцея! «Ми-иль-енький ты мой! — выводила ведьма рулады. — Возьми меня с соб-о-ой!» И получалось так, что она от него никогда не отстанет. Хоть на краю света, его дом — где угодно — это ее дом. В любой подворотне.

— Щелк! Щелк! Щелк! — ему казалось, он не фотографирует, а отстреливается от злодейки. До чего же прилипчива ведьма! Мнилось, она не поет, а бесконечно удерживает и привораживает жениха. Не хотелось бы Бальзанову быть на его месте. И он размышлял о том, как преданно и самозабвенно, в сущности, умеют любить женщины. В любом возрасте. И все безуспешно. Меняются страны, города, состояния, остается только бессмысленный, удрученный, повсеместный вой... В ту ночь ему ничего не снилось.

Глава шестая. Тень надежды

Надеждой Бальзанов называл Настю. Пускай по имени никакая она не Надежда, а полностью — Анастасия Петровна. Лишь недавно докатилось по случаю именин — от ее младшего брата, Саши Супермена, — что Анастасия, поздравьте, погречески означает то ли Воскресшая, то ли Воскресение. И в самом деле: рядом с ней сбрасываешь бремя усталости — и начинай сначала. Есть в ней скрытая тишина и спокойствие, хотя в сильные натуры ее не запишешь. Да и сил в ней больших или большого ума, уверяю вас, не найдете. Настя скорее болезненна, хотя суеверно скрывает недуг, и сколько Супер ни бился, не идет к врачам. Или, может, стесняется своей непонятной слабости, что заставляет ее часами валяться с книжкой, в полусонной депрессии, которая, однако, быстро сменяется приливом бурной работоспособности. От Насти Бальзанов привык подзаряжаться динамикой и потому, возможно, сопрягал Настю с надеждой и, уже собираясь к ним, чувствовал себя преотлично. Да и ловчить, выбирать слова с нею не надо. Сама же Настя говорила временами с запинкою. Настя — в крапинку, как ее платье в горошек...

Под утро прошел проливной дождь и трава ожила. Зачирикали, утоляя жажду, птички. Когда жить интересно, то и спишь меньше, и раньше просыпаешься. Куда подевались вчерашние досада и утомление? Так что Бальзанов выскользнул из квартиры, не потревожив чуткую Юличку, часов в восемь, не спеша сделал гимнастику на давешнем пустыре, полюбовался зеленой природой и заскочил в продмаг за кефиром и квасом для Андрюши с Настей. С кем-то перемолвился, с другим сцепился по экономическим вопросам у газетного киоска. Хоть иди в штыки. Словом, через час с небольшим скидывал уже ботинки перед заветной дверью.

Он знал, конечно, что Настя верующая. Однако не назойливая. Не лезет в чужую душу с хоругвями наперевес. А тут, слышно, тихонечко, но молится. Значит, никого в доме.

Послал нас Господь Бог
На трудную землю,
Велел нам Господь Бог
Правдою жити.

На звонок заголосила было Матильда и тут же осеклась, унюхав родную душу: Настя тоже засовестилась, что он будто за ней подсматривал, но с обычным радушием протянула руки:

— Отдавай ботинки, следопыт! Так и быть, оботру. Зря ты разувался: полы-то несвежие. Батюшки, да ты никак нам всю палатку скупил! А сам что будешь жевать на боевом посту? Давай-ка я тебе яичницу зажарю. С гренками! Дай дорогу!

И все сразу стало на свои места. Матильда свернулась под стулом. Башмаки из-под крана сохли на газетке. Андрюша с утра поскакал к приятелю на Арбат менять марки. Эту страстишку Супер исподволь у него подогревал, заодно с английским. Аквариум, океан, география, филателия. А Настя колдовала у окна за обрезным прессом, подравнивая размохрившиеся страницы или нарезая плотные листы для форзаца. Уютно пахло кожей и клейстером. С Настей можно было подолгу, не скучая, глубоко молчать. Она ни о чем не спрашивала, не встревала. Но откликалась созвучно, порой не соглашаясь и горячо споря с тобою. И главное — нашла кого защищать! Ведьму! Которую сама избегала и, говорят, побаивалась.

— Ну, это у нее просто присказки такие... Да ты же сам матюкаешься в сердцах... Ничего она не бросается на мужиков... Сашка преувеличивает... Просто она по мужу тоскует... Да, весьма представительный... Сейчас не знаю, а лет тридцать назад был, как — ну как его? Вылетела фамилия! Память у меня дырявая! Во Франции или в Австрии... ну, при Екатерине Великой... наш Валерий Густавович его часто поминал... Почему молчала? Ты не спрашивал, вот и молчала... А зачем рассказывать?... Память, говорю, у меня дырявая...

Так, через пень колоду, мало-помалу Бальзанов узнал много подробностей про Иноземцева. Ниже они приводятся частично в более отшлифованной форме, нежели, заикаясь и спотыкаясь, поведала Настя. Всех ее междометий все равно не перечить. Не мастер она излагать последовательно. Логика подкачала. Психологии никакой. Казуальные связи хромают. Да и что вы хотите от религиозно настроенной, поврежденной, по слухам, женщины, которую богомольные старцы-агитаторы

напичкали черт те чем? А иные детали требовалось из нее вытягивать чуть ли не клещами. Упрется, как верблюд, и безмолвствует. Или не желала дурно отзываться о лицах, прямо скажем, малоприятных?

Выяснилось, например, что Валерий Густавович Иноземцев не жаловал зеркала. — Почему? — Значит, был очень скромным, — отвечает, — не хотел на себя любоваться. Ведь он не девочка, чтобы вертеться перед зеркалом. А чего, в самом деле, в зеркало без конца смотреться?

А между тем согласна, что Иноземцев был элегантен и обаятелен. — Был страшно красив, — буквально сказала Настя, — как второй Сен-Жермен. — А почему страшно? — А потому, — смеется, — что слишком красивые мужчины мне не нравятся.

Образованный, несколько языков, громадная библиотека, и мог бы в другую погоду при другом нраве быть душою общества. Но почему-то нелюдим, и друзей у него не было, за бабами не гонялся. Только одна Юлия Сергеевна, в которой души не чаял.

— Постой-постой, однолюб-нелюдим. А ты не в курсе, жив он еще или, прости за выражение, копыта откинул?

— Откуда мне знать? Мы не были друзьями. А теперь и подавно. С Юлией Сергеевной мы почти не общаемся. Бог ей судья.

Тут необходимо остановиться. Настя была знакома с семьею Иноземцева не очень долго, к тому же давно. Ходила в дом на улице Воровского, брала реставрировать кое-какие книги и попутно обшивала хозяйку в качестве первостатейной портнихи. Неплохо зарабатывала, пока все у них почему-то не разладилось. Бальзанов решил брать быка за рога:

— А тебе случаем не приходило в голову, Настенька, что Иноземцев — колдун?

— Бог знает, что вы мелете! — она так растерялась, что перешла с ним на «вы». — Помилуй Бог! — испуганно перекрестилась. — Зачем же напраслину возводить, Донат Егорович?!

Редкое свойство! Она никогда не лгала. Правда, упряма, как дьявол. Тем более если что-то замалчивает.

— И ты совсем не боялась Иноземцева?

— Чего же бояться, если он сам меня боялся?

Настя зашлась младенческим, неудержимым смехом, а лицо ее, несмотря на возраст, будто недавно проснулось. На такие лица хочется подуть, как дуют в детстве на молоко в блюдечке, чтобы согнать пенку.

— Тебя боялся? Сам Валерий Густавович Иноземцев — тебя?! Почему? Ты-то чем могла его обидеть?

— А я ему нечаянно всю механику испортила. Честное слово, не нарочно. Да ты сто раз про это слышал...

Бальзанов действительно что-то такое слышал от Супера, только не связывал историю непосредственно с Иноземцевым. Возводил поклеп на контору, где Настя служила секретаршей в молодости и откуда потом с грохотом уволилась и больше на подобную каторгу ни ногой. Так вот, оказалось, почти то же самое вышло у нее в доме Иноземцева, после чего и пошли у них нелады.

В один прекрасный день при появлении Насти электрические лампочки в доме (и на службе тоже!), обыкновенные стосвечевки, ну не выше двухсот ватт, ни с того ни с сего стали регулярно лопаться. Иной раз буквально взрываться от перенапряжения, разбрызгивая стеклянную крошку. Следом закуролесили и прочие приборы. Порою весьма хитрые механизмы, на вес золота, из-за границы. Причем в других квартирах ни раньше, ни позже такие злые кунштюки с Настей не приключались. Все же она предпочла перейти в надомницы, чтобы ни от кого не зависеть, и неплохо приспособилась.

— А Иноземцев тебя не обижал? Ну ненароком когда-нибудь. Неосторожным словом, — забросил Бальзанов робко крючок.

— Да когда он кого обижал? Деликатнейший человек. Культурный. Обходимый. Грубого слова никогда не скажет. Это я его обижала!

— Чем же, Настенька?

— Какой ты непонятливый! Да говорят тебе, всю аппаратуру вывела из строя. Тончайшую! Сколько чужих денег извела! Значит, плохо о нем подумала. Мало ли какая ерунда пронесется в дурной голове? Но зла я ему никогда не желала. И не желаю сейчас, коли он живой...

Она заплакала. Лицо сморщилось в некрасивый кулачок. Да Настя и вообще не была красоткой. Тут и возраст и масса переживаний...

Чтобы ее не расстраивать, вернулись к зеркалам. Тут-то Бальзанов из рассказов Насти и выяснил, что Колдун, при всей своей начитанности и учености, был суеверен и мнителен до крайности. Так, ни разу не пересекаясь воочию и не ведая, где он скрывается, Бальзанов нашел в нем уязвимую точку. Это было открытием! Он настолько чурался зеркал, что взял за обычай в Кошкином доме завешивать их простынями, к большому неудовольствию Юлии Сергеевны. Вы понимаете, что это значит?! По старинной традиции, зеркала прикрывают, коли в доме покойник. А тут совершенно живой Иноземцев, похоже, ощущал себя в собственном доме в некотором роде мертвецом. Призраком каким-то. Может быть, оттого, что присвоил образ убитого* им человека. Чужое лицо в зеркале, когда он туда по рассеянности заглядывал, напоминало Колдуну о совершенном злодеянии. И таких приключений вихрится и вьется за ним неисчислимое множество. Если, конечно, поверить ему, что он бессмертен. Но сколько нераскрытых дел ожидает Бальзанова впереди!..

Вот так всегда бывает. Ищешь чорт знает где. Горы переворачиваешь. Копаться в хламе. В мусоре. А драгоценные детали, из которых складывается постепенно вся криминальная картина, у тебя под носом. О, сколько неразгаданных тайн валяется без внимания! Только успевай подбирать! Насте, разумеется, о гениальной догадке ни слова. Лишь осведомился небрежно, не встречала ли она каких-либо портретов и фотографий Иноземцева. Пускай в виде групповых снимков. Под тем предлогом спросил, что слышан-де немало об его неотразимой наружности, а сам не имел чести лицезреть. И с удовлетворением отметил, что бедный Валерий Густавович избегал позировать перед фотообъективом. Настолько, значит, опять-таки был человек застенчив. Даже любимой супруге не оставил фотографий на память.

Чем дальше Бальзанов с Настей толковали о том о сем, уклоняясь иной раз в сторону от главного предмета, тем больше подтверждалась его версия похождения чародея. Иноземцев, сказала Настя, опасался дурного глаза. И еще он немного сторонился собственных литературных творений. Никогда не читал вслух и прятал рукописи. Тоже, быть может, по скромности. Это его право.

Начинает объяснять. У Насти получалось, что Иноземцев потому не публиковал свои новые книги, а ради гонораров пробавлялся переизданиями потому, что страшился собственных текстов. «Галиматья! — возмутился Бальзанов. — Почему я ничего не боюсь, а твой помешанный Иноземцев себя боится? Не только зеркал, не только кошек, не только, наконец, тебя, Настя, с твоим повышенным внутренним напряжением и перегорающей аппаратурой, но уже от самого себя приходит в панический ужас». А вслух сказал:

— Тебя послушать, Иноземцев — несчастнейший на земле человек!

— Представляешь, — встрепенулась Настя, — ему казалось, что стоит не так написать фразу или оговориться, и все ошибки сбываются. Как во сне. Понимаешь, сон в руку. Он остерегался писать, чтобы как-нибудь случайно не напроорочить беды. Уж очень был щепетилен...

Бальзанов представил.

— Да твой Иноземцев, выходит, просто-напросто заблудился в дебрях своего беспочвенного, разнузданного воображения. Пожалейте беденького! Ты это хочешь сказать?

Она молчала.

А Бальзанов дал волю воображению. «Вот я скрываюсь, — он поставил себя на место злодея, — прихватив тити-мити. Бегу из собственного дома, как Лев Толстой. От любимой жены. От самого себя. Прячусь под чужой шкурой, как под одеялом. Всего надежнее слинять, юзнуть под чужим именем. Убиваю по дороге и присваиваю наследства. Убиваю оттого, что мне уже некуда деться. — Эврика! Но, кажется, я уже опоздал...»

Касаться прошлого Насти, более глубокого, чем перегоравшие лампочки, Бальзанов считал бестактным. В наших порывах что-то спросить у ближнего иногда необходимо сдерживаться. Бальзанов знал трагедию Настиной жизни. Еще до Иноземцева, до знакомства с Юличкой мальчишки-хулиганы зарезали ее жениха. С тех пор Настя и начала ударяться в странности. Вместо того чтобы требовать смер-

* Дурак Бальзанов! Я же ему жизнь, настоящую жизнь подарил, вселившись в эту смазливую жилплощадь! (Примечание барина Проферансова на рукописи «Кошкиного дома».)

тной казни преступникам, взялась их защищать, ссылаясь на малолетство и низкий культурный уровень огольцов. Потом, Бальзанов следил за процессом, вышли из них отъявленные грабители. Напрасно, значит, слала передачи и душещепительные письма в лагерь. Дескать, нет отмщения. Никого не перевоспитала юродивая. Про ту историю Бальзанов никогда ее не расспрашивал. Стороною дошло. А Настя то ли родила, то ли усыновила Андрюшу. Во всяком случае, он звал ее мамой...

Между тем, в Андрюшином аквариуме шныряли рыбки из каких-то тропических стран. Какая-то вуалехвостка встала вниз головой и колыхала хвостом, прозрачным, как вода. Капитан Немо. Подводный мир вместо Господа Бога на небе. Все-таки хорошо, что мальчишка привязан к живности. К рыбкам, к Матильде. И будто чувствуя, что Бальзанов о ней вспомнил, Матильда подошла, лизнула руку, понюхала ногу и улеглась рядом. В этом святом семействе она почитала его за старшего, за отца. Заблудившийся и попавший в аварию пудель. Ведь это Бальзанов ее спас однажды, а собаки такого никогда не забывают. Вот уж кто благодарно помнит и предан тебе до гроба за твое добро!

А дело было так. Шел Бальзанов по Новому Арбату. Тогда как раз только-только завязывались его изыскания по делу Иноземцева, вокруг странностей в Кошкином доме. Чудеса располагались веером, и он ломал над этим голову, собирал материалы, опрашивая соседей, уже выбывших из проклятого логова и рассыпавшихся, тоже веером, по всей Москве. Документация, картотека, то да се. Словом, забот хватало. К тому же Бальзанов был инвалид. А тут необходимо крутиться и вертеть башкой по сторонам, чтобы за всем поспеть. Что поделаешь? — Одноглазый! Недаром ведьма, углядев дефект, вчера над ним издевалась, не учитывая, однако, что он давно приноровился к насмешкам на тему одноглазого пирата и ноль внимания, держится нормально... Вдруг визг тормозов! Истерические крики: «Спасите! Под машиной!» И Бальзанов кинулся, не разбирая дороги, ничего не видя, не понимая, сквозь строй, и вытащил из-под шины. Инстинкт сработал. Кого он схватил и зачем, ребенка или кошку, в ту секунду он не разбирал. Оказалось — собаку. В тот же миг он нарек ее поэтично, как птичку, — Матильдой.

Он как сейчас отчетливо видел всю сцену, как в замедленном кинофильме. Матильда бросилась через дорогу за кошкой. Ее ослепил на Арбате, в три колонны, калейдоскоп автомобилей и стал перебрасывать из стороны в сторону, давя и смеясь, а он бросился наперерез. И его тоже сшибло. Падая, он успел поймать ее в воздухе.

Конечности, слава Богу, кажется, целы, но была первое время как мертвая. Должно быть, ее здорово-таки контузило. Подостлав пиджак, отнес домой на руках и только тогда опомнился. Матильда не шевелилась. Не пила, не ела. Сам в крови, он ползал перед ней по полу и умолял: выплывай! выдубай! К вечеру воскресла. Причем любопытно, с чего у нее началось. Обездвиженная ничтожная собачонка безо всяких видимых причин вдруг залаяла. И гавкала с полчаса примерно в разных тембрах — то звонко, а то едва слышать — пока не ожила. Из-за этого лая сосед по лестничной клетке генерал Осадчий на другой же день настроил жалобу. Дескать, мешает культурно отдыхать. А Матильда стала поправляться. Много позже Бальзанов догадался, чего она волновалась в пустой, тихой комнате, и признал ее высокие данные. Матильда самозабвенно отбредивалась от смерти...

— Андрей что-то не едет, — озабоченно промолвила Настя, думая о чем-то своем. Но его отсутствие было Бальзанову сейчас на руку. Андрюша имел обыкновение в самый неподходящий момент приставать с расспросами на смутные детективные темы. Как вся молодежь в наши дни, он грезил уголовной романтикой. И Бальзанову приходилось под его нажимом выдавать из багажа кое-какие сведения. Однажды он рассказал мальчишке сдуру про криминальный календарь, о котором наслышан был от своих милицейских воспитанников, — и у того глаза разгорелись. Как разбросаны в мире преступления по временам года, по фазам луны и другую астрофизику. Есть, например, месяцы максимальных убийств, а есть месяцы краж и мелких ограблений. Понятно, Бальзанов не стал уточнять, что октябрь и весна обычно пора самоубийств, а в пору полнолуния катастрофически взвивается сексуальная кривая. К чему эти графики мальчику? Он и так чересчур впечатлителен.

Бальзанову были близки рассуждения Насти — не сегодня, давно, но в такой же сердечной, мирной, с глазу на глаз беседе. Нынче зло, сказала она, слишком романтизировано. А добро сделалось пресным, утратив былую тайну. Надо бы — наоборот. Что она имела в виду? Бальзанов тогда заспорил.

— Доброта — это талант, который дается или не дается от природы. Невозможно научить человека быть добрым. Это все равно, что уговаривать бездарность: станьте гениальными, пожалуйста. Или: будьте красивы...

И сегодня он развивал затянувшуюся дискуссию:

— Но это, к сожалению, почти не играет никакой практической роли. Добрые убивают. Пока глупые умствуют. Любой подлец, как посмотришь, находит себе оправдание. Возьмем твоего трекнутого Иноземца — он едва не сказал «твоего колдуна», но вовремя поперхнулся. — Уверен — милейший царень, добрейший — в душе — человек. Как все мы в душе добрейшие. Мухи не обидит. Пока в минуту опасности или крайней нужды инстинкт у него не сработает. Понимаешь, Настя, инстинкт! У тигра один, у тебя другой, у меня третий. У всякой живой твари свой инстинкт. Человек-подлец так извернется и вывернется, что всему найдет объяснение. Сменит лицо при случае, сделается коммунистом, фашистом, либералом, христианином. Кем угодно. Но душа-то, душа в нем останется прежней. Что он может поделаться с собственной душой? Ради твоего Толстого вегетарианцем станет?

— Оставил бы ты его в покое, Егорыч. Он же писатель все-таки, а ты за ним охотишься, ровно за медведем. За тигром в Индии. Ну как ребенок! Готов убить...

И тут Бальзанов не выдержал.

— Иди ты в жопу, Настя! Знаю я этих писателей. Читал. Ничуть не лучше других. Хуже даже. Каждый мнит себя оракулом. Неуловимым Протеем. Меняет облик, перевертыш. Превращается в собственные воздушные замки, в свои пустые мечты и раздувается королем суверенного государства. Туда же мне короли! Неприкосновенные. Персоны граты. Говна-молока. Мыльные пузыри. Все — в воображении! А завидуют они друг другу, ты бы видела! Как сталкиваются! Презирают! Ревнуют! Смеху не оберешься, если читать подряд. В особенности дневники и письма. Взять твоего любимого графа Льва Толстого...

— А ты лучше что ли, Егорыч? Сам состоишь из одних туманных предположений. Фантазий. Выдумок. Домыслов. В прятки играешь. В пятнашки. А где у тебя факты?

Настя небось обиделась за Льва Толстого. Раскраснелась от благородного гнева и сделалась на редкость хорошенькой. Матильда притихла, поводит печально белками с одного на другую. Думает дура: не дай Бог подерутся! Но и Бальзанов не хотел уступить.

— Мне ли ссылаться на Библию, Настя! Сама читала. Не маленькая. Каин убил Авеля, и Господь вопрошает с неба: «Каин! Где брат твой Авель?» Так, кажется? А Каин отвечает, затирая торопливо следы, что вроде бы он не сторож и не ведает, что стряслось... С некоторых пор, Надежда, я и поставлен сторожем. Сыщиком. Солдатом. Служба, — пусть по собственному выбору — все равно служба. Что ж прикажешь уступить злодею на старости лет? В монастырь податься? Огородик разводить? Картошкой торговать?

— Утихни! Я же за тебя беспокоюсь. Чем браниться без толку, давай-ка я тебе лучше пуговицу пришью.

На этой семейной ноте и застал нас Андрюша. А пуговица? Что пуговица! Я и сам пришивать умею. Тут не то что пуговица, а побриться некогда. Взял себя в руки, отсчитал десять секунд по хронометру, и улеглись нервы.

Оставалось еще про кошек у нее расспросить и про лагерь. Ну так и есть: кошек Иноземцев, призналась Настя, на дух не выносил. Даже повздорил из-за них с Юлией Сергеевной, когда она пыталась приласкать дворовую кошку. Еще бы! Знала бы Настя, что кошки, как подсчитал Бальзанов, и выжили в конце концов Колдуна из берлоги. Только кошки кошкам рознь. Иные кошки, бывает, сквозь стены проходят. На каком-нибудь заброшенном, заколоченном чердаке посадочную площадку готовят. Вроде аэродрома. Популяция. Миграция. Целая электрификация в полном распоряжении кошек. Сигналят, твари! Не исключено, что именно кошки станут моими союзниками в борьбе с Колдуном!

Об этих своих этюдах и экзерсисах Бальзанов, понятно, не выронил ни звука. Держал в уме. И то уже Андрюша с кухни, где кормил собаку, вмешался в разговор про кошек:

— Матильда с тех пор, как попала под машину, не гоняет больше кошек. И с кошками обходится вежливо. Подружиться норовит. Но те все еще боятся...

А вопрос о лагерных связях и контактах Иноземца, к его удивлению, решил-ся довольно просто.

— Забыла сказать, — спохватилась Настя, — тут тебе Саша пакет оставил. Перед командировкой забежал. Бальзанову, говорит, пригодится. Бальзанов всякую дрянь о современных колдунах собирает. Там какие-то несерьезные лагерные байки и сказки. Статья какая-то. Либо трактат. Вырезки какие-то, обрывки, письма. Я еще не смотрела. Только одним глазком.

— А кто автор? Чей пакет? Не сам ли Иноземцев? — спросил Бальзанов с тенью надежды. — Или наш Супермен пустился вдруг в беллетристику? Чем чорт не шутит, когда Бог спит? Нынче все сочиняют, все пишут. Даже инженеры и тем более вожди...

Настя поспешила его разочаровать. Нет, не Иноземцев. Нет, не Супермен. Какой-то Синявский про какого-то художника. Всех не упомнишь. Называется — «Белый эпос». Пускай у тебя полежит. У тебя сохраннее. Заграничные вымыслы. Оба, должно быть, покойники. Саша не хочет держать у себя дома. Бережется, бедный, Юлии Сергеевны. Она вхожа в его комнаты и все там проверяет. Ищет следы Иноземцева. Врачи говорят, мания ущерба. Не опасно, но утомительно. Можно понять и надо посочувствовать. Супруг бесследно исчез, а бедная жена все его ждет и надеется на встречу. Вот такой обвал информации на прощание. Когда Бальзанову пора бежать дальше. Не могла раньше... Попутно учинила ему легкую взбучку за Супера.

— Какой он тебе Супермен?! Он — Саша Суриков и не более того. Мой родной брат. Запомни!

— Но так его все величают, Настя. Прозвище у него такое. Ничего плохого, — пытался Бальзанов сопротивляться. Только женщины могут придавать такое значение нашим случайным именам и прозваниям.

Прощаясь и целуя, она все-таки шепнула ему на ухо:

— Береги Сашу. Не такой уж он Супермен...

Глава седьмая. Белый эпос

«...Было темно, и до подъема оставалось минут сорок, когда мы все, как по команде, проснулись и больше уже не могли уснуть, сколько ни ворочались, и лежа грелись и прислушивались ко всему, что делается в секции и дальше, как можно дальше, — по всей зоне. Было темно, но никто не спал, и разве что это, собственно, было нам в новость, что никто не спит, по всякий, затаив дыхание, слушает, как не спят другие, и теряется в разгадках нашего пробуждения. Мы судили об этом по воцарившейся тишине и по легкому чувству присутствия какой-то тревоги в воздухе, хотя, говоря по правде, опасностью и не пахло, и это вселяло скорее тень надежды на перемены к лучшему, как если бы кто-то умер в секции сегодня ночью и его легкий конец сулил нам избавление, пускай в тот год никто из основательных ребят об амнистии не гадал и не думал. А все ж таки какая-то щель прорезалась в этот момент, что-то вспомнилось либо померещилось каждому, и сами мы потом много над этим смеялись. Может, во сне, всем одновременно, пригрезилась, завладев сердцем, одинаковая фантазия, и, не желая ни прогонять, ни разглашать сновидение, мы лежали и нежились на наших железных койках, пока не пришло время идти за кипятком.

Они ворвались в барак, топая ногами, как кони, и не успело еще заговорить радио, как Ванька Баландин, по прозвищу Баланда, сделал объявление: — А знаете, братцы, — сказал он, ставя с грохотом полный бачок на лавку, — в зоне-то снег! Снег — выпал — ночью — в зоне!..

Со снега в зоне начинается Свешников. До снега — лагерь, тюрьма, биография, а со снегом — весь свет.

Рисунки Бориса Свешникова были сделаны в лагере давно, еще при Сталине, где Свешников просидел около десяти лет. По рассказам, ему посчастливилось одно время: его поставили ночным сторожем при складе, и ночами он рисовал.

А что в итоге? — Почти ничего: белое поле. Белое поле, и нечего, наконец-то, на нем начертить, написать. Белое поле, возьми нас, убей, но так и останься на веки вечные — белым полем, бумагой. Чтобы никто не прочел, не наследил...

Похожее чувство по временам испытывает писатель. Когда он черным пером

выводит корявые буквы по чистой, еще не тронутой странице. Невольно хочется, чтобы бумага — белым полем, покровом — довлела бы над текстом. Болеешь, стыдишься, что так много написал. Не лучше ли оставить после себя чистый лист? Может быть, только с краешка, ради справки, для объяснения происшедшего, приклеить несколько слов. Остальное, самое главное, доскажет бумага, пейзаж.

У рисунков Свешникова обратимый смысл. Кто не знает, что это про лагерь и в лагере нарисовано, так и не догадается. Пускай. Пусть так и будет. Пусть останется неузнанным. Это лучше: искусство. Знающий (я чуть не сказал — посвященный), присмотревшись, различит кое-где частокол, помойку, бараки, баню, тюрьму: кто-то уже повесился, а кто просто сидит и ждет своего часа. Этих локальных (лагерных) ассоциаций до странности мало. Не зарисовки с натуры, а сновидения вечности, скользящие по стеклу природы либо истории. Маленький лагерь, маленький этап. А мир громаден и беззащитен.

Рисунки Бориса Свешникова, воспроизведенные в уменьшенном виде, теряют. Но теряют больше, мне кажется, в размерах белого поля, чем в слабых, все еще вьющихся, карликовых деревцах, в потеках по стене, в узорной вышивке грязи, оттеняющих это же белое и недостаточное пространство бумаги. Можно, взяв увеличительное стекло, рассмотреть и вышивки, и завитки: да, лагерь. Точнее говоря, лагерь дал Свешникову не так свои реальные приметы, как взгляд на вещи, на человека вообще. Свешников повествует в своих рисунках не об узком своем, специальном опыте, но о человеческой истории многих веков и народов, о мире, раскинувшемся по ту и по сю сторону зоны, — по всем бесконечным измерениям листа. Лагерь — курятник, бабушкина избушка, по сравнению с этим вольным, широким застенком. Влачатся дроги. Влекут одры. Какая разница — что и куда? Трупы, муку? Кого гонят — этап? И все-то суетятся милые муравьи, мельтешат, таща туда и сюда жизненную кладь, умирая на подворьях, в карцере, гуртом и в розницу, спотыкаясь, танцуя, предаваясь любовным утехам. Все одно перед лицом неба, смерти и снега. И обретенным там, в лагере, грустным чувством свободы и светлого одиночества, какое только и нужно художнику. Милые, несчастные, запутанные люди!

Говорят, если смотреть с большой высоты, самые страшные грехи внушают жалость. Ну один убил другого. Другой украл. Третий удавился. Четвертые совокупляются. Бедные, бедные.

Свешников удивительно графичен. Это нелепо сказано — графичен, применительно к графике. Какой ей и быть еще, ежели не графичной? Но я употребляю это слово в более пространном значении. Графичность в смысле означенности, очерченности предмета, как почерк природы. Как темным штрихом ложится камень на землю, как трава произрастает.

Невинная курчавость травы и есть графичность. Также древесность деревьев, земных горизонтов, холмов, облаков, неба. Графичность — как признак жизни, как первое ее проявление. Что-то шевелится, карабкается, продирается там на снегу, изпод снега. Занесем в протокол: графичность.

Какие-то уродцы с оторванными конечностями ползают по общей камере. Значит, еще дышат, еще живы, падлы? Умер, умирает, но шебаршит, топорщится. Завитки движений, роста, угасания, мыслей, безумных мыслей и замыслов — чем это передать, если нет под руками графики? Когда бы ты умел живописать стихами вкривь и вкось, так, чтобы каждая буква билась и трепетала, извиваясь покаянной, петляющей по равнине змеей, либо взмывала бабочкой, согнанной со цветка, тогда, быть может, мы бы и обошлись. А иначе как, если уже иероглиф «жизнь» в русском исполнении змеист, извилист и, значит, графичен?!

Вдобавок графика не слабее живописи удерживает в себе, аккумулирует время. То, что нарисовано, длительно существует, неизменно, бессрочно. И дроги, влекомые двумя одами, так и будут вечно плестись, набираясь силы и длительности. Это не заледенелый момент, вырванный из временного потока и приколотый художником к месту, а сама нарастающая протяженность бытия, обеспечивающая способность картине или рисунку впитывать годы и годы, которые истекли со времени начертания до той минуты, когда, войдя, мы смотрим на эти сокровища. И мы уйдем и уедем, а они останутся, обратясь в запасники времени, какими так отрадны музеи, — не прошедшего, исчезнувшего, а вообще всего времени, длящегося до наших времен и дальше и собранного здесь, на листе, на холсте, в одной церкви.

Должно быть, зная за искусством это странное и благодатное свойство — захватывать и накапливать время, Борис Свешников в тюремных работах свел воедино

(какая разница, если река не прерывается?) старину с нынешним часом, русскую вахту и каторгу с новшествами Калло, Ватто, Брейгеля, Дюрера, Гойи, создав в итоге длиннейшую во временной окружности серию. Положенные на партитуру истории, на аллюзии мирового искусства, его рисунки растягиваются, а графика, в силу отпущенных ей от природы способностей, все равняет. Белым полем. Темным штрихом. Равенство — это, знаете, в самом понятии графики.

Когда это было — нарисованное здесь? Триста, четыреста лет назад или сейчас? И тогда, и сейчас. Было и будет. И от этой не доступной нашему осязанию давности люди, действующие на изображениях Свешникова, уже не люди, а духи людей, так же, как духи местности, духи ландшафтов, пространства, в переводе на бумажное поле ставшего вместилищем времени. Это рассказ обо всем на свете и ни о чем в частности. Существа, живущие на рисунках, сняты сами себе. В который раз сняты.

Заметки о Свешникове я должен бы закончить наброском одного давнего замысла, так и не осуществленного. Нет, не о лагере. Ни о чем. Мне всегда хотелось написать роман ни о чем. Сесть бы за письменный стол... никого не трогая, ни о чем не помышляя...

...и чтобы последними словами стали те, с которых начинал: гогры тужероскип! Гогры, гогры, гогры! Тужероскип, тужероскип, тужероскип! Бу-бу-бу! Мяу-мяу! Терц!

Мне рассказывал Генка Темин, солагерник, про сталинские еще времена. Этап пригнали издалека, а лагерь не принимает. Боялись того же Генку, замешанного в вооруженном побеге, но никого, как выяснилось, не убившего и потому вместо расстрела получившего четвертак. Провел в камере смертников 215 суток и, когда ему отменили расстрел, поверил в Бога.

Итак, колымский лагерь не впускает Геннадия. От снежного блеска ныли зубы и леденел мозг. Над лагерем гремело радио, будоража леса. Передавали сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. В сознании Темина его мольба сливалась с голосом старика-рыбака: «Смилуйся, государыня рыбка...» Далеко разносится и в зоне и в предзоннике. И вдруг впустили...

То ли рыбка смилостивилась, то ли Господь услышал.

Там воображаешь себя как бы на том свете. Нигде я не встречал подобного богатства фантазий. Фонтан. В лагере, например, много воображаемых, недоступных уму побегов. «Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь...» Ах, Пушкин, Пушкин!

Но почему-то нет привидений. Фантомов. Казалось бы, столько загубленных душ бродит вокруг да около таких островков и острогов. Нет как нет. Хотя, говорят старожилы, гиблое место. Несколько поколений гниет. Когда копали канаву, два черепа обнаружили на одиннадцатом лагпункте в Мордовии. Сам видел. Один, между прочим, детский. С большущей дырой в затылке. Надзиратели подскочили закапывать, чтобы никто не узнал. Что же, можно представить, творилось на Лубянке — в расстрельном цехе страны! Недаром в «Стансах» Ахматовой:

«В Кремле не можно жить». — Преображенец прав,
Там зверства древнего еще кишат микробы:
Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы,
И Самозванца спесь — взамен народных прав.

Вон оно что?! Не призраки убиенных, а тени палачей льнут к месту казней. Загубленные души бегут сломя голову прочь. На свободу. Подальше от казематов. От казенного интереса. Чего они там не видали? А мучителей неодолимо, может быть, в знак возмездия, тянет на пряник. На кровянку. Им бы все казнить и казнить...

Зато какие прозрения в виде маний и фобий ходят на руках по лагерю вверх ногами. Мне в жизни повезло на безумцев. Взять, допустим, Окурка. Это была у него кликуха такая — Окурок, а как по-настоящему звать, никто уже и не помнил. Ничего, впрочем, зазорного в прозвище Окурок не вкладывалось, и сам он себя по привычке, если не с умыслом, почитал Окурком. Дескать, себе на уме, маленький да удаленький, за огромный тюремный срок прошел сквозь землю, по всем мозговым

извилинам, и знает что почем. Так вот Окурок, все изучив, догадался, что тюремный режим нам подстроен Америкой. Да, провокационно подброшен.

По-лагерному — кидняк. С воспитательной целью для всего остального мира. На тебе, убоже, что нам не гоже. Ведь мы для них, для Америки, подопытные кролики. На нашем горьком опыте, всем народам в диковинку, как не надо увлекаться фантазиями. Марксизьмой-ленинизьмой. Сталиным, Брежневым. Иными словами, Америка нами пренебрегла, чтобы спасти себя и прочее человечество от мирового поветрия. «Не ходите, дети, в Африку гулять!» — как сказано в древней басне. В Африке-де живет ужасный людоед-крокодил. А мы сдуру, по наивности, и купились на дешевку...

— Ну ты даешь, Окурок! — восхищались мы, сидя вокруг закопченной кружки. — Ну ты даешь! Как это тебя чекисты за всемирное открытие до сих пор не расстреляли?

А я прямо спросил, а как это было сделано? Чтобы какая-то паршивая Америка вот так запросто, по дешевке, купила нашу необозримую Россию?

— Деньги все сделают, — хмуро отозвался Окурок.

Лишь две недели спустя, тет-а-тет, он мне разъяснил обстановку:

— Понимаешь, Донатыч, тут мировой заговор. По преимуществу лиц еврейской национальности. Кумекай сам, как это у нас получилось. Шевели рогами. Маркс — еврей? Ленин — еврей? Парвус — еврей? Брежнев — тоже еврей. Смекаешь?

— Но при чем здесь Америка?

— Америка нас подставила! Чтоб самой избежать удара. Все американские президенты, через одного, евреи. Возьми Рузвельта, Черчилля...

И здесь, на зыбкой еврейской почве, я взорвался:

— Гитлер, по-твоему, тоже еврей? А Чингисхан?

— За Чингисхана не поручусь, — сказал печально Окурок. — Надо еще подумать. А у твоего Гитлера, погляди на портрет в «Крокодиле», типично жидовская рожа!

Словом, из-за Гитлера мы крупно повздорили. Я не мог согласиться, что Гитлер — типичный еврей. Не позволяли разум и раса, сидящие, вероятно, в глубине моего подсознания. Да и Россия, насколько я понимаю, все-таки воевала же с Гитлером. Воевала или нет? И кто победил?

Окурок увиливал от прямого ответа:

— Это нам не известно. Необходимо проверить. И если требуется — пересмотреть...

Несмотря на ряд разногласий, мы с ним ладили. Мне нравились его интеллектуальная честность и философская подкованность в спорах. Может быть, Окурок был справедлив по-своему в оценке буржуазной Америки, которая, сама извернувшись, подставила нас под удар. Все это необходимо обдумать... К тому же Окурок переключил наше внимание с себя на другую занимательную фигуру по имени Генрих, а на заокеанский манер, просто Генри. Впрочем, это тоже прозвище.

То был скромный фарцовщик, погоревший на иностранцах и поехавший на следствии, с детским сроком в четыре года. В отличие от Окурка он был нерасторопен, застенчив и малообщителен. Но пункт его невменяемости намного превосходил американские гиперболы первого. Генри был уверен, что весь наш мордовский лагерь в полном составе основан для него одного. В виде какой-то чудовищной, полупрозрачной махинации. Все это у него называлось — «Великий Понт». То есть — Великий Обман. Для понта, ради непостижимой хитрости, чтобы обвести несчастного Генри вокруг пальца, дымятся трубы заводика, крутятся и зудят станки, приходит в зону и уходит товарный поезд, что-то нагружают и что-то разгружают. Какая разница? Все это одна беспросветная туфта, видимость, чистая фикция, именуемая солидно продукцией и не имеющая под собой ничего, чуть что идущая по конвейеру обратно в цех, в печь и на ветер. Тоскливее картины трудно себе представить, а между тем она объявляется хозяйством и производством, и мы, вкалывая, прикидываемся, будто напряженно работаем, и начальство над нами старается изо всех сил, матерится для пущего понта, пыхтит и подгоняет, пока мы безучастно вращаемся на пустом месте.

Если Окурок всегда был неистоично весел, пронырлив и весь кипел, вдохновленный великой идеей американского надувательства, которым он на зло врагам восторгался, то Генри под советским прессом как-то иссяк, смирился, забыл и мечтать о Западе и разве что тишайше насвистывал недостижимые позывные радиостанции «Голос Америки», которые его скорее всего и попутали невзначай, ввергнув

под конец в тяжелую меланхолию. Лишь изредка улыбка озаряла его анемичную физиономию при виде очередного, слишком уж наглого понта, радуя, вероятно, не-расторжимой законченностью внезапно открывшейся ему панорамы. Окурок величал его «Параноиком коммунизма», в то же время великодушно подыгрывая навязчивой идее безумца. Оба они где-то пересекались в злосчастном ощущении мира как сплошного понта, невзирая на различия в возрасте, взглядах и темпераменте. Окурок принадлежал к поколению войны и прошел медные трубы, улизнув из-под расстрела, а вялый Генри считался молодым и даже сравнительно образованным человеком.

Малахольность последнего доходила, скажем, до крайности, когда он всех нас, обыкновенных зеков, скопом зачислял в офицеры КГБ, на превосходной зарплате за вредность, только переодетых в арестантскую робу ради наилучшего понта. Будучи участниками фальшивого маскарада, на фоне означенной лагерной декорации мы от души потешались, но порою бывало как-то не по себе. Помню, работал на пару с Генри под открытым небом без свидетелей. Мы смазывали проклятой соляжкой бесконечную ржавую дрянь, и вдруг он вкрадчиво спрашивает:

— Как ты считаешь, Андрей, где сейчас находится настоящий Синявский?

Легкий озноб пробежал у меня по загривку, и я попытался слабо отстаивать, что Андрей Синявский, по всей вероятности, это и есть я. Он устало махнул рукой. Брось, мол, притворяться, старик.

— Но кто же я по-твоему?

— Может быть, ты полковник Абель, — сказал он загадочно и полувопросительно. — А я спрашивал про Синявского. Где он теперь содержится? В какой тюрьме?

Абель, как утверждали в зоне читавшие еще кое-какие обрывки авторитетные зеки или просто по слухам, был тогда московским шпионом, недавно с почетом вернувшимся из-за границы. Но репутация Абеля мне почему-то не нравилась. И с большой доказательностью и душевным волнением я начал уговаривать Генри изменить точку зрения на меня и на весь лагерь и согласиться с безысходной реальностью. Настолько, значит, меня Абель расстроил, что в тот момент мне и в голову не пришло, что все аргументы, доводы и факты куда-то без остатка проваливаются в подобной ситуации. Что спорить с сумасшедшим? У сумасшедших собственная логика, быть может, не менее стройная по сравнению с нашей.

Ты только подумай, Генри, взывал я к его рассудку, не такой ты опасный преступник в глазах правительства, если за все прегрешения тебе вlepили — курам на смех! — только четыре года. Посмотри вокруг, посчитай на пальцах лагерные сроки. Здесь зеки сидят по десять, пятнадцать, двадцать и двадцать пять лет. Побольше твоего и потяжелее твоего пустого срока. Многие болеют хронически и умирают в лагере. Ты сам видел. Не маленький. Правда, тебе кажется, что все мы вокруг тебя, все заключенные, переодетые чекисты с хорошим офицерским стажем. Теперь представь, какие бешеные деньги нужно нам выплачивать за этот грандиозный спектакль. А потом персональные пенсии за вредность. Помимо того, вся наша лагерная промышленность, как ты считаешь, не приносит никакого дохода и начисто вылетает в трубу. И все это не считая охраны. Не считая юридической службы. Суда и прокуратуры. Не считая проклятой Лубянки с ее сногсшибательным штатом, просаживающей миллиардные суммы на ловле безобидных, никчемных, вроде тебя, преступников. Ведь это все, мягко говоря, нерентабельно. Скажи, кому это нужно?!

Генри очень внимательно, не перебивая, выслушал мою пламенную тираду и грустно ответил:

— А вот об этом, Андрей, я как раз собирался тебя спросить. Тебе это лучше знать. Кому это нужно?

На этой достопамятной ноте тот разговор и закончился. Но другие беседы с Генри проходили не так гладко. Ребята сгоряча чуть-чуть его не побили, когда Генри рассказывал про обстановку в доме свиданий после встречи с женой. Во-первых, было известно, что к собственной жене Генри не прикоснулся, а все свидание просидел угрюмо в углу, не вступая в разговоры, с учетом, что никакая она ему не жена, а подсадная утка. Ну это, положим, их личное, семейное дело. Но ребята осерчали, едва Генри перешел к незнакомой женщине, тоже приезжавшей на лагерное свидание с мужем, и обозвал ее вдруг неуважительно шлюшкой.

— Какая-то шлюшка после свидания, — сообщил он, давась от хохота, — пла-

чет, заливаётся в коридоре. Разлуку изображает. Как в театре! Я со смеху чуть не обмочился...

Чужие несчастья Генри воспринимал как художественное изделие того же всеобщего понта. Зато над ним всласть позабавлялся Окурок, развивая сюжет из «Дня чудесных обманов». Он обратил внимание Генри, что в лагерном обширном сортире зеки лишь делают вид, будто испражняются, а сами втайне подбрасывают из кармана игрушечный кал. Искусственные какашки за большую валюту завозят к нам пароходами из богатой Америки. Вот что чекисты придумали!

— Ты бы, Генри, ночью набрал оттуда дерьма побольше и лично убедился! Все дерьмо из пластмассы!

Генри мрачно кивал, но не поддавался подначкам лагерного весельчака. Как-то он различал, где настоящий понт, а где поддельный. Значит, хватало ума. Но зона ржала. А наш неугомонный Окурок, продолжая комедию, уже указывал на замполитовского теленка за проволокой. Со штабеля, как на ладони, было видать, как теленок на длинной веревке каждое утро хозяйственно щиплет траву. От этой тошнотворной идиллии на глазах у каторги шебутной Окурок не оставлял камня на камне. К общему удовольствию, он внушал своей помешанной жертве, что это совсем не теленок, а лагерный кум Барсуков в телячьей шкуре выполняет на четвереньках сугубо секретное оперативное предписание. Теленок — подставной...

С той невеселой поры много лет испарилось. А мне все нейдет, все мерещится пегий телок под сенью блеклых, размытых и словно слегка подбеленных снятым молоком небес. И невинные, особенно поутру, панорамы, которые проносятся мимо вагона, уже кажутся мираклем, готовым обратиться в мираж и размазаться по стеклу пустыней без признаков жизни либо всемирным обманом с выцветшими красками, каким томился не Генри с лукавой подначки Окурка, а мы сами грезим который раз, позабыв, что в разыскании тюремных фантомов мы ловим себя за хвост и крутимся вихрем, подобно смертному ветру, летящему из-под встречных колес.

Ау, Окурок! Я слышал, тебя замочили в зоне. Я уехал, а его подставили. Прикончили сволочи всероссийского шута. Стоит только уехать из России, как кого-нибудь замочат. Так мы и не договорили с ним ни про Америку, ни про евреев. Ау, Америка! Вот он и кружится, бес, как прах из-под колес. Гау-гау завывает. Тормоз Вестингаузена? И вагон поскрипывает. Поезд дергает, вздрагивает на перестрелках. Грохочет по железнодорожным мостам. Стык рельсов. Сцепления шестерней. Пускай подскажут святые, как помолиться за Окурка. За упокой души, чье православное имя давно затеряно, позабыто. Чтоб он не был на том свете, бес, и здесь, в Париже, и там, в Америке.

Что же касается Генри, то от бедного Генри у меня застрял только один вопрос. Где я сейчас? Скажите, пожалуйста, где я нахожусь? И где содержится теперь настоящий Синявский?

Легенда о Колдуне. По словам Генки Темина, в нашем лагере задолго до меня сидел такой фокусник, что не гнушался выступать с номерами на самодеятельных подмостках. Лагерная этика была ему ни о чем, и ребята за это с ним тоже не церемонились. Смотри, старик, предупреждали ребята, настоящий зек никогда не позволит себе выступать на тюремной сцене. Это же все равно, что собственными руками бороздить запретку либо ремонтировать после пожара барак усиленного режима. Ни ходить на политзанятия, ни, Боже тебя упаси, становиться бригадиром, нарядчиком или каким-нибудь придурком. А он подмигивает:

— Не волнуйтесь, мужики. Мы сами знаем, как нам не обосраться!

И вот наступает вожделенный момент спектакля, где вместо залы и вместо сцены зековская столовка. Народу полно. Яблоку негде упасть, если бы только было в лагерьях хоть одно яблоко. В первом ряду — на клубных стульях — весь менталитет. Хозяин лагпункта Плюгин, замполит Новиков и опер Барсуков. Сам полковник Хромов прикатил на дрезине ради такого праздника. Лыбятся тигры. Аплодируют народным песням и пляскам. А пуще всех ликует ответственный за мировую культуру замполит Новиков. К тому же молокосос, едва из армии и в наших порядках и нравах далеко не Сократ. Чуть что, козел, прыгает за кулисы руководить артсоставом. На дружескую ногу с фокусником. Вроде ассистента и одновременно бдит, чтобы тот не подпустил какой-нибудь идеологии. Не ручаюсь за все номера, поскольку, повторяю, я там тогда еще не сидел, ребята, и знаю все понаслышке, в окружающем пересказе, имевшем несколько версий. А что вы хотите? — Фольклор!

Согласно одной из них, коварный незнакомец так всех оболгивил и погрузил в гипноз, что расстилает по сцене, прямо на полу, скатерть из политико-воспитательной части, — огромное красное полотнище, какое на воле бывает лишь на больших международных играх или на сборищах в Совете Министров, сам под скатерть — и прощай, любимый город!

Невероятно, но факт... То есть как это — куда подевался? Ушел в сторону моря. Сперва по закону Зеленого Прокурора, что управляет дремучим лесом, а затем и вовсе с концами — за большую зону. Куда-нибудь во Францию либо в Норвегию. Но главное, на глазах у начальства и всего надзорсостава испарился, паразит. На этом инциденте замполит Новиков заработал выговор, испортил себе карьеру и уволился из органов. А Плюгин без огня сгорел. Как без огня? Сгорел, значит, от излишка этилового спирта в организме.

Все же эта версия лично мне представляется малоубедительной. Мне больше нравится другая: что Колдун не сбежал, а просто умер. Как все умирают в конце концов, сколько бы ни пытались продлить безответственную жизнь. Но, умирая, он внезапно за кулисами поцеловал в уста замполита Новикова либо передал ему что-то из рук в руки и этим сверхъестественным шагом себя продолжил. И Новикова действительно как подменили: теленка продал, стал задумываться, шуршал какими-то бумагами, иногда смотрел на облака, — совсем как лагерный поэт Валентин Ээка, — а семьи у него не было, и вскоре он уволился и удалился восвояси... И вот вам, пожалуйста, новый молодой человек. Физически развит, интеллектуально подкован, холост. С кое-какими деньгами. На все четыре стороны. С чистым паспортом. Сам чорт ему не брат. Мой последний совет: остерегайтесь колдунов. Не заводите близкого знакомства с фокусниками. И, на всякий случай, — мужчины, не целуйтесь с мужчинами!»

Комментарий Бальзанова.

Хотя Синявский и сам весьма подозрителен и доверять ему не след, из его тюремных записок можно сделать некоторые далеко идущие оргвыводы.

Первое нотабене: Колдун (Проферансов) в прошлой жизни какое-то неопределенное время (не известно, в какую пору и за какие преступления) находился-таки в местах заключения. Отсюда вторжение фени и других иносказаний в его обиходную речь и нездоровое влияние на будущую супругу и соломенную вдову Юлию Сергеевну. Под именем замполита Новикова и в телесном виде последнего он демобилизовался под гипнозом из войск МВД, а пройдя ряд пертурбаций, сменив черты и приметы, принял напоследок псевдоним Иноземцева, после чего снова исчез в неизвестном направлении. Преступное прошлое Иноземцева и не менее преступное будущее скрываются в глубокой тени. Субъект крайне опасен как неопознанный летающий объект.

Второе нотабене: во всем виновата Америка. Что подтверждается наглядной картиной растущего разложения нашего общества, в чем каждый гражданин может убедиться воочию, выйдя вечером на улицы Москвы. Как тут не прислушаться к скромному мнению покойного господина Окурка? Вернее — гражданина Окурка. Еще точнее — безымянного арестанта, который умер под ничего не значащим определением, под воздушным псевдонимом — Окурочек.

И третье (я согласен с Синявским): мужчины, на всякий случай не целуйтесь с мужчинами!

Больше я про это ничего не скажу. Глупого все равно не проймешь, а умному — намека достаточно.

Глава седьмая (продолжение). *Гей, славяне!*

Кроме абстрактной статьи и куцых лагерных заметок Бальзанов обнаружил в пакете несколько писем к Андрею Синявскому. Обрывки одного из них ему уже попадались в Кошкином доме. Или там была копия? Во всяком случае Донат Егорыч их сохранил.

Дорогой Андрей!

С приездом Вас!.. Надеюсь возобновить здесь наши отношения. Но так как мои письма к Вам в Москве могли дать повод к недоразумениям, то разрешите все объяснить.

1) Боюсь, что у Вас могло возникнуть ложное впечатление в связи с моим призывом «возлюбить врагов», понимая под «врагами» саму советскую власть. Вы недальновидно могли подумать так: вот призывал на голову власти перуны и молнии, а теперь говорит — «люби!» Только теперь, обращаясь к Вам уже из Кельна, могу дать Вам посильный комментарий.

Христианский тезис любви не предполагает, что во врагов надо влюбляться и обожать их до без памяти. Любовь в контексте с врагами означает лишь справедливость, при которой не требуют от человека большего, чем он психологически способен. Например, нельзя помещика называть бандитом за то, что не отпускал своих крестьян на волю, ибо это превышало отпущенную ему способность к добру. И я, призывая Вас выступить с раскаянием в советских газетах, не имел в виду, чтобы Вы полюбили Брежнева как родную невесту, а просто отнеслись бы к нему по-человечески, не требуя непосильного — дать свободу слова и критики, что для них непреодолимо, а вступили бы на путь сотрудничества в области достижения возможного, и это открыло бы новую страницу в истории. Я от позиции линейной поднялся к сложной, бинарной, а в бинарности — вся мудрость.

2) Тогда это было действительно Благоразумнейшее. Признайте это хотя бы теперь, если не осилили тогда понять и были несогласны. Мой замысел был в том, что после покаянного письма в газеты, к Вам, при Вашей международной известности, было бы проявлено высокое внимание, и Вы, встретившись с Андроповым или даже с Брежневым, не ставя несбыточных задач о свободе слова, стали бы требовать расширения границ культуры — издания в полном объеме маркизов де Сада и Кюстина, Генри Миллера, да хоть и наших Ахматову, Лимонова и Баркова. От свободы критики Советы могли опасаться погибнуть. Расширение же диапазона дозволенного в литературе повышало — и только Вы могли им это авторитетно разъяснить — их престиж в глазах Запада.

3) Если бы Вы, последовав моему гениальному замыслу, написали бы письмо в «Правду», то даже в худшем случае — если бы письмо и не было опубликовано — оно пошло бы по рукам как «самиздат», и таким образом эта новая инициатива привлекла бы к себе внимание всей мировой общественности. И под такой петицией встали бы миллионы подписей, как под Стокгольмским воззванием. Если десятки людей подписывались под письмами в Вашу с Даниэлем поддержку под угрозой за это дурдома и лагеря, то такой документ просто вызвал бы целое мировое движение сторонников культуры.

4) Все это было просто, гениально просто. К сожалению, люди на земле так устроены — и Вы не исключение, — что сложное понятней им. И Вы — главная надежда и центральная ось моего проекта — первым и отказались, не услышав из моих уст повеления свыше. Потому во втором письме я и сказал — без всякого, впрочем, гнева, — что, с точки зрения Вашей жизни в лучшем мире, это было крайне опрометчиво: Вы поставили под риск свою вечную жизнь, и я это хотел донести до Вас своей формулой, что лучше бы вам родного сына убить, чем послушаться через меня Вам поданного повеления. Вы же поняли меня буквально, в доступном Вам плоском уголовном смысле, что я, дескать, подстрекал Вас к сыноубийству.

5) Мне кажется, что в нашем строе духа — моем и вашем — много общего. В 63-м году, переправляя мои работы, вы рисковали гораздо больше, чем из-за своих собственных, ибо если бы мои столь огнеопасные сочинения, что — в отличие от ваших, — всему Западу не хватило отваги их опубликовать, вышли бы в свет миллионными тиражами и меня бы арестовали и на допросе дали бы расслабляющую таблетку, то я запросто мог бы проболтать, кто это их переправил, и Вас бы за это расстреляли... Я этой вашей самоотверженной помощи никогда не забуду.

6) Теперь о другом. Вы только приехали, а я живу в этой демократии уже полтора года. И я искренне готов руководить Вами в джунглях этого мира. Тут существует всемерная свобода для любых порнографических извращений. Но пробить в жизнь правду здесь так же трудно, как в Советском Союзе, потому что настоящую правду здесь любят не больше, чем там. Мои взгляды и теории, глубоко выращенные и проверенные в тайниках души, о реальном бессмертии, о преодолении раскола в человечестве путем принятия общей для католиков и православных формы богослужения, с единым способом молитвы и как креститься, — все это отвергается, и мне невозможно ни сказать это вслух и быть услышанным прихожанами, или хотя бы опубликовать в журнале. В чем — не стану скрывать — не стыдился бы искать Вашей помощи.

Мой автопсихологический роман был бы смертельным ударом по коммунизму, и его едва не приняли в журнал «Безотечественные записки», но одумались под воздействием американского диктата, которому лишь бы не дразнить советских гусей. Если Вы выразите желание почитать мой роман, то я его Вам не колеблясь вышлю. В нем есть много интересных для Вас переживаний и размышлений. Ну, Андрей, до свидания, надеюсь, что Вы хоть что-нибудь ответите.

Юра

Юра!

Я рад, что Вам удалось уехать и сохранить жизнь и свободу. Но буду откровенен. Я не хочу с Вами видеться и поддерживать переписку. Дело не в обиде на какие-то бестактные выражения. Просто мне неприятно, когда мною руководят, предлагая переписываться с вождями или жить не по лжи то одним образом, то другим, исполняя волю, которая мне навязывается со стороны и в которой у меня нет уверенности. К тому же вся эта сфера воспитательного воздействия на строй, стратегия и тактика борьбы или компромиссов мне чужды и непонятны. Позвольте мне остаться при моих занятиях. Желаю Вам всего наилучшего.

А. Снявский

Андрей!

Сейчас полшестого утра. Я проснулся, вернее — очнулся от оборвавшегося сновидения, которое было насчет Вас, и сел сейчас же писать Вам это письмо. Мое имя и фамилия Юрий Савловский. Отношения наши оборваны, как Вы того хотели. И я пишу не в попытке их возобновить, а только ради Вашего блага. Вчера, 16 июня, был день моего рождения. Может быть, это в какой-то мере объясняет причину сна. О вас я уже давным-давно не думал, так что Ваше появление в моем сне было для меня полной неожиданностью. И, можно сказать, вдруг...

Вдруг увидел я во сне, что пробираюсь по какому-то мучительному туннелю, совершая побег, как бы из тюрьмы, и вот — близок к выходу. И уже надо мной отверстие, лаз, и, подтянувшись на руках, я уже выхожу на свободу, если... Всего-то и нужно легонькую дощечку приподнять, закрывающую лаз. Но эту дощечку только с той стороны, с Вашей, можно приподнять, где Вы, поставив письменный стол возле моего лаза, сидите с комфортом на воле и пишете, а под вами как раз вот это отверстие туннеля. И Вам только руку протянуть, чтобы ее отодвинуть. И я думаю с облегчением: ну, это Андрей, мой друг, сейчас он отодвинет дощечку. «Андрей, — шепчу я Вам снизу, — Андрей, это я, Юра... Отодвинь дощечку, выпусти меня на волю...» И не веря своим ушам, слышу: «Не отодвину...»

Потом вижу себя уже в Вашей квартире, где полно друзей и куда меня выпустили из туннеля, но только на краткое время, поскольку я просил, чтобы дали мне только объясниться, но с правом меня обратно в туннель запихнуть. И все Ваши друзья считают, что я совершил непростительное преступление, когда после Вашего возвращения из лагеря писал вам письма, вызвавшие Ваше возмущение, что я чудовище и за это должен оставаться под вами в туннеле до конца жизни. Я хотел объяснить свою невинность, но быстро понял, что никто меня и слышать не хочет. Предо мной была глухая стена отчуждения. Вместо Вас говорил со мною человек, которого я сперва за Вас и принял, тоже Андрей, и просто одно лицо — Меньшутин. Он говорил, что с моей стороны наглость требовать то-то и то-то... И все мои попытки были безнадежны. Помню, я подумал еще: «А где же жена Андрея? Если Марья подойдет — то пощады еще более не жди». Но тут как бы началась война, посыпались бомбы, всем стало не до меня. Сказали: «Пора запирать туннель...» И тут Вы появились... Я обвел всех прощальным взглядом и сказал вам: «Ну, что ж, Андрей, прощайте... До Суда Божия...»

Я в этой истории был действительно невинен, как агнец. У меня не было никаких дурных целей, один только план — помочь Божьему делу. Доказательством чему служит мой другой сон, который я видел давно, еще семь лет назад. Я был во сне вознесен к Богу, и моя первая мысль по пробуждении была: «Что же натворил Андрей?..» Хотя в самом сне про Вас ничего не было, но не зря же при пробуждении — как острый нож молнии — эта мысль.

Вы действительно тогда провинились перед Богом, отказавшись выслушать меня по приезде на Запад... Речь-то шла не обо мне, а о важном христианском деле, которое мне Богом поручено. Я просил вас не ради себя, а ради этого дела... Хри-

ста ради... Что же до наших былых отношений, то так перед Богом не поступают после нескольких лет общих разговоров, когда мы понимали друг друга... Когда я с деревянным крестом под полой пальто, как Раскольников с топором по старухам, отправился относить свои рукописи в американское посольство, только одному вам и доверился, и когда подлые иностранцы из посольского автомобиля с британским флажком не захотели взять конверт, а едва отъехали, как подоспели менты и запытали меня в психушку, я одному Вам дал знать про свое там пребывание, и Вы — тогда еще свой, — не подвели, пришли проведать с компотом и маленькой, которую мы распили под рассуждения о необходимости реформации православия. И после всего за один поступок, который произвел на вас отталкивающее впечатление, так перечеркнуть все хорошее... А Ваше пренебрежительное отношение к моей работе «Как нам образумить Россию»?

Нужно же думать, что такое человек! Насколько он стоит в поле действия противоречивых сил, насколько легко он может подпасть на время под влияние какого-то ложного духа и совершить даже и дикий поступок!.. Конечно, если человек в *общем* не подходит, как, скажем, Брежнев для христианских бесед, то нелепо и трудиться, но когда глубокие отношения были много лет, оборвать их, не пытаясь объяснить?

Здесь, на Западе, уйма научной литературы о загробной жизни: миллионы фактов, доказывающих, что и загробная жизнь существует, и возмездие в ней. И так как мне эта литература известна, то отсюда еще один стимул этого моего письма к Вам. Если вы захотите, то ради спасения Вашей души я найду время, чтобы в обстоятельном послании (может быть, страниц на десять) все Вам объяснить.

И тогда я вовлеку Вас в проект, который станет нашим общим, при участии других знаменитых русских писателей Запада, включая американцев Бродского и Солженицына, обращения к американскому правительству с призывом срочно высадить десант в Португалии, чтобы предотвратить вторжение военных сил Союза в сферы влияния НАТО. Но это только если окажется, что Вас еще не разъела западная зараза гедонистического эгоизма.

Юра Савловский

Юра! Я очень Вас прошу: идите на х... *Андрей Синявский*

Здравствуйте, господин Синявский, бывший соотечественник и солагерник Андрей Донатович!

Пишет Вам опять надоедливый и, может быть, для Вас малоприятная личность, гражданин Гаранов — по новому имени Адольф, а по старому, как Вы меня знали — Николай Иванович.

Ждал я письма от Вас с большой надеждой как от бывшего своего однокашника по лагерю и думал, что Вам, наверно, там не здоровиться; потом когда Ваше криводушное послание до меня доехало, то совсем не было у меня времени, чтобы еще раз Вам написать. И пока Вы прибывали в необъяснимом для меня молчании, я все сочинял в душе к Вам большое и хорошее письмо, а когда пришел лукавый ответ, то опять же мысленно стал составлять плохое письмо для Вас. Но вот решил написать это письмо — не плохое и не хорошее, а уж как говориться у бабы есть самое чистое место между жопой и п...ой — промежность. Вот так, не обессудьте.

Прежде, позвольте мне и разрешите мне и примите мою «благодарность» в кавычках за Ваши практические советы, как мне писать и издать свои мемуары, где я просил, чтобы, когда книга будет готова (с моей стороны через год), Вы помогли бы не как соавтор, а как здесь принято говорить, были бы ее оформителем. Я был уверен, что Вы уже искушенный и опытный человек в подобных вопросах и подскажите мне, что и как лучше все это сделать согласно заподного этикета. И я в Вас ошибся.

Мне неясно и непонятно, почему Вы написали, чтобы я изложил только факты и никакой публицистики. Получается, что каштаны тоскай я из огня, а кто-то их будет жрать наслождаясь. А теперь все стало абсолютно мне ясно, когда я съездил 17 декабря в Лондон к врачам-психиатрам изуверам Менгельцам. Я надеюсь, Вам известно, кто был нацистский врач и изувер и что он делал под именем Менгель. Так что я не буду останавливаться на данном вопросе, а пишу далее Вам.

Так вот, когда я был на спецу, то видел там писателей и поэтов, вроде меня, которые, когда выписывались, или умирали, или кончали жизнь самоубийством, то

их научные, технические, художественные и прочие труды складывались в помойное ведро и выбрасывались на свалку мусора истории. Так что если бы я стал эту глупость делать и писать не для своей книги, а только что могло бы заинтересовать специалиста, то как это было бы не дело, а бред сумасшедшего.

Когда я прибыл в Лондон на встречу к врачам-психиатрам по их приглашению, где вначале ставился вопрос, что я прочту им свой доклад «О злоупотребление советских психиатров в карательных целях» и подготовил для них свой хорошей и объективный материал на эту тему. Но потом при первой встрече на первых порах с падалью по имени Джерри Юнг, который шпрехает по-русски, а сам называет себя выходцем из Чехославакии, но по-моему он все же чистокровная жидовская мразь и сволочь. Ясно. Особенно мне не понравился их коллега врач-психиатр по имени Сидней Блок, который выгядел хуже всех и чрезвычайно огорчил меня этим. Этот Сидней Блок усиленно крутил своим тощим задом передо мной, так мило и похатлива улыбался для меня в течение всей этой встречи, что мне не понравился как натуральный педораст, ибо он как плохой артист переиграл свою роль «веселого мальчика» и у меня появилась даже настальгия по голой мужской жопе, ибо когда я был в неволе в России, то постоянно любовался мужскими жопами, ловил сеансы, во время мытья в банные дни, так как жопы, как и лица людей, бывают разные: красивые и некрасивые; но только самое красивое лицо может стать страшным, ибо оно подвержено эмоциям человека, а вот если красивая жопа хороша, то она есть красивая и хорошая жопа всегда, независимо от хозяена его; а вот если плохая жопа, то она уж и останется такой всегда, даже если ее нарумянить и нарисовать на ней черные реснички, как на лице, — не поможет это, ибо останется, чем есть, то есть плахой и не красивой жопой. Так что для меня голая жопа благородней любой красивой хари, ибо не фальшива, как она. Жопа — или рефинированная красота, или рефинированное уродство, и, главное, истинное. Вот так это тоже эстетика жизни моей. Так что у меня страшная тоска увидеть голую, красиваю, хорошею и только мальчека жопу, ибо что такое женская жопа мне не давелось знать, а когда иду я по улице и вижу бабу, смотрю на ее казанок, то особого восторга не испытываю к ее тухляку, так как у них он уж больно большой, сильно жирный и водянистый. Так что мне очень хочется завойдопить во всю свою глодку: «Покажите мне голую жопу! Я хочу видеть голую жопу!» Но за все надо здесь платить, а у меня в кармане «сквозняк», как в тумбочке лагерной, когда там нет ничего и жрать нечего. Ясно.

Лет шесть-семь назад мне пришлось повстречать одного человека, который мне рассказывал, что якобы радиостанции с Запада передали, что у Вас появилась настальгия. Я не поверил этому сперва, а потом мне падумалось, что настальгия у Вас не по родине, а по друзьям и знакомым. И вот, когда я прибыл сюда, то вспомнил все это и первым делом написал Вам, думая, что ведь настальгия у «кента» Андрея Донатовича.

Но теперь вижу, что все здесь абсолютная ложь и ложью погоняется. Главное — это деньги, деньги и деньги! Все продается и все покупается и хорошее, и плохое, — только плати и по-быстрее, ибо может по дорожать, пока раздумываешь! А уж если когда нет денег, то протягивай ноги и подыхай, — никто тебе не поможет и не пожалеет! Как в лагере волчий закон: «Умри ты сегодня, а я уж завтра!» или «Кого е..т чужое горе?» Так что Вы всегда правы, что не отвечаете мне. Жевите так и далее и желаю в Вашей дальнейшей жизни всего самого наилучшего Вам! Настоящий друг познается только в беде, истенная правда также познается в беде и даже Господь-Бог познается только в беде! Добро эфимерно, изменчиво и дешевая валюта, а вот Зло — это полный и дорогой реализм на Грешной Земле! А все остальное есть ложь, лицемерие и фарисейство. Ясно.

Андрей Донатович, если Вас не затруднит и будет возможно — напишите мне по-английски слово «ненавижу», ибо существительное «ненависть» мне известна; а вот как правельно сказать и написать по-английски слово «ненавижу» никто не знает, ибо я с этим проклятьем просыпаюсь каждый Божей день. Помогите мне. «Ненавижу!», «Ненавижу!», «Ненавижу!» — все, всех и каждого, в том числе и самого Бога! Ибо нет Его на Земле, — ибо нет веры в Него ни у какого!!! Ясно.

Будьте живы и здоровы.

Примите и передайте мой низкий поклон и уважение Вашей драгоценной супруге.

Могильный Червяк Николай Адольф Гаранов

Дорогой Писатель!

Обращаюсь к вам с просьбой помочь опубликовать написанное мною. Не думала я заниматься писательской деятельностью, хотя когда-то мои занятия русским языком увенчались успехом. Кратко о себе. Жизнь очень сложная. Было детство — светлое. Была война. Германия, лагеря, возвращение, замужество за советским офицером. Дети, которые со мной здесь в США. Нелегко пришлось. Выжили. Даже неплохо живем. Случайно произошла встреча с поэтом Е. Евтушенко. Он мастер беречь души. Вот об этой встрече, ее последствиях, о нашей жизни здесь и происходящем в СССР мое сочинение. Я читаю разные книги, книжечки, книжонки. Мало какие душу переворачивают. Чаще, — когда по прочтении становится не по себе. Зачем, думаю, кто-то портит мнение и отравляет жизнь тем, кто прочтет это писание. Издательства должны всесторонне рассматривать ценность для жизни той или иной писанины. Прошу прощения за мою нескромность, но уверяю вас, дорогой Писатель, что мое сочинение написано глубоко проникновенно, жизненно и за огромный период жизни в сочетании прозы и поэзии, личной жизни и мировых событий. Это будет действительно интересно читателю, занимательно и поучительно. Да и вы ничего на потеряете, если согласитесь прочесть мою рукопись, состоящую из тридцати печатных листов. И хочу уточнить, что, читая литературу, к сожалению убеждаюсь, что ничего кроме пустоты и разочарования порой не остается. Кое-кто просто хочет заработать на этом. Меня же коробит от подобного нечестного отношения к людям, кто помогает напечатать и кто потом читает. Поэтому я смело и честно обращаюсь к вам. За мою рукопись **Вы НЕ БУДЕТЕ КРАСНЕТЬ**.

С глубоким уважением. Е.В.Серякова

Дорогой Андрей Донатович!

...Мы с Вами оказались крепко и неожиданно связаны редчайшим словом — мы оба Донатовичи. Я не могу поверить, что это просто так...

Ваш Сергей Довлатов

Комментарий Бальзана:

Господи! Как удивительно устроен мир! Какое, казалось бы, мне дело до давным-давно померших в безвестной эмиграции двух Донатовичей, а сердце перевернулось. Наверное, потому, что я — Донат, Донат я! Никогда за всю жизнь не встречал другого с таким именем. И сквозь какие тяготы протащило меня это странное наименование! И во дворе меня дразнили все детство, особенно, когда собачка Дэзка завелась у соседей, а тут меня мама из форточки домой зовет: «Дэстик! Дэстик!» — страшно вспомнить. И на службе частенько происхождением моего имени интересовались, а в глазах читалось: не с дурной ли целью вникаю я в русскую литературу, не происк ли это какой? И всю жизнь я всем растолковывал, что «Донат» означает «дарованный», и называли меня так потому, что у родителей очень долго не было детей и появился я, когда они совсем уже отчаялись и матушка все глаза проплакала.

И стали мне эти средней руки братья-писатели словно дети мои. Да и то сказать — недаром же я словесник! Разве не литература мой единственный дом? И хотя я только что говорил, что Синявский весьма подозрителен, от чего не отказываюсь, но узнал, что он — Донатович...

Сын мой! Что же ты над собой сделал? И кто с тобой? Посмотри — ведь все хотят писать! Все требуют печататься! И обязательно вести за собой. Есть о чем подумать...

Глава восьмая.

Опыты по отделению грешной души от тела

«...Когда мы на краю слишком затянувшейся жизни медленно подбираемся к злокачественному финалу, нас почему-то не оставляет чувство правоты совершившегося. Не в том смысле, конечно, что ты ни разу не ошибался. Нет, промахов и заблуждений было достаточно. Но я не встречал человека, который, покопавшись в собственной памяти, не говоря уже о душе, не подыскал бы себе оправдания и смягчающих вину обстоятельств. Что-то вроде магнитного поля, электрического вихря

вокруг неотвратимой стези владеет нами и клонит стрелку компаса, по которому нам направляться. Стрелка, случается, едва трепещет во мраке. А бывало, только проснешься, и с ночи уже известно, куда тебя тянет нелегкая. Мы словно не живем, а летим над небеспеченной жизнью, следуя предрешенной орбите, варьируя детали, сбиваясь, попадая впросак и все-таки придерживаясь избранного маршрута, придуманного не нами, увы, и порою невероятно запутанного, но отпущенного нам и не дающего уклониться от поставленного свыше задания.

На каторге, лет сорок назад, посреди убийц и грабителей я что-то не припомню раскаявшихся преступников, а нераскаянных — черное море. Не то чтобы не сокрушались в содеянном и ни в чем не упрекали себя. Но каждый, как плохой ученик, находил себе душеспасительную лазейку в виде дурного общества, государства, семьи, страны, истории, жизненных условий, в которых ему персонально не повезло. В крайнем случае «черт попутал». Сколько татуировок по зонам: «Нет в жизни счастья!» Помню, один амбал, объясняя свои злодеяния, воскликнул в амбиции на горемычную участь: «Пусть будет стыдно Господу Богу, который послал меня на эту проклятую землю!» О, это целая философия!..

Ну, а мне подфартило. Мне почему-то исключительно, неправдоподобно везло. Всегда выкарабкивался. Просто против всех прогнозов и законов природы. Сколько раз я себя уговаривал: не испытывай судьбу! Это добром не кончится! А удачи, как нарочно, все сыпались и сыпались. Это временами пугало, интриговало, загоняло в тупик, и я начинал упускать шансы, проигрывать, безумно рисковать, шел наобум, ва-банк, вслепую, против течения, наперекор логике, а в итоге, смотришь, куда ни крути, снова кум королю. Но чем больше валили успехи, тем назойливее и тревожнее на душе иной раз скребли кошки.

«О, как на склоне наших лет...» Перебивы ритма. Сердце замирает. Откуда такая милость? Зачем поблажки, подарки? Еще бы: молод, хорош собою, жена-красавица, и впереди целая вечность. «...Любви последней, зари вечерней!..»

Лишь один авантюрист, до конца раскаявшийся, как-то со мной пересекся на моих неисповедимых путях. Кажется, его звали Феликсом. Если, подобно мне, это не было у него всего лишь перелетное звание. Он держался особняком, отшельником, ни с кем не заговаривал, но слава за ним гремела по зонам дай Бог каждому. Авторитет, бандит из бандитов, переполнен собою и внезапно ни к селу ни к городу бестолково раскололся... Ну, тогда святых среди нас не было. Суровая обстановка. Так что ж он учудил, змей? Написал покаянку в оперчасть. Будто за ним числится еще одно нераскрытое мокрое дело. Весьма и весьма сомнительное, липовое изнасилование с убийством. Это был прямой, спокойный расчет на вышку. И вышка от него не ушла. Допрыгался, доигрался... А теперь я не знаю, кто маячил передо мною, как враг, наподобие соблазна — окаянный правдоискатель или сам сатана? Разное о нем болтали в бараке: что, дескать, просто-напросто подменил судьбу, присвоил чужие заслуги, взял на себя лишнее, чтобы поддержать репутацию; либо прикрыл ближнего, слишком уж крепко засевшего — словом, сдурел! — что он самоубийца, которому жить надоело. Много было разговоров на его счет. Что он — искушение, посланное из ада самой справедливости в мире. Разве сам Иисус Христос не висел незаметно над нами, как немое взывание к небу?..

Ну, а с Юлинькой поначалу было все в аккурате, в ажуре. Все, Валерий, о'кэй. Молодожены. В изолированной, по московским стандартам фешенебельной квартире, где Юлинька первые дни обмирала и закатывала глаза. Никто не отвлекает. Нежные междусобойчики с утра до вечера. Сердечные объяснения с ночи до утра. Я, допустим, от всей души спрашиваю: — За что ты меня полюбила, Юла? А Юла перебивает: — Нет, признайся, за что ты меня осчастливил, мой заветный Валерочка? Мой птенчик, мой голубок. Вечные сантименты, постоянные эпитеты, начинай сначала. Короче, — сказка. И вдруг, проснувшись в одно ненастное утро, она лепечет по-детски:

— Горобчик, будь другом! Скакни за кефирчиком...

Оказалось, с Украины. Из Киева. Впрочем, какая разница — из Питера или из Киева? Все мы с окраины. Начитанная барышня, а несколько диковатая. Не беда, воспитаем царевну. Отшлифуем, выдернем сорняки и осоты из черноземной почвы, на которой она расцвела, словно королевская лилия, и впитала с младенчества ненормативные диалекты. Думалось по первопутку: обдуем. Всему научим. И по-немецки и по-французски. Нетрудно. Покуда между нами взаимное притяжение и нежности неистощимый родник, все это рисовалось безделицей, каким-то бильбоке

в манере Бердслея. Подумаешь, горобчик, скакни за кефирчиком! И не таких замарашек обращали в ваше сиятельство. Несколько уроков столичного лоска, кое-какой эстетики — и станет как бриллиант. Что твоя Изольда.

Ах, Изольда! Сквозь толщу времен встает и одевается тканью твой бесподобный образ. Совершенно незамутненное, эфирное создание. С миниатюрной родинкой над чуть-чуть приподнятой, обворожительной верхней губой. Как сейчас помню. Уникальная родинка. Не из тех, что залетела в Европу из Персии либо из Турции с тучей искусственных мушек, усеявших лица красавиц, когда чувственные мушки наносились во множестве с обдуманым расчетом, вроде гороскопа. Мушка над верхней губой звучала не то чтобы заманчиво, но чересчур простодушно: «Желаю целоваться!» Иные знатоки косметики находили на милом предмете все знаки зодиака, а если верить астрологам и стихотворцам, обнимали в лице возлюбленной целое звездное небо. На этом затейливом и слишком уж парфюмерном фоне робкая Изольда была тогда воздухом. Была, что называлось, ангелом во плоти. И повадки не от мира сего. И единственная, неповторимая, каких не бывает, родинка. Милый призрак, сотканный из любви и невинности...

Юлия — другая. Никакого сходства. Феноменальная память. Усидчивость. Куда собраннее и одареннее. Музыкальнее. Больше всего на свете любит стихи и сказки. Не считая, разумеется, своих великолепных растений и, в частности, чудодейственных трав, в которых она, начинающая студентка, разбиралась, по-моему, лучше специалистов. Пускай и проскальзывает в ней иногда образ далекой Изольды, в этом я усматриваю скорее мою вину, мои несбывшиеся мечты, о которых тосковать так же бесполезно, как грезить о потерянном рае. Нет, не воздушную невидаль, на которую боишься подуть, а блаженное обновление и верную подругу сулил союз с Юлией. Истина и любовь всегда нежданны-негаданны и потому, вероятно, редко совпадают. И я настолько увлекся моей юной волшебницей, что часами следил тени ее улыбок под нищим зодиаком. На скатерти, на медном подсвечнике, на стульях, на старых литографиях, которые развесил по комнатам, Дюрера и Свешникова. Из дорогих воспоминаний. Я знал когда-то этого Свешникова. Пересекались в лагере. Химерическая эквилибристика мыслей, а на стене прижились, будто фамильные гербы и медали из дальних странствий в усадьбе, увековечивая скудельное время. Как всем нам приходится к месту поэтические эпитафии!.. Божьей милостью рисовальщик. Бедные, бедные люди...

А Юлия, что ни день, улетала в Тимирязевку, за тридевять земель. У меня не было и тени малейшего к ней недоверия. Пусть набирается ума полегоньку. Я был доволен стараниями своей примерной, провинциальной девочки. К тому же в ее отсутствие я взялся восстанавливать прерванные коммуникации в доме. Возобновил опыты в лаборатории на втором этаже, в башне, остерегаясь, однако, притрагиваться к наркотикам. Мне требовалось превзойти сложнейшее искусство прохождения сквозь стены. На первых порах я опасался застрять...

Смотрю, вы надо мной потешаетесь. Видали, мол, таких учителей человечества! Дескать, переселенец с приливом омоложенных сил берется исподтишка за старые забавы. На крыльях фантазии, болван, готов биться лбом в стену. Недаром девица с утра рвется в Тимирязевку, к практике, к доступным и остроумным избранникам... Ошибаетесь, милорды! От меня не дождетесь, чтобы из-за ваших пошлых смешков, из-за вашей, как говаривали в лагере, баланды я, как фраер, подставился. Опущу усталые веки, оторвусь от пера, зевну, потянусь, расправлю суставы, встану из-за стола, — и вы исчезнете. Мой секрет не ваш секрет. Моя тайна не ваша тайна. Лишь в глубоком сне я сам едва улавливаю, что все это нам обещает. Вам, профанам, вообще не понять, о чем я здесь. Для себя одного я веду эти беглые речи. С глазу на глаз! А если к вам иногда обращаюсь в виде фигурных ригурнелей, то, простите, не ради унижительного общения с вами, а всего лишь для гибкости своего вольного слога. Чтобы не окоченеть и не завязнуть в привычной стилистике. Как в кирпиче.

Да, главная задача сейчас — как нам пройти насквозь, а потом уже позаботимся, чем удивить человечество. Так вот к помощи опия или эфира я больше не прибежал. С меня хватало одного, очень раннего, еще до Юлии, и крайне, признаюсь, неудачного испытания. Что уж греха таить. Тогда я жил под другим именем, только-только освободился, не имел ни друзей, ни знакомых и страстно, до галлюцинаций, как это бывает в неволе, затосковал по женщинам. А с вами, господа, такого никогда не бывало? Вы под замком не сидели?..

Сказано — сделано. Руки под голову, и фюйт: вылетаю из тела. Прямым, как последний гимназист, в городские дамские бани. Однако не ждите от меня какой-

нибудь неприличной клубнички. Возможно, я перебрал дозу, да и мой истощенный состав был не вполне расположен к столь крутым перелетам, но купальщицы на сей раз мне открылись далеко не в той живописности, что мы наблюдаем в музеях. Предвкушая созерцать прелестниц в астральных измерениях, я угораздил если не в самый ад, то в близкое к преисподней чистилище.

Вы видали раскладной анатомический атлас? В моем поучительном случае уже все равно какого пола и возраста. С той, однако, немаловажной поправкой, что в атласе все неподвижно и скрупулезно размечено, а там, в капище, все кипит, все пульсирует и дымится, как в прожорливой огромной реторте взбесившегося алхимика. Все тычет и толчется. Виден желудок. Видна даже, извините за эскизность и неуверенность в геодезии, поджелудочная железа. Селезенка, легкие, мочевой пузырь. А сквозь всю требуху перезваниваются тазами и шайками нежнейшие ребристые позвонки скелета... Сущие фурии. Так что никаких интересных субреток и томных матрон вы там не разглядите. Мелькает что-то душное, склизкое, то ли в мыле, то ли в пене, то ли в испарениях собственных размягченных конечностей. Не толкуя уже о туше, о туловище с содранной кожей. И я дунул, дай Бог ноги, от этих откровений. Словно из живодерни.

Неделю после зловещего эксперимента не мог и смотреть на дам. Да, на тех в пух и прах разодетых и неприступных богинь, что важно плавают по Тверской с брезгливыми, престижными минами. У каждой под пышным покровом мне виднелись лиловые неприличные кишки. А то и череп мерещился, не считая разнообразных фибром, подозрительных полипов и нездоровых уплотнений под кожей. Всю эротику как рукой сняло. И я радовался тому единственно, что мне тогда, в пограничной стадии, не было дано ясновидение.

В еще более отдаленном, полузабытом прошлом, в Париже, в плюсквамперфекте, я знавал одну немолодую особу. Это была образованная теософка, наделенная тонким умом и проницательным даром, который с годами довел-таки ее до помрачения рассудка. Дар этот все развивался и рос, к нашему изумлению, словно зловредная опухоль, вскормленная уникальной способностью. Мадам прозирала насквозь все стены и все двери. Бывало, дети ради пустой забавы теребят родительницу: — А кто к нам, драгоценная, с визитом у порога? И во что одет? Никакого затруднения. Всегда угадывала, и всем уже надоело, что интеллектуальная маменька все загодя знает. Сама неподвижная, рыхлая, а с кресел не подымаясь, смотрела, как на экран, через все перегородки и была в курсе того, что происходит снаружи на белом свете и в полутьме помещений. На довольно-таки солидной дистанции, между прочим. Только с некоторых пор, с известного рокового мгновения, ей сделалось невыносимо смотреть ни вверх, ни вниз. Бездна разверзлась.

Предупреждаю на ее примере: не вздумайте без подготовки, без духовного руководства злоупотреблять прозрениями! На потолке сверху бегают растрепанные чумички. Довольно фривольные. Без стеснения. Ни о чем не заботясь. Беспардонно слоняются, так что страшно воздеть молитвенный взор к небесам.

Ловеласы, как бесы, подыгрывая местным наперсницам, лезут куда ни попадя. Никакого обхождения с женским полом! Нет чтобы объясниться в чувствах. Будто так и надо, словно их звали, разбойников.

Поднимемся в мансарду. Пугливая одалиска, воровато озираясь, расположилась на горшке. Глаза бы мои не глядели!

А внизу — Бог ты мой! Голова кружится. Все — под рентгеном. Боязно повернуться. Никакой обороны, опоры. Каменные балки и чугунные перетяжки едва мерцают. Вот-вот упадешь...

Любящий супруг перевез семейство на безопасный уровень — вровень с землей. И тут нашу наставницу настиг последний удар. Мало что инфекция унесла младшенького, который вчера еще от нечего делать донимал у окна неуместными расспросами: «Шер маман, угадайте, кто к нам в экипаже торопится?..» На другом конце кладбища, за столбами и памятниками, под слоем венков и дерна она узнала своего покойного мальчика. Ни укрыть ненаглядного, ни отогнать видение страдальца уже не могла. Подземные процессы едва-едва начинались на глазах обезумевшей матери.

Притча, если хотите, но не завидуйте ясновидящим! Поверьте свидетелю. Мучительнее состояния иной раз невозможно представить. Как мне поспешили, однако, телеграфировать в Петербург парижские единоверцы, мстительная судьба не без милости. Несчастливая занемогла и, к счастью, недолго маялась. Слава Богу, поставлены между нами надежные, несокрушимые стены! Пускай в виде смерти...

С опыта в банях я вернулся контуженным. В довершение приключений не смог войти без усилий в собственный физический облик. Что-то в моем составе отказало. Возвращаюсь домой, плаваю над грешной кушеткой, где покоится мое порядком уже залубеневшее тело. В той же пропозиции, как с ним всего на четверть часа расстался. Пикирую ласточкой — лежит! Ну, валяется совершенно безразличное ко мне мое родное естество и ни бе ни ме. Руки под затылком, на физиономии вата с какой-то высохшей уже, пока я прохлаждался с бабами, болеутоляющей дрянью. И вельветовые брюки те же самые на мне, что каждодневно с утра натягиваю за неимением пижамы. Кричу ему — по исконной военной побудке: «Подъем, лейтенант Новиков! Тревога, начальник!» Никакой реакции. Нет входа! А я-то — снаружи! С ужасом думаю: а может, из-за дурацкой порнухи, из-за подлой этой экзотики я собственное имя забыл и никто уже не откликнется, не напомнит и не подскажет?

Может, я вообще и не Новиков совсем, а доктор Блюментрост, предположим? Или еще какой неведомый п..дотрадалец, что в моих преклонных летах, конечно, безответственно и непростительно?

Я уж и так и сяк. С разных сторон прикладываюсь. Слышу — еще дышит. Обрадовался. Пусти меня обратно, стучусь. Скулю, как бездомный пес. В себя! К себе! Хочешь, я сделаюсь человеком и начну жить по-другому? По правилам. На блядей по сторонам и смотреть не стану. Ну их в корыто! А вдруг я никогда не вернусь? А так и буду витать в пространствах над своей отравленной ваткой? Без имени. Вне времени... Перепугался насмерть. Вот это наглядный урок! Не так ли мы все, читатель, чуть нас припекло, колотимся, обещаем Бог знает что, готовы кусать себя за локти, чтобы остаться в живых. А не тут-то было! Не помню, как долго я бился вокруг да около собственного тела. Измотался вконец. Отключился пачисто. А как очухался, смотрю, в окне уже богоподобный закат догорает...

Тотчас зарекся пользоваться наркотиками. Выпил в знак избавления немного зубровки, извлек походное зеркальце из карманчика армейского еще рюкзака и сплюнул. Еле-еле узнал. Там трепыхалась мерзкая, помятая, совершенно не похожая рожа.

«Ну, ты даешь, Новиков! Чуть не перекинулся на тот свет, проходимец, в погоне за прекрасным!» И давай листать занюханного Парацельса из дешевой библиотечной серии «Жизнь замечательных людей». Какие еще пособия вы нашли бы под рукой в Москве при нашей тогдашней бедности?..

Прошло много лет. Сижу это я себе, нога на ногу, в отдельной квартире, ни о чем плохом не думаю, освоился, опять на коне, перелистываю Парацельса. Стариннейшее, между прочим, издание на латинском языке, на веленовой бумаге. С форзацем! С величайшим трудом выманил у фарцы за безумные тугрики. Насколько все-таки безопаснее иметь дело с душой, нежели с низкопробной плотью. Душа — как алмаз. Душа — непроницаема. Правда, не всегда...

Мои размышления были прерваны неугомонной Юлой, свалившей мне на голову кучку однокурсниц. Наверное, шел уже второй или третий год нашей совместной жизни, спокойной до срока и достаточно уединенной, поскольку я не любитель больших компаний, и потому вторжение молодого выводка мне неплохо запомнилось. Представился: «Иноземцев», — и не раскрывал, кажется, рта, пока босая команда неумеренно ликовала и прыгала по квартире, уминая наши запасы. Я не вникал. Лишь по ходу действия улыбался где надо и поддакивал. Благо, у них на носу зачеты, и, значит, перекусон не затянется. Свора окопалась, распустила хвосты, побросала сумки куда попало и тараторила вразброд, без остановки, бесцеремонно перебивая друг друга.

Нет, я не в претензии. Мне было занято за ними исподволь наблюдать, и я, шепнув что-то нежное Юлии, ушел на цыпочках на верхотуру, в башню, кое-что записать мимоходом. А по дому уже замелькали тетрадки, словари, шпаргалки, и пошла накрутка к экзаменам, ради которой орава к нам и нагрязнула гостевать.

Возможно, это мне только помстилось, но меня не покидало тягостное чувство, что вся эта тотальная, до обморока, болтовня питалась не живым интересом к предмету исследования, не тщеславием, не кокетством, не жаждой покрасоваться и выставиться, а исключительно сознанием своей неполноценности и безысходного одиночества. Заставь их замолчать, — и они или погибнут, как рыбы без воды, или сойдут с ума. Будь у них любовник, муж или ребенок, они бы так не галдели. Помалкивает же Юла при всей неумоимости и силе своего решительного, как пружина, характера, лишь изредка вставляя короткие, содержательные фразы, вроде: «Галя,

передай тарелку», «Попробуйте пирог», «Угощайтесь чем Бог послал». На что некрасивая подруга Нюся с апломбом язвительно возражала самой себе, что крабы она не ест, икру она тоже не ест, помидоры тоже, а вот то-то, то-то и то-то предпочитает и ест всегда с преогромным удовольствием потому-то и потому-то. Следовал неудержимый преискурант блюд и специй, которые жаловались или презирались, включая те бесчисленные дары природы, которых вообще не было на столе.

Боже, зачем нам все это знать? Сейчас, немедленно и с развернутыми примечаниями! Мы и без того перегружены сверх меры ненужной информацией. А Нюся, умножая избыток, словно сознательно копала яму под нашу преувеличенную, обалдевшую цивилизацию. Поначалу могло показаться, что Нюся обжора, гедонистка, разбирается в соусах, гастрономии, сама отличная повариха. Ошибаетесь, друзья! Занятая речами, Нюся клюнула какие-то чипсы, отведала чуток высокосортной колбаски, запила ординарным яблочным соком и от переполнения мыслей по этому поводу храбро продолжала ораторствовать. Обычное пустословие? О, нет, не так! Подобных девушек миллионы. Они сражаются за свободу слова, за принципиальное право беспрепятственно изливаться. Неизвестно о чем или о чем придется. Им важно застолбить словами площадку, а коли повезет, то и все пространство вокруг. Борьба за выживание!

С другой стороны гостиней послышался неприкаянный голос Галочки. «Галя, передай тарелку», — сказала, если помните, Юлия, не имея в виду ничего дурного. «Позвольте же хоть слово вставить!» — вцепилась Галина в тарелку, будто ей отказывали в ответе оппоненту, держа на прицеле, конечно, свою противницу Нюсю. И давай садить про тарелки, перекрикивая врагиню, да как, где и когда, и какие бывают тарелки, какого ферейна, фарфора, фасона, формата, фагота... Неистовая Галина обрушила на супостатку весь посудный магазин и погребла бы ее под осколками фибергласа, фиаско и фаянса, когда бы та не метала, отчаянно отбиваясь, неиссякаемые каскады встречных деликатесов.

Да, амазонкам пора замуж, вздохнул я про себя печально. Не то вяжутся сдуру в политическую борьбу и наломают дров. Но где подберешь им достойных кавалеров? Ведь не пара же застенчивых мальчиков, бесцветных и безымянных настолько, что они как-то растворились среди неукротимых девиц, способна уравновесить их буйный темперамент? Хлопцы отрешенно безмолвствовали и налегали на белый хлеб. Должно быть, из деревни. Робеют...

Впрочем, на сходняке, помимо молчаливых парней, как-то необычно держались еще две изящные тимирязевки, которых я с первого взгляда почему-то окрестил мысленно курсистками. Пушистенские, малорослые, почти крошки, глазастьенькие, одинаковой дымчатой масти, они и наряжены были в подобие униформы, как подчас одевают детей-двойняшек. Нет, платья у них были разного кроя и лада, но цвет! цвет! Желтая лента на мордочке у первой и желтенькая оторочка где-то на обшлаге у второй создавали ощущение тайных опознавательных знаков. Обе, с позволения сказать, девочки нажимали на закуску, выбирая без лишнего шума лакомые куски и аппетитно облизываясь. И все время шушукались, словно обнюхивая друг друга. Шепот хорошеньких заговорщиц не достигал меня, сколько я ни заострял внимание на эти неопознанные объекты. Расколдовать незнакомок мне никак не удавалось. Все заглушали гвалт и стенания сражавшихся между собой Галочки и Нюси.

— Ну как тебе наш цветник? — спросила Юлия, заглянув на минутку в мою верхнюю резиденцию. — Ты не очень утомился? Мальчики уже ушли. А девочки еще занимаются...

— Все было о'кей! — воскликнул я почти искренне. — Во всяком случае мне давно не было так интересно.

— А как наши русалки? Не правда ли, очаровательны?

— Ты кого имеешь в виду?

— Галочку и Нюсю, естественно. Как ты не понимаешь! Еще говорят, что писатели наблюдательны. А у тебя все мимо...

— Они о чем-то горячо спорили и чуть не поругались. Они что — ярые конкурентки? Вечно соревнуются? Враждуют между собой?

— Ты с ума сошел! Галина и Нюсенька — закадычные подруги. Водой не разлить. А если громко произносят слова, то это у них просто манера такая. Без ложной скромности. Ничего страшного. Правда, мне больше нравятся девочки, на которых ты не обратил внимания. А еще писатель. Котова и Котовская.

—

Глава 8 (продолжение). Кошачий вальс (2)

—!

— Как ты сказала?! — я так и присел.

— Котова и Котовская.

Вот и весь разговор, а сердце разбилось. Лично у меня он переломил эпоху. Как часто мы страждем, не улавливая, что же такое случилось. Почему ни с того ни с сего расстаются любящие супруги? Отчего народ пошел на народ? Государство на государство. Земля расселась и пошатнулась? У меня пока что нет других объяснений, чем кошка перебежала дорогу. Скажете — пустяк. Но на таких пустяках и держится, и вертится, и готова сверзиться в пропасть вся мировая история.

Что я сказал особенного? Чем оттолкнул и как огорчил Юлию Сергеевну? Перечитайте, умоляю, вышеприведенный текст. Ничего вы в нем не найдете, кроме обычного, мирного, семейного диалога между мужем и женой. А между тем там прыгают уже и перебегают дорогу странные создания с прозрачными именами — Котова и Котовская. И отнюдь не сестры-двойняшки. Будто бы с разных концов России спохватились учиться курсистки. Держи карман шире. Так я им и поверил. Курсируют по орбите, колесят по всей стране, а вещички-то пропадают... Вот только что положил на подоконник самопишущую ручку. Глядь, а ее уже нет. Как в воду канула!..

Но давайте по порядку. Не надо нервничать. Во-первых, я не держусь и никогда не утверждал голословно, что они переодетые кошки. Подобные сплетни оставим Лафонтену. Тут не буквальное, физиологическое родство, а чисто иносказательное. Хотя, рассуждая здраво, почему нельзя допустить — исключительно в виде гипотезы, — что в мире появилась новая порода — полулюдей-полукошек? Этаким инвариант промежуточной стадии, усвоившей естественные достижения обеих ветвей и семейств. И другие планеты здесь ни при чем. К чему нам крайности? Вполне земным способом. Даже Дарвин, помнится, признавал мутации. С другой стороны, лорд Бульвер-Литтон, Папюс и Ницше, совершенно иными каналами, независимо друг от друга, добрались до того же открытия и возвестили нам приближение пятой, будущей расы, отличной во всех отношениях от нынешнего затишья.

Разумеется, не обошлось без фантазий и всевозможных надстроек, искажений и наслоений. Чего стоят, допустим, японские рассказы (и здесь я усматриваю реликты желтой опасности) — о сказочных лисицах-оборотнях! Версия поэтичная, но маловероятная и не достойная нашей эпохи. Скорее не лисы, а кошки умеют, прокладывая себе дорогу, превращаться в самых натуральных мужчин и женщин. Не отличить! Особенно в суете и в толпе. Иные ухитряются даже просачиваться сквозь стены...

Во-вторых, я никогда не питал по кошачьему адресу никаких предрассудков. Никакой антипатии или аллергии, и вправе судить объективно. По мне, любая кошка добропорядочнее собаки. Не говоря уже о людях, от которых в жизни я много-таки натерпелся. Это скорее неблагодарные кошки первыми мне изменили. Они вообще склонны видоизменяться, и, может быть, в этом главное их достоинство и непреходящее очарование. Вечная метаморфичность, заложенная в основу их породы. Если хотите знать, я где-то сам такой же, как кошка.

Полюбуйтесь: какая сногшибательная быстрота реакций! Артистическая страсть к перевоплощениям и невероятная игривость ума и тела. Увивается проказница, словно души в тебе не чают. Но при всем том глядит исподлобья и витает интеллектом черт знает где, живет недоступными нашему уму побуждениями, не испытывая к нам, казалось бы, ни малейшего расположения. Самое близкое к человеку и наиболее непостижимое и отчужденное существо. Одновременно. Самое царственное и самое вороватое. Податливое и коварное. Чистоплотное и блудливое. Тишайшее и бунтующее. И самое, я сказал бы, кажущееся. Диапазон возможностей кошки, ее эмоций, диких капризов, внезапных качаний из крайности в крайность огромен и непредсказуем. О мыслях, о стройной логике мы покамест не вправе говорить. Это все еще терра инкогнита. Смотришь, свернулась клубочком и вечно спит или грезит о чем-то запредельном. Мгновение, и ее уже нет. Исчезла неизвестно куда. Как сквозь землю провалилась. Не зря многие ведьмы обращались при случае в кошек. А ведь я толкую пока что о самой тривиальной и примитивной породе из числа этих незаурядных зверей, не касаясь их дальнейших способностей, поистине неизмеримых, на путях гибридизации и позднейшей эволюции. Будущее, безусловно, принадлежит этой малоизученной расе, высшей по сравнению с теперешним человечеством.

Бесстрашный прораб Игнат, славный ремонтер Кошкиного дома, еще до воцарения Юлии поведал мне приватно за ужином, что у него в тесноте, в бестолковой коммуналке, жила и до сих пор процветает дивная ангорская кошка. Дети ее обожали, дворовые псы побаивались, а сосед Василий Иваныч, социалист и отставник, на дух не выносил. То хвост на общей кухне норовит прищемить сапогом, то пихнет ненароком, а то без повода обзовет нехорошим словом, какое и не всякий человек стерпит. А раз настолько обозлился на Божье создание мерзопакостник, что в мешок ее, за плечо и улюлю на электричке к себе на дачу. За сорок верст от столицы киселя хлебать. Искоренил Василису. Пропала красавица. Поминай как звали. Однако охальник из суеверного страха все-таки поостерегся тут же, на месте, пришибить невинную тварь. Запер в дачном чулане на хлеб и воду. Выжидает. Подсчитывает. Через несколько суток заглянул в чулан: не сдохло ли животное, а Василиса прыг и пулей на ближайшее дерево. Разгоряченный отставник, вспомнив молодость, спьяну было за ней. Ну, думает, убью потаскушку, и ничего не будет. А та с нашего Василия Ивановича, с высоты, внимательного взгляда не сводит. Гипнотизирует. Подводя итоги, бухнулся-таки барыга и угодил в госпиталь с переломом обеих лодыжек и тяжелым сотрясением мозга. Так и надо подлецам, и ничуть не жалко. Как поется в песне: «Нас не трогай, мы не тронем, а затронешь, спуску не дадим». Народная мудрость... Что же, спросите, между тем происходило с нашей проницательной Василисой Премудрой? А вот что. Вы мне не поверите, Валерий Густавович, но ровно через две недели с момента умыкания Василисы Премудрой является к нам на Каляевскую. Тощая, ободранная, перемазанная вся, краше в гроб кладут. Легко сказать, через всю Москву притащилась. Да еще почитай сорок километров лесами и полями. Это сколько же одних автострад и железнодорожных линий довелось ей одолеть, каких только капканов избежать и пережить! Трое суток спала, как суслик, после своих походов. А как выписался скандалист из больницы, я взял его за грудки и тихо сказал: «Угомонись, Вася. Ты меня знаешь. Если ты еще раз, сволочь, кошку хоть пальцем тронешь, я не только вторично твои руки-ноги повыдергаю, я душу из тебя грешную выну и шкуру твою отставную спущу!» С тех пор он Василисе в благодарность за науку аж в пояс кланяется и фуражку перед ею сымает. А та и в ус не дует и косыми на него не глядит.

Безыскусный рассказ Игната — лишь миниатюрная иллюстрация той магической силы, действительно титанической, и могучих интуитивных способностей, какие русский народ, сам не в меру одаренный, знает и чувствует за кошкой. Недаром наш проницательный народ утверждает, что страшнее кошки зверя нет. Поэтому я решил не дразнить судьбу смешной и бесплодной, как показал отставной опыт, борьбой с кошачьим потомством. Не вернее ли попробовать ужиться с ними, найти общий язык и взаимную симпатию? Тем более что новые коллеги Юлии Сергеевны незаметно и вкрадчиво сумели втереться к ней в доверие и мало-помалу стали у нас завсегдатаями.

Теперь их отсюда не выкуришь. Не вызывать же полицию? Мне полиция не с руки. И потом — позорно! Не к лицу мне, вольному каменщику, трижды изменившемуся за последние годы в ходе метаморфоз прибегать к содействию блюстителей закона. Со стыда сгоришь!

Дайте сообразить. Против кого звать вооруженную силу? Против двух милых видных курсисток? Вдобавок добрых приятельниц хозяйки дома, которых она сама ласково привечает. Часами между собой обсуждают что-то ботаническое о разных цветах и злаках, и даже по латыни. Ботанику у нас еще никто не запрещал. Во всяком случае это намного полезнее, нежели амбициозная, чудовищная литературная братия, раздираемая небывалыми сварам и внутрипартийной борьбой писательских самолюбий. Недаром я за версту обхожу их становища, заседания и раешники и никого не приглашаю к себе из этой малознакомой масти, сколько бы ни мечтала моя обожаемая половина раздвинуть свой эстетический круг и превратить наш уголок в модный диссидентский салон. Уж лучше кошки, самые притом отъявленные и коварные, чем ночные бабочки из породы ахматовок и критические жилистые жуки-точильщики, всегда угрюмо ищущие, где бы пожить и выпить за чужой счет. Как известно, я человек, в общем-то, мирный, терпимый, если меня понапрасну не задевают. И не пристало мне преследовать курсистку из провинции. Все-таки в безумной войне пьяного отставника с мужественной Василисой Премудрой я внутренне нахожусь на стороне последней.

Правда, мне сделалось не по себе, когда впервые Юлия Сергеевна сказала, что ее недавних товарок, обеих! — и Котову, и Котовскую — тоже зовут *Василисами*. Вслух, конечно, я только заметил, что бывают же такие интересные совпадения, зву-

чащие в наши дни несколько рискованно и слишком многозначительно. Тем более что имя Василиса теперь встречается на святой Руси редко, а некогда, в греческом изводе, оно означало — *царица*. Царицей же в нашем доме навсегда останешься ты, Юлия, ввернул я комплимент напоследок, стараясь вместе с тем слегка предостеречь жену от опасной дружбы, чреватой большими потерями.

Обошлось гладко, но меня душило невысказанное. Я не сказал, что мне осточертели ее вертихвостки с мягкими повадками, что они гораздо кошмарнее голосивших напропалую девиц, и, может быть, при таком повороте наш дом, наше уютное логово неприметно и тихо обратится в западню. При нашем же невольном участии, вот что печально! Где не будет ни входа, ни выхода. Если эти бестии начнут проходить незаметно сквозь стены и ворошить исподтишка мои деловые бумаги, да еще им в подкрепление двинется по воздуху незримая армада лемурув, тогда, ребята, нам хана. Увольте жить под контролем усовершенствованного отродья!

Меня могут спросить потомки, сохранившиеся чудом в живых: почему же я не предотвратил грозящие нам бедствия? Зачем не рассказал немедленно жене хотя бы про свои внезапные страхи, сомнения и предзнаменования? Отвечаю как на духу. Во-первых, в тот момент я не вполне доверял собственным растрепанным чувствам. Я допускал, что все это мне только снится, что это галлюцинации, которые скоро исчезнут. Даже любящая жена не поверит, что кошки умеют проходить сквозь стены. Во-вторых, мне легче трижды умереть, чем быть смешным.

Вот так и началось медленное завоевание нашей крепости. Думаешь, века прошли с той тяжелой поры, а как взвесишь да подсчитаешь на пальцах — всего несколько лет. Мы уже были в осаде, подружки-лазутчицы уже дневали и ночевали у нас, а я все еще в надежде на примирение, на лучшее будущее пожимал пухлые лапки, похожие на маленькие подушечки со скрытыми под ними, неприметными коготками, лениво и глупо острил, как подобает барину, делал время от времени недорогие подарки и оказывал небольшие услуги. Мне не привыкать к лукавой и необременительной галантности. О финансах я тоже не беспокоился: как раз в это время потек живительный валютный ручеек, более или менее постоянный, меня переводили за границей, родные тиражи тоже немного подпрыгнули, мое имя приобрело некоторую известность, что неудачники путают с так называемой славой. За известностью я не гонялся, она пришла помимо моей воли и больше раздражала, чем радовала.

Особенно меня насторожили бестактные и назойливые вопросы, которые наши курсистки задавали не мне — чудаку, мизантропу и нелюдиму — персонально в лицо, а, как опытные шпионки, закидывали наживку через доверчивую мою Юлию Сергеевну. Под видом бескорыстных поклонниц они слишком часто проявляли интерес к предмету моих уединенных занятий и постоянно расспрашивали, над чем я сейчас так долго и упорно работаю и скоро ли осчастливлю своих читателей и читательниц новой книгой. Не хватало только, чтобы я поделился с ними, о чем я думаю. Они пытались проникнуть в мое подсознание, в мои заветнейшие мечты. А я думал о том, главным образом, как бы от них избавиться.

О, эти разведчицы, в отличие от людей, ничем не брезгают. Им хоть плюй в глаза — все Божья роса. Но и я не пальцем деланный и чуял взъерошенной кожей, как меня обкладывают. Это ведь независимо от ума происходит, когда постигаешь, что ты уже окружен и нет выхода. Понятно, через Юлию Сергеевну я громоздил перед ними новые баррикады. Говорил, например, что не имею привычки во всеулышанье благовестить о своих новых книгах, потому что суеверен. Боюсь, дескать, сглазить то, что еще пишу. Потом это разошлось сплетнями среди общих знакомых под видом обычных у писателя чудачеств и обросло подробностями анекдотического свойства. На каждый чих не наздравствуешься.

Мне было некогда, и я торопился. До книг ли мне было — написанных или ненаписанных, — когда жизнь и благополучие семьи уже висели на волоске? Экая важность: такой-то автор новый роман сочинил! От романов, от этих призрачных поступлений, на земле скоро проходу не будет. Зачем увеличивать народонаселение нашей планеты воображаемыми фигурами?

За оставшееся время я наверстывал упущенное. Первым долгом удостоверился, что Юлия меня все еще любит, и, значит, не все потеряно. Проник в ее мысли и сны, и от души отлегло. Там я был почти тот же самый, что и в начале наших нежных отношений. «И на шелковые ресницы сны золотые навевать...» Как это было когда-то — раз и навсегда — сказано!.. Начал проникать и в другие области, как вдруг посреди ночи почувствовал, что она, странно изогнувшись надо мной, то ли ко

мне приглядывается, то ли принохивается. Представьте шок, который я испытал. Пока я ее изучал, она, не проронив ни звука, меня исследовала. Вот это был афронт!

Лишь через несколько дней, не подавая повода к скандальной детонации, окольными каналами, я с грехом пополам уяснил, что же, собственно, ее занимало во мне, к чему она прислушивалась и принохивалась. Оказалось, что я разговариваю во сне и произношу уже много ночей подряд бессвязные тирады. О чем?! — спрашивается. О каких-то безбожных кошках, о какой-то крови, о Бермудском треугольнике, о буквах «о» или «а» в каком-то непроясненном значении. Ничего более определенного разобрать в моем ночном бормотании жена не смогла, но я уже все понял. Успокойтесь. Пока ничего страшного.

Дело в том, что примерно в это же время в нашем доме стали бесследно исчезать вещи, и это меня всерьез обеспокоило. Две книги пропало. Из числа замечательных. Воспоминания Вольфа Мессинга о самом себе и поучения Парацельса своим подмастерьям в латинском переводе, ин-фолио. Объемистая тетрадь, уже полностью мною законченная. Большой кусок из романа, который я все же писал независимо от обстановки, а не только притворялся, будто просиживаю над ним золотое время. Стопка документов. Несколько авторитетных вырезок. Не говоря уже о ножницах, скрепках, спичках, ручках и карандашах. Вечно все куда-то проваливалось.

— Да ты сам куда-нибудь затахторил, — миролюбиво возражала супруга в подобных случаях. — Я к твоим бумагам вообще не прикасаюсь. А наши Василиски (так Юлия называла лазутчиц) настолько тебя уважают, что и близко подходить к твоему кабинету робеют. Поищи у себя на столе. Или наверху — в мастерской. Надо быть аккуратнее. Ты слишком устал. Тебе просто необходимо чаще бывать на свежем воздухе. Делать по утрам гимнастику. Меньше курить. Сводил бы меня раз в жизни в кино. Вот у меня почему-то ничего не исчезает — ни в хозяйстве, ни в гербариях, ни в конспектах, ни в документах даже государственной важности. А бумаг, наверно, не меньше. Следи за собой. Как ты еще голову не потерял?!

Слушая ее lamentации, я терялся — то ли плакать над нею и над самим собой, то ли смеяться. Ни о чем не подозревая, Юлия именовала своих лицемерных дуэний так, что от одного слова — Василиски — кровь стыла в жилах. По душевной чистоте и наивности она ничего никогда не слышала о многосоставных монстрах. О лярвах, способных уничтожать все живое одним своим убийственным видом, взглядом или дыханием. Когда я ломаю голову над загадочной природой человекообразных кошек, над метафизикой наших грядущих владык и повелителей, перед моим мысленным взором встают три имени, три первообраза — Василиск, Химера и Сфинкс.

Понимаю, что мифы. Но ведь из наших вечных — до сих пор — сновидений...

Вы думаете, откуда взялся Бермудский треугольник в сонном моем лепетании? Эта дыра в антимир, в другое измерение. Я заподозрил, взвесив все аргументы и факты, не пытаются ли василиски устроить под нашей просторной кровлей что-то вроде военной базы и вместе с нею — непостижимой, бермудской дыры, куда и сбрасывают кое-какие вещички. Догадку хорошо бы проверить и, если удастся, поймать предательниц с поличным, непосредственно на месте диверсии. О, как они дальновидны и как они мстительны!

К тому моменту Юлия Сергеевна уже сделалась гранд-дамой с массой обязательств, я тоже изрядно постарел, жена разъезжала с инструкциями, докладами и саженцами; неразлучные василиски — Котова и Котовская — тоже вдруг улетучились, зацепившись, правда, где-то в Москве; и в то время как моя неутомимая половина циркулировала, я остался, наконец, на целый месяц один, хозяин-барин в беспризорном, опустевшем поместье. Закупил нежнейшую иностранную аппаратуру и начал вести скрупулезное физическое обозрение местности.

Несмотря на сложность механики, расчет был простой. С помощью звукозаписей и фотоэлементов объективно зарегистрировать, как и каким путем проникают сюда по ночам злокозненные невидимки и много ли их теперь собралось вокруг меня, а если нет, то почему и куда испаряется мое имущество. Вещи в доме продолжали исчезать — по одной, но перманентно. И если так пойдет дальше, то весь Кошкин дом постепенно разъедется, растворится и сойдет на нет. От нас ничего не останется. А за нами и от Москвы, оказавшейся в эпицентре событий. Кто-то же должен сопротивляться и прекратить этот гибельный процесс аннигиляции. И кто — если не я?

Установил приборы, завел секундомеры, перекрестился, сглотнул под коньяк проверенный порошок из аптеки и тотчас уснул, как и было предусмотрено. Давно так спокойно и сладко не почивал. Никаких кошмаров, никаких снов, — ну просто

спал, как сурок. Зато наутро содрогнулся от скорби и омерзения, когда просмотрел и прослушал ночные ленты. Нет, кошек в прямом смысле слова там не значилось. Незримые василиски своевременно улизнули и не попали в объектив. Но их с лихвой замещал и восполнял — я! Я — и при этом в состоянии какого-то глубокого, отрешенного от сознания сомнамбулического сна или транса, о котором, проснувшись, ничего не помнишь. Неужто такой сон навел на меня Кот-баюн?

Не приведи Господь и врагу видеть такие сцены. Я, нет, не я, скорее мой призрак, встает с постели и, не одевшись, с потупленным взором, начинает довольно толково обходить границы пустого дома, время от времени к чему-то прислушиваясь. Тишина в доме мертвая. В звукозаписи лишь поскрипывают половицы, тикают часы да раздаются его нечленораздельные проклятья по адресу кошек. Свет я почти повсюду оставил и теперь вижу, как он медленно спускается по лестнице, полукрыв глаза и ни разу не поскользнувшись, словно знает дорогу. Роемся за книжной полкой в гостиной, извлекает оттуда ворох давно пропавших вырезок, внятно повторяя фразу: «Баюн или Боян?» Несколько нараспев, с паузами, акцентируя ударения. Две-три электрические вспышки в гостиной, непонятно откуда родившиеся, проскочили мимо его замороченного внимания. Пых-пых, и как не было, но след на ленте отмечен. Снова ловит воздух и, ничего не поймав, снимает — вот негодяй! — Свешникова со стены. Однако не разбил, извлекая из-под стекла, а порожнюю окантовку повесил на прежнее место и умудрился проверить вслепую, не криво ли висит. Дальше спокойно и деловито разорвал на мелкие части прекрасную литографию и, не обронив ни клочка, пошел и спустил в сортир. Затем — к зеркалу и долго в него зачем-то смотрелся. Задрав голову, из-под опущенных век. Белесые, слюдяные зрачки. Погрозил себе в зеркало беспомощным кулаком, махнул рукой и завесил большим полотенцем. Поплелся назад на второй этаж и, словно о чем-то вспомнив, полез в аппаратуру, кретин, которую я так аккуратно расставлял и налаживал. Ну и, конечно, спалил пробки. Кино оборвалось, но звук на батарейках еще держался. И прежде чем он, вернувшись в постель, захрапел, слышу, как он же, пустотелый человек, в крошечной тьме еще вздыхает и молится за упокой души убиенного раба Твоего Валерия.

Все вышеизложенное происходило по очень четкому, будто заранее разработанному сценарию, а вместе с тем в движениях непробудно спящего мужчины сквозили такое бесстыдство и такая глумливая карикатурность, что мне легче говорить о нем в третьем лице, именуя призраком, нежели признать за собственное прямое подобие. Он крепко спал, но действовал вполне осознанно, и это сочетание порождало сверхъестественный гротеск. На его ужимки было неловко смотреть, они казались чудовищными в контрасте с полуопущенными и как будто навсегда опочившими глазами. Он производил впечатление наполовину ожившего мертвеца. Отсюда мое сравнение с призраком, с привидением, хотя ничего призрачного в нем не было. Он не растворялся в тумане, никуда не улетал и не дергался. Жесты его были точны и округлы, совсем как у меня. Но меня не оставляло чувство, что мой призрак действует не вполне самостоятельно. Словно сам черт водит его осматривать ночью свои пустые владенья. А может, и меня именно черт дернул снимать этот отвратительный фильм? И другое ощущение меня не отпускало. Что эта сонная пешка, эта марионетка, тетеря помнит о чем-то больше и лучше, чем знаю я.

Тщательно перебрав все отснятые кадры, я убедился, что, за исключением двух-трех подозрительных блицев, здесь нет эпизодов, для меня абсолютно загадочных и непостижимых. На каждую загадку я могу пролить дополнительный свет и все темные места расшифровать. Зачем, скажем, я снял и уничтожил превосходную литографию Свешникова, напоминающую мне дела давно минувших дней, преданья старины глубокой? Очевидно, мне желательно скрыть от Юлии мое печальное прошлое. К чему вовлекать мою милую в те баснословные времена и проблемы? Да и дурные предчувствия, затаившиеся во мне, тоже, возможно, сказались на экране. Ведь у сомнамбул сдерживающие центры плохо работают. Вот я и позволил себе делать ночью, чего не позволяю днем. Окантовку, конечно, придется восполнить какой-нибудь приличной картинкой, пока Юлия Сергеевна не прискакала в Москву.

Второй эпизод, казалось бы, самый сложный, я легко разгадал, пошарив на том же месте, за книжной полкой, и обретя там всего-навсего вырезки и комментарии из сказки Афанасьева (№ 215), где поминается, между прочим, неведомый Кот-баюн. Сравним с тем же афанасьевским списком (№ 284) и реконструируем образ, изложив своими словами... ..

... .. — Брысь, окаянный! Прочь! Вот я тебя сейчас!..

Надо мною сидел рыжий, усатый доктор Шрайберг и говорил слабой моей половине, Юлии Сергеевне:

— Не беспокойтесь, миленькая. Легкий рецидив. Нервное переутомление. Такое с нами бывает. Ничего опасного. Главное — покой. И никаких упоминаний о котах и кошках...

Они думали, я сплю. А я лежал, чисто вымытый, в белоснежном белье, похожем на серебро, и утопал в блаженстве. Должно быть, лепила Шрайберг сделал мне какой-то укол, и я испытывал такую признательность ко всем людям, каких только видел, либо помнил на своем долгом веку, что мне впервые в жизни захотелось умереть. Здесь, немедленно, на руках Юлии, которая спасла меня своим чудесным приездом. Я слабо соображал в эти смутные дни моего выздоровления, но тень помощницы и юной сиделки Насти, неизвестно откуда взявшейся, не вызывала у меня нареkania. Даже сумасшедший доктор Шрайберг, со своими усами и вечно дрыгающей ножкой, менее всего напоминал Кота-баюна, а походил на обычного задерганного тощего психиатра.

Но я не успел закончить, кто такой Кот-баюн из предыдущего абзаца. С кем бы его сравнить, с какой физической силой или природным явлением, чтобы это сделалось внятным современному читателю, который непременно требует что-нибудь осязательное? Я бы сравнил, поразмыслив, природу этого древнего и верховного существа с физиологией шаровой молнии. Та, как всем известно, залетев в помещение, способна обойти молчаливо застывшего столбом созерцателя и уплыть в окно либо, съездившись, в форточку, как ни в чем не бывало. А может и поразить, и спалить дотла своим наэлектризованным шаром, похожим сразу на золотое мохнатое облако и на воздушную кошку, прыщущую искрами высокого напряжения. Да, на верховную кошку, которая выгибается дугой, а то и воет по-загробному низким утробным голосом и раздирает душу на части, на клочья... От него же, от Баюна, с получеловечьим-полукошачьим обликом, рассыпаны по свету миллионы прекрасных сказаний. Мы безуспешно пытаемся их распутать, наслаждаясь, как дети, самым высоким искусством и самой изначальной поэзией, соприкосновение с которой порождает в душе чистейшее наслаждение, смешанное с предощущением смерти.

Нет, я не обольщаюсь, будто Кот-баюн изволил меня пощадить как своего собрата по духу или дальнего родственника. Скорее всего он меня не убил лишь потому, что предварительно убаюкал, погрузив в заколдованный сон через своих ловких наложниц. Откуда в противном случае в атмосфере московской комнаты эти необъяснимые вспышки-блицы, зарегистрированные на пленке в форме светлых шаров, похожих отдаленно на сгустки электричества? Не могла же молния, никого не задев, пролететь по Москве на таком низком уровне, как наш старенький особняк. Как раз в ту минуту, когда я извлек из тайника сказку о Коте-баюне. Да и погода была тогда совсем не грозная и не пригодная для обыкновенных шаровых молний. А потом, при свете дня, когда, починив пробки, я вспоминал и осмыслял эти странные кадры, он вторично явился — это же ему я сказал «брысь!», а вовсе не доктору Шрайбергу, — чем и поверг меня в затажной обморок. Скажете, опять совпадение? Но если так, говорит наука, то *истину необходимо искать*, и я ее нахожу в неопровержимой реальности страшного и сладостного, пронзительного Кота-баюна.

Баюна не надо путать с Бояном, певцом из бессмертного «Слова о полку Игореве». Последний ничем не замечателен, кроме нескольких, весьма и весьма неясных упоминаний о нем в том же «Слове». Я подозреваю, что Боян был вроде Оссиана, придуманного ранними английскими романтиками вместо Кошкиного дома. Словом, никакого Оссиана, никакого Бояна не было. Другое дело — архаичный и достоверный, мистический Кот-баюн, которого я видел и, теряя сознание, почувствовал на себе его вторгающуюся под кожу реальность. У меня отнялся язык, едва я назвал Баюна, помянув без нужды, с оскорбительным эпитетом, кинолентку с пустотами взамен заклётого изображения. И как только я не обратился мгновенно в золу, в обугленную корягу, в незавидную щепотку жалкой космической пыли? Чего еще ждать от источника всеобщего колдовства, которое зараз усыпляет и убивает, завораживает и сводит с ума? Хорошо еще, если поблизости от его разрядов выпадет осадок и прорастет по задворкам каким-нибудь чертополохом на сказочной московской земле. А если ни черта не останется? Меня спасло, возможно, сверхъестественное доверие к сказкам, к которым я влекусь вопреки опасностям. Сладостная смесь ужаса и упования.

А на зеленоглазого Кота-баюна в мировой лирике больше всего похожа лермонтовская зеленоглазая рыбка, поющая запредельные песни:

О милый мой! не утаю,
Что я тебя люблю,
Люблю как вольную струю,
Люблю как жизнь мою...

Не потому ли зов смерти в ушах у меня сливался с голосом Юлии, и я чувствовал себя маленьким ребенком, убаюканным в родной колыбели? Такого со мною раньше никогда не бывало.

Меня могут спросить придирчивые критики и любители подловить ближнего на скрытых и явных противоречиях: а куда же подевались Юличкины подружки, Котова и Котовская, которых вы напрасно боялись и шельмовали? Не есть ли это у вас просто мания преследования? И с помощью техники вы охотились, выходит, за самим собой? Думайте, что хотите. С некоторой поры я ни в чем не был уверен. Даже в своей бесценной жене. Имена своих кошачьих приятельниц, по совету осторожного доктора, она обходила молчанием, а мне становилось очевидным, что где-то здесь поблизости взрывоопасное поле, и я тоже не спешил нарываться и проникать в ее потаенные мысли, работающие как детонатор. Помалкивал в тряпочку. Предчувствия не сулили нам ничего хорошего. И события не заставили себя долго ждать.

— Объясни, милый, свою записку, — сказала Юлия Сергеевна, когда я вполне опомнился от обманчивого своего, послеобморочного состояния и мог самозабвенно работать. — Какой дракон и какие деньги?

У меня отлегло от сердца, и я рассмеялся:

— Всего-навсего шутка, Юла! Сейчас объясню.

Действительно, в страшной спешке, ликвидируя следы преступления, я оставил ей на камине записку на тот непредвиденный случай, если она почему-то преждевременно вернется в Москву, а меня не будет. Записка звучала, быть может, несколько странно, но была и по-житейски простой и понятной. Воспроизвожу дословно:

«Незабвенная Юла! Прилетал дракон, но я от него отбил. Денег ему, пожалуйста, без меня не давай».

Дело в том, что накануне, между ночью и обмороком, явился ко мне комендант (по-старинному — домоуправ), которого, чохом, вместе с милицией, фининспекцией и другими законниками, я по привычке именую драконами, и давай зудеть, что вечно у нас в доме перегорают пробки. Соседи, дескать, с утра пораньше донесли, боятся пожара. По глазам видно, какой у него внутри разгорелся пожар. Я ему бутылку в зубы — он и ушел. «Не извольте беспокоиться!» А я, как ретировался дракон, настрочил записку супруге на всякий пожарный случай, спрятал аппаратуру, снял полотенце с зеркала, а криминальную киноплёнку, разрезав на кусочки, бросил в помойное ведро. И только потом, наведя в доме идеальный порядок, взялся на досуге обдумывать незабвенного Баюна. Тут-то меня и сразил от большого напряжения обморок...

Выслушав без улыбки эту историю с массой, разумеется, пропусков и добавлений самого невинного свойства, жена повела разговор о другом, весьма обходительно огибая подводные рифы. Как мы все же боялись нечаянно ранить друг друга и как, значит, друг друга берегли и любили! Она говорила уклончиво, пугаясь собственных мыслей, что, может быть, мне стоило бы подумать о небольшом отдыхе где-нибудь на природе, на воздухе, в каком-нибудь санатории, где я смогу совершенно свободно гулять, писать, читать и делать, что душа пожелает. Никакой заботы. Никаких ограничений. Всю организационную часть она возьмет на себя. Но я-то понимал, куда ее клонит судьба и речь, исполненная самых благих устремлений. И чем внимательнее и деликатнее она выбирала слова, тем у меня на сердце делалось все беспокойнее. Сама не подозревая о том, она готовила мне участь бедного моего предшественника и однофамильца — психушку.

— Эти ласковые планы тебе Шрайберг нашептал? Ты давно знаешься с этим проходимцем?

— Что ты! Опомнись! Впервые его вижу...

При имени Шрайберга она зарделась и кинулась горячо объяснять, сбивчиво, но довольно логично, что Шрайберга вызвала Настя, по телефонной тетради у нас, на букву «Медицина», а Настю уж позвала в отчаянии на помощь сама Юлия Сер-

геевна, обнаружив меня лежащим без чувств на полу. Ох, уж эта Настя! Вечно суется, куда ее не просят... Я настойчиво попросил жену впредь никогда, ни при каких обстоятельствах не вызывать сюда доктора Шрайберга. Дескать, знаю понаслышке его сумасбродный нрав и ему не доверяю. Вопрос о моем санатории остался висеть в воздухе. Просто эту скользкую тему я никак не поддержал.

При виде моей расстроенной физиономии Юлия вдруг расплакалась.

— Ты будто не рад, что я вернулась домой...

Кажется, это были первые ее слезы в моем присутствии. Круг замкнулся».

Глава девятая. День рождения

«... и погрузиться с головой в девственный лес прозы. В отличие от стихов проза меня укачивает. Как железная дорога. Я бы так и писал на титульном листе: «роман дальнего следования»...

Мне тяжело рассказывать, и многое я позабыл и не смогу представить в подробностях, как это случилось. Но я хорошо помню, что дело было в гараже или в кузнице, где стены, пол и потолок были сделаны из кирпича, и, помню, эта аккуратность мне понравилась, и я бы тогда не возражал иметь при себе такой вот кирпичный гараж или кузницу. С вечера я был подавлен, точно заранее знал, что все так и будет, и сказал об этом Виссариону, который отнесся к моим словам вполне серьезно, хотя второй парень, по фамилии Джексон, все смеялся и все говорил, что ничего не случится.

Но Виссарион всегда верил мне на слово, и, перестав клепать (чему я был страшно рад, так как устал от его грохота), он вызвал по телефонному проводу старика сторожа и велел ему перебираться к нам. Тот жил рядом, в ветхом деревянном домишке, который, конечно, не мог служить надежной защитой, и старику лучше всего было сидеть вместе с нами. Когда же к нам постучали и Виссарион, все-таки сомневавшийся, пошел отворять, я уже твердо знал, что это пришли для того самого, чего я опасался. И пока Виссарион ходил отворять, я на клочке бумаги написал карандашом, что всех целую и обнимаю, имея в виду своих родных и близких, с которыми мне хотелось проститься. Я не знал, куда спрятать записку — в сапог или еще куда, или, может быть, бросить ее на пол: я боялся, что ее потом не найдут. Времени было мало, и я не помню, куда ее сунул, и до сих пор не знаю, нашли ее или нет. Но раздумывать было некогда, потому что Виссарион уже вернулся в сопровождении нескольких лиц, и они грубо спросили, с кого начинать. Виссарион сказал, чтобы начинали с него, а я пожалел, что не вызвался первым, и это можно было счесть за трусость. Но я тогда подумал, что пусть я буду последним, потому что для этого тоже нужна выдержка, и всем известно, что нелегко видеть, как расправляются то с одним, то с другим, то с третьим, и ждать своей очереди. И еще я пожалел, что мы вызвали старика сторожа, и напрасно Виссарион это сделал: в деревянном доме его бы могли забыть, а теперь он вместе с нами пропадет ни за что ни про что.

Когда в живых остался я один, кто-то из присутствующих то ли сказал, то ли подумал, что меня не надо трогать ради юности и таланта. Должно быть, он слышал что-то лестное обо мне как о поэте или музыканте или, может быть, я сочинял народные песни — мне сейчас самому это не вполне ясно. Во всяком случае сказавший или подумавший это имел обо мне смутные представления и колебался в намерениях. Мне тоже не хотелось умирать в двадцать лет и было жаль, что мое дарование (поэтическое или музыкальное — я в точности не помню) не успело проявиться в достаточной мере. Но мечтать и думать об этом я не хотел, потому что все равно мои товарищи были убиты и мне было бы стыдно уцелеть одному — да еще после того как я вызвался умирать последним и сделал это не для того, чтобы оттянуть развязку. Впрочем, эти мысли уже не имели значения.

Хоронили нас в закрытых гробах, поскольку тела и лица были сильно обезображены. Перед тем как гроб опустили в могилу, моя жена или мать пыталась снять крышку и взглянуть на меня. Но ей не позволили. Она очень убивалась, моя жена или мать, и, глядя ей в спину, я решил, что она тоже вскоре скончается. С тех пор я навсегда потерял ее из виду и не знаю, умерла она на самом деле, как я предполагал, или — если это была жена — вышла замуж.

Мне очень грустно и тоскливо вспоминать об этом, и я не перестаю жалеть о

потерянной жизни. У меня есть только одно утешение — думать, что мы вели себя неплохо в тот момент, когда нас убивали, и это кому-нибудь может пригодиться.

Все это произошло в 1923 году в Соединенных Штатах Америки. Но в каком именно штате, сказать затрудняюсь. Возможно, это было в Канзасе. Но я не уверен...

— Скоро твой праздник, — напомнила Юлия, и у меня сердце упало. Опять толпа, кавардак. Что делать? Куда деваться? Не отвертись. Жена на страже. Да, кстати, кого на самом деле предпочитает Юлия — его или меня? Душу или тело? Мне покоя не давало фатальное двоевластие. Меня, застрявшего, как боец, в долгосрочном блиндаже, который непрерывно отстреливается, работая на одном вдохновении (Душу, говоря суммарно), или его (Тело), смазливенького и, в общем, паршивенького-таки падишаха, что развалился этакой чайханой и абсолютно ничего не делает? Повстречайся ему красавица на бульваре — он ее обязательно мысленно сокрушит, и поминай как звали. Попадись мужчина — как пить дать, обездолит, улыбнется и косточки оближет. А ведь это тоже — я, я! Вот что возмутительно.

Не с той ноги, что ли, встал с утра, не считаюсь с каверзной датой? Вещий сон привиделся? Дурное настроение? Возраст? Или крыша у меня поехала? И тут же думаю: до чего же я замечательный? Могу воспарять умом, сердцем или уж не знаю чем над своими подданными — над брэнной плотью и над бессмертной душой. Душа у меня симпатяга. Всегдашняя в ней мальчишеская склонность к чему-то конспиративному и куда более серьезному по сравнению со мной. Врожденное в ней чувство такта. Но этот, образина, большевик (тело то есть), сидит и свет застит своим напомаженным рылом, начинающим уже подплывать нездоровым подкожным жирком. А то ли еще будет! Красавчики на возрасте имеют тенденцию полнеть и дурнеть как-то ультимативно и непристойно, перевешивая мгновенно в самый низкий регистр. Сам-то я покамест балансирую на грани, в преддверии возрастных, необратимых изменений, и олицетворяю нечто среднее между тем и этим. Лучше уж быть уродом. Нет ничего противнее слащавой самовлюбленной посредственности. Помню, Инезилья рыдала у меня на груди: у тебя не хватает мужества быть простым смертным... Хоть сызнова перелистывай Лафатера и Сидерита.

Вообразите на секунду меня таким, как я сейчас себя вижу в зеркале. Что может быть непригляднее? Баловень природы, благополучный Антиной с мягкой, расплывшейся ряшкой. Не лицо, а гоголь-моголь.

Диссонанс. Флюс какой-то. С ласковыми плевочками из-под заплывших щелок, которые в тебя искательно уставились. Никаких морщин, которые нам придают хоть какое-то подобие с опечаленной обезьяной. За гладким лбом ни тени мысли. Хоть шаром покати. Еще немного, и я стану лысым? Как Сулла. Не обессудьте...

Никелированное зеркало повернулось на шарнирах, выверилось, и я узрел вместо собственной, когда-то заманчивой внешности в первую очередь — нос. Лучше бы его не высовывать... Может быть, я сгущаю краски, но взамен моего продуктивного, по выражению Гете, и породистого паяльника, пусть и несколько на конце утрированного, свешивалась какая-то ни на что не похожая, белесоватая сосиска. Глаз, вообще, не было. Только лоб и так называемый нос. А еще говорят, что глаза и вообще лицо — зеркало души. Ничего общего. Полные антиподы. А рот, извините, не нахожу сравнений, нежели с банальным отверстием. Какая разница? В одну трубу впускают пищу, в другую выпускают. И тем не менее вроде бы все работает. Симметрично. Отчетливо. Какой-никакой, а все-таки моллюск. Медуза. Отросток. Щупальцы. А то ли еще впереди. Какие мертвецы воскресают в нашей душе по мере того, как мы стареем?!

Кличет снизу обедать Юлия Сергеевна, а нам не до обеда.

— Не мешай, — отзываюсь с башни, — моим литературным занятиям.

Ну, она повертелась-повертелась и хлопнула дверью. Вечно ей некогда. Назревает семейный скандал. А я за старое, заклинаю: нам не надо ссориться. Особенно сегодня. Успокойся, Юлинька! Ведь не могу же я обедать, не разрешив проблему, кого из нас двоих ты больше ценишь — душу или тело? Потерпи немножко, я разберусь в антитезе и сниму дискуссионный вопрос с повестки дня. Еще не вечер!

Спустился на первый этаж и, пока никого нет, перекатил трельяж из передней к ней в спальню. Пусть любит себя на себя, я не возражаю. Но позвольте и мне принять кое-какие превентивные меры против враждебных выпадов и непредсказуемых капризов природы. А то рехнуться можно, когда влетаешь со двора, с разгона, думая о чем-то своем, и, на тебе, вместо приветов незнакомый и непрошенный гость. Покуда

сообразизишь, что это твоя же кислая смятенная физия, и засмеешься от всего сердца, и подмигнешь себе в утешение со шпионским блеском в зрачках, сколько пустых минут безнадежно утечет! Да и не пристало мужчине с моим стажем отражаться в трюмо в рефлексиях и гаданиях, кто это к нам пожаловал без спроса на огонек и даже не представился. Если собрать воедино все драгоценное время, растроченное на сомнения и колебания в зеркале, я бы давно и новый роман закончил, и десятилетний труд о превратности вещей дописал. Вечно отвлекают по любому поводу и не дают сосредоточиться. Пукнешь сдуру в уборной, ни о чем не думая, нечаянно, приватно, и озираешься вокруг, как бы кто не подслушал. И аллюром — на верхотуру! Словно за тобой нечистый гонится либо внутренний компромат подпирает.

А ведь я не из робкого десятка и опасности привык встречать с поднятым забралом. Но глянешь на ладонь — и оторопь берет. Опять неувязка! Линия жизни, длинная и ветвистая раньше, как река Инд, совсем не туда загибается. И линия судьбы отклонилась по сравнению с прошлым летом. Стоит пропустить срок, и уже не те индикаторы. Другая геомантия. Тропик Козерога наехал на тропик Рака. Бугор Венеры, такой всегда у меня приятный и любвеобильный, перепахан в чужую безымянную ложбину. То ли ручеек пересох, то ли курноса не за горами. Коловращение вещей.

И тут меня озарило! Ведь это ж надо! Это же не мое рукоделие, а моего, выражаясь мягко, собрата Валерочки, чтоб он лопнул! Недаром он мне приснился нынче. Носишь добровольно его крест, его никому не нужные, нудные анкетные данные, а он, хитрован, прохиндей, тянет из пространства свою поддельную лапу и все пытается доказать собственную индивидуальность. Он способен даже трупным ядом заразить. Я его знаю. После него не отмоешься. Он полон микробов, непредвиденных бактерий и вирусов. Подозрение на сифилис, на триппер, на туберкулез — вы читали когда-нибудь эти унылые проскрипции? Мне доводилось. Читал. Остеомиелит, астма. От одного списка диагнозов глаза на лоб лезут. И пока что ни слова, ни вздоха, друг мой, о дурной наследственности. Не хватит никакой энергии все это многообразие разом схватить и осилить.

Я понимаю пани Анжелику. Она, как услышала впервые, что у меня что-то с мочеточниками, так тут же произвела выкидыш. И напрасно поторопилась. Эмбрион был явно не от меня, а со стороны. То ли от графа Потоцкого, то ли от адъютанта Вацлавского. Не исследить путей любви! Сердце женщины — неисчислимый лабиринт. Сперва конногвардеец, затем велосипедист да сбоку еще четыре полипа — Владик, Феликс, Иракий и Сигизмунд Евсеевич. А другая и не помнит, сколько у нее было поклонников. Одна потомственная баронесса отчитала меня как-то на исповеди:

— А сколько у вас, святой отец, было произвольных мыслей?..

На чем, бишь, я задержался? Да, на диффузии, на взаимопроникновении между живыми и мертвыми, душой и плотью. Говорим же мы все, не задумываясь: «В здоровом теле здоровый дух». Или: «Грешное тело и душу съело». Но лично мне ближе не мистика, а трезвый религиозный подход: «Дух бодр — плоть немощна». Понимаете, эту самую плоть таскаешь за собою, словно чужую одежду, к тому же отяжелевшую и не подогаданную вполне к твоим внутренним чувствам, загрязненную, возможно, какими-нибудь миазмами, не доступными познанию, но оказывающими на тебя в силу несовместимости противоестественное воздействие. Казус резус! Надоело. Так бы, грезится иногда, и скинул с себя все заношенное барахло и уплыл на край света! Да не тут-то было. День рождения на носу! На подступах к Москве!..

Век не забуду, как давным-давно, еще до переезда, меня на Арбате грубо турнула в спину неприкаянная злобная баба: «Шевели ногами, папашка! Зажился, старый хрен! Помирать пора!» Как если бы я у нее задолжал между делом лишнюю жизнь своим преклонным возрастом. А ведь вскоре сама станет развалиной. Еще хуже — с горбом! И не догадывается, сука, пока селезенка тикает. Покуда Господь не вразумит...

Впрочем, тогда мне было не до сведения счетов с какой-то дурой. Все мое огромное, окоемное воображение занимало и раздирало признание, услышанное тогда же в прогулочном дворике психушки от одного больного. Сидя со мной на скамеечке, уже начинавшей покрываться палым листом вяза, тот поведал, что муки душевнобольных превосходят любые пытки. И мы, нормальные особи, не в силах понять, как это бывает — потеря себя в пространстве и во времени. Он клонил к тому, что нельзя осуждать самоубийц, ибо это выше нашего понимания, когда самоубийство

становится единственным спасением от безоглядных физических (да-да, — физических!) страданий. А на завтра, известил невозмутимый доктор Шрайберг, моего задохлика вынули-таки из петли. Едва откачали. Уж как он практически изловчился обвести надзирателей и подложить свинью медицине, мне не известно. Но теперь я всякий раз поминаю, вопреки запрещениям Церкви, забытых самоубийц в своих вечерних молитвах. Прости, Господи, такого-то и такую-то. Они не виноваты!

Бессмысленно пересказывать его нечленораздельные речи. Он всегда повторялся, греясь в палисадничке между обедом и обходом врачей. И я бессильно смотрел, как он шевелил пальцами ног, извлеченными на воздух, на солнышко из обшарпанных тапочек. Он будто пытался уплыть подальше от своей душной казармы. Пальцы с крупными ногтями, похожими на морские ракушки, жили у него как бы отдельно от речи и от тела и существовали бессознательно, перебирая по-иному то, что он мямлил, канючил и перетолковывал по-своему, мимикой, как облезлая обезьяна, запертая в зоосаде, у которой нет ничего, кроме бессвязных конечностей, чтобы передать отрешенность безысходного своего положения.

Отсюда, от обезьяньих речей, если их продолжить медитативно по воздуху, тянутся две паутинки в мой скромный монастырь, оплетающие меня, словно безмолвный кокон, а дальше, что Господь ниспошлет, говорю я себе, а кому еще скажешь? Ведь никого нет. Один сижу и тупо смотрю в запотевшее стекло.

Не убивал я его! Честное слово, не убивал! Я же его вытащил из лечебницы. Я попросту заместил его душу, прикрыв собой амбразуру. Отсюда все тяготы не ему, а мне достаются. И если хотите знать, я пожертвовал собою: Ради идиота, дебила! Не Шрайберг, а я — врачеватель. Ведь он при первой же оказии снова бы удавился. Другой на моем месте бросил бы шизанутого дурня. А я придал оболочке подлинную реальность. Вес. Гибкость. Вдохнул искру жизни. Расправил мысли, как поступают натуралисты с полумертвой бабочкой. Сообщил философию. Одарил эрудицией, каковая и не снилась слабоумному юнцу. А он в знак благодарности кажет свои амбиции вместо меня и чуть что прекословит. Диффракция, вмешательство каких-либо оптических призм и внеземных контактов — исключаются. Я не мальчик. Я десятки раз проверял изоляционную технику и чистоту эксперимента. Но ни одно ведь доброе дело не останется безнаказанным, а ревнивцы и злопыхатели поджидают нас на каждом углу.

Другая паутинка тянется к моим ногам. «Лагерный грибок» завелся у меня между пальцами. Уж простите за интимность картины, но чешется и не дает остановиться. Невыносимо, особенно во сне. Как я его подцепил? — ума не приложу. В лагере, припоминаю, буквально все были задействованы этой вредной инфекцией. Ноги у зеков просто кровоточили от пагубного грибка и въедливой подкожной гнили. Иные пробовали выжигать огнем, мочой, кислотой, солидолом — ни хрена не помогает. С тех пор внимательнее всего я мою ноги. С одеколоном... И вот, удостоверяю, здесь, на вольном воздухе, на хорошем питании, спустив несколько шкур с себя и несколько поколений спустя, на мне те же экземы! Незаживляемые раны, никак между собою не сопряженные, в душе и на ногах.

Последние ерунда по сравнению с мирозданием. От подлого этого, каторжного зуда еще никто не загнул. Но вот что меня волнует в виде философской загадки. Тело и душа, получается, — сообщающиеся сосуды. Если даже полузабытые, чужие мысли о каторге способны вызывать на ногах inferнальные болячки, то почему я до сих пор еще не спятил? Ведь тело на мне, сугубо между нами, от вольтанутого затворника, притом неизлечимого, а душа и сознание, тьфу-тьфу чтоб не сглазить, пока что, надеюсь, в порядке.

В парикмахерской Дома литераторов все было в ажуре к появлению клиента. Добро пожаловать! Мастер Аркадий Иванович тем и славился, что знал назубок писательские нравы до персональной нюансировки включительно, согласно своему каламбуру, разлетевшемуся по Москве много лет назад, что он, дескать, доводит до кондиции все лучшие головы русской литературы. Для каждого самолюбивого автора у маэстро имелись словцо с подходцем, изысканная цитата, редкая сплетня, журнальное поздравление или роскошный метафорический ряд (когда он подстригал, допустим, слишком буйные кудри). В нем была ключом традиция севильского цирюльника, пройдохи и балагура. Филология была оселок, на котором он оттачивал язычок почище бритвы, упражняясь в вольномыслии, какое и не снилось нашим храбрецам, не выходя, однако, за рамки профессиональной корректности. Да и читал он на свете не меньше нынешних щелкунов.

Мне повезло: заведение пустовало. Говорливый арлекин при виде меня просил, а я, бросив исподтишка взгляд в зеркало, мог убедиться, что мое изображение не так уж тяжело пострадало, и, значит, виною всему нервная атмосфера моего собственного дома. Еще раз осмотрелся — в профиль, анфас — и взвесил ситуацию. Морда у меня и впрямь не своя, а словно посторонняя. Несколько одеревенелая, что ли. Но ничего, нам не привыкать. С подобной физиономией жить пока еще можно.

Так, выходит, я не безумен! — возрадовался я и погрузился с удовольствием в кресло. И как только милейший Аркадий Иванович начал охаживать меня ножницами по вискам и на затылке и не успел еще обсыпать мастерскую мелким своим остроумием, я сунул ему в зубы наживку для занимательного трепа, бросив что-то о странности зеркал. Он с пол-оборота завелся. Я едва вникал, думая, как все нормальные люди, о собственных заботах. Помните у Блока? «Я коротаю жизнь мою, мою безумную, глухую...»

Аркадий Иванович не заставил себя ждать. Правда, переврал беззастенчиво и упустил полторы строфы:

Блеснет в глаза зеркальный свет,
Откуда возвращенья нет...

И, как водится у лириков, настроил самому себе безукоризненный вердикт. Падший ангел перед смертью вдребезги разбил свое заветное зеркальце, а ведь великий и красивый был в России поэт, и, нате вам, об пол со злобой, кто мог бы неладное у Блока заподозрить? Заодно раскокал кочергой то ли гипсового, то ли мраморного Аполлона на шкапу. Что вы хотите: стихия вырвалась! Та же самая, что в «Снежной маске», в «Двенадцати»... Когда водят машинкой по зашивке, она, едва покалывая под знакомую цитату, успокаивает, как массаж. А встрепенулся, слышь, стрекотанье уже достигло изречений Сергея Есенина. Тот по-купчески спяну громил зеркала в ресторации. Дай русскому оракулу свободу слова, и его занесет. Посмеялись. И здесь Аркадий Иванович, выравнивая пробор, перескочил на Александра Суворова. К слову пришлось. Вечная ему слава. Суворов, давно известно, мастерски пел петухом. Кукарекал блаженный. А еще брадобрей воскресил и разукрасил упущенную мною подробность в биографии Александра Васильевича. Оказывается, фельдмаршал на привалах имел обыкновение завешивать перед собственной особой *зерцало*, когда его брили и стригли в трактирах либо в проезжем замке. Разумеется, военный маневр! Для подъема духа в полках норовил прослыть колдуном. Жертвовал собою, как на поле брани. Секрет в том, продолжал ворковать куафер, то справа, то слева прицеливаясь к моей голове, что колдуны в зеркалах, как правило, не отражаются и в этом щепетильном пункте чрезвычайно привередливы. Они ведь народ чувствительный и донельзя суеверный. Почти как наши писатели.

— От колдуна слышу, Аркадий Иванович! — поддержал я царившее между нами балагурство. — Но когда бы мои коллеги умели кудесить, ваш салон красоты при Доме литераторов пришлось бы давно закрыть за отсутствием клиентуры. У вас столько зеркал, самых притом *нелицеприятных*. Суворов бы к вам ни ногой...

Мне было хорошо. И не потому, разумеется, что ловкий говорун, словно поймав мое отношение, далеко не самое лестное, к братьям по перу, по ним тыхэсенко проехался против шерсти. Наслаждение доставляла собственная дерзость беседовать, посмеиваясь, на скользкую и довольно болезненную для меня тему. И водить бесстрашно, как алмазом, глазами по стеклу, исследуя свое отражение. Нет, я не боялся внезапно исчезнуть в зеркале. Такое бывает раз в столетие. Со стороны Суворова это просто трюк и розыгрыш, на манер петушиного крика, которым он передразнивал, ни с чем не считаясь, свою воинственность и запальчивость к новым баталиям. «И вечный бой! Покой нам только снится сквозь кровь и пыль...» Почему бы генералиссимусу не фраппировать штафинок демонстративным презрением к зеркалу в знак своей закаленности? Помимо прочих резонов, по-моему, наш полководец, не потерпевший в бою ни одного поражения, нежных особ и щеголей не очень-то обожал. На то, должно быть, имелись неисповедимые причины, уходящие в глубь его артистичной натуры, кроме исконной потребности сделаться колдуном, тлеющей, по моим наблюдениям, в сердце каждого смертного.

Перевел дух. Повернул голову, пока бравый Аркадий что-то над ней ворожил. У меня другое. Говоря по правде, затеявая тот острый диалог с цирюльником, я играл на собственных нервах, натянутых как струна, и бросал вызов судьбе. Сладос-

страсти мешалось с отчаянностью, гордость — с отвагой. Такое, вероятно, испытывают бреттеры в поисках дуэльных исходов. Бездонная жажда рискованных тренировок на преодоление смертного страха — я бы так определил эту роковую черту. В угоду этой пагубной мании приносятся многие жертвы, пока забияку не стреножат. По безотчетной причине, которой нет объяснений, меня подмывало желание, чтобы мое безупречное отражение в зеркале неузнаваемо изменилось. Без каких-либо притом мускульных усилий. И в то же время мне смертельно не хотелось разлучаться с собственным нынешним обликом, возбуждавшим у меня крайне сумбурные чувства — помесь умиления с непобедимой брезгливостью.

Антиномия, если хотите, несколько затруднительная. Как выскочить из себя, оставаясь самим собой? Если все же попробовать распутать этот клубок с помощью внимательного, шаг за шагом, анализа, то мы снова столкнемся с явной несообразностью. Умиление вызывала не любовь к самому себе, не эгоистическая привычка к собственной персоне, а лишь та немаловажная ситуация, что я вопреки всему, будто приклеенный к зеркалу, остаюсь в нем неизменно висеть и парить в неподвижности, как полноправный хомо сапиенс. И никто уже не крикнет на улице в спину: «Сгинь, проклятый колдун!» А в то же время абсурдное предчувствие подтачивало меня изнутри: пора линять, пока не поздно! Пора линять! Как ящерица, как змея!..

С Аркадием Ивановичем я попрощался за ручку и, как принято у нас, щедро отблагодарил за любезность. Он услужливо просил не забывать и лишь предварительно звякнуть. И вдруг пожелал счастливого путешествия. Не пути, а *путешествия!* Ничего себе!? Наше вам с кисточкой. И с огурцом. Заметано!..

День рождения давно уже наступил, не пробудив у меня никакого доброго отзвука. Званный вечер с подарками и гостями, о которых и думать противно, приближался с каждой минутой, нагнетая чувство необъяснимой тревоги, граничащей мгновениями с навязчивым кошмаром, и, кажется, я специально лишь его оттягиваю подальше разными вздорными байками про зеркала и парикмахерскую, как малый ребенок оттягивает время обещанного укола. Но понимал, что ничего не попишешь с неумолимым солнцем, которое движется ровно по циферблату, не удлиняя и не сворачивая свой прискорбный маршрут.

Не стоит оскорбляться холодным моим безучастием к собственному празднику и обзывать неблагодарным созданием. Разве было у меня хоть когда-то хоть какое-нибудь рождение? Только по документам. Во всяком случае я такового не знаю, как не ведаю собственной смерти. Как не помню отца с матерью. Как не было и не будет от меня никогда ребенка. Самое примитивное детство, золотое или рогожное, не смеется у меня за спиной. Я сразу, насколько способен себя измерить и подытожить, стал взрослым. А в награду или в наказание такая мне выпала участь, не могу, да и не в праве судить. Сами разбирайтесь. Разве мы выбираем судьбу? Я лично не выбирал. Меня выбрали. И то гладят по головке, то бьют вкрутую. Невероятно одаривают и последнее готовы отнять. Мы боремся, мы стараемся, насколько позволяют силишки. До конца барахтаемся! А к худу или добру, пусть уж думает Всемогуший...

Юлия встретила меня с распростертыми объятьями, будто не вздорили утром. Словно не цепляемся через каждый Божий день по любому поводу. Как не бывало. Идиллия!

— Наконец-то явился! Милый, еще раз поздравляю! Если бы ты знал, как я тебя люблю. Подстригся к празднику! Замечательно!..

И давай ласкаться. А я размышлял устало, механически, стихами, и меня словно пот прошиб. О бедная моя жена, о чем ты горько плачешь?

Вот, думаю, — почитаемая супруга, а завтра, глядишь, — сирота. Даже младенцем не сумел наградить избранницу. Не мог возместить доставшиеся ей от меня злключения. Расчувствовался почему-то. Никогда не знаешь наперед, как еще повернется душа. Откуда ей пенсию за мужа дадут?

Пускай у меня влиятельные вклады в Швейцарии. Альпийские ледники-неликвиды. Петушиное слово — банк! С такой сверхъестественной помощью любая пропажа ништяк. На камне адептов заклятие (тинктура красного льва). Пока мы кукуем на родине, дивиденды растут и растут. С XIX, если угодно, века — неприкосновенный запас! Если бы чують заранее, куда подвести каналы? Боже, как прыгают мысли, когда секундомер подпирает!..

И вдруг я кинулся оплетать ее сказками о ней самой. Такая, значит, блажь на

меня нашла. О том, что она самая прекрасная и лучше нее на земле не было и не будет... И тебе от меня не избавиться. Для чего мы обнимались когда-то, если это не магия? Между нами духовная связь. Попробуйте расторгнуть... Она перемывала чашки, а я все смотрел и смотрел, словно желая в ней запечатлеться. Вот эта минута среди моря бедствий и была для меня сейчас счастьем. А если попытаться этот миг объяснить, найдется только одно простенькое слово: любовь... Я встал и поцеловал ее в щечку, а Юлия, будто очнувшись, строго сказала:

— Надень к вечеру новую рубашку. Ту, что утром, на рождение, я тебе подарила...

И вот уже переполох. Дом полон народа. Не стану перечислять. Скопом ринулись пить и есть за мое здоровье. И я, слегка закосев, тоже вставил в неудержимый галдеж ответный тост за моих друзей. И — не поостерегся:

— Гуляй, ребята! Однова живем! Что мне Кошкина сторожка? У меня уже пол-Москвы в кармане...

Но при этих бестактных словах входит в дом припоздавшая немного к торжеству незнакомая дама под вуалью. И делает общий поклон. Все заняты роскошным столом. На нее ноль внимания. А Юлия широким жестом усаживает ее рядом со мной:

— Это тебе, Валерочка, — шепчет, — на день рождения мой сюрприз!

Из-под земли достала...

Галочка и Нюся, до сей минуты осаждавшие меня с двух сторон упругими своими титьками и модным вегетарианством, словно улетучились, и я остался один с таинственной незнакомкой... Нет ничего труднее, как поддерживать беседу неизвестно с кем, делая приветливое лицо, в то время как впервые видишь сивиллу и не понимаешь ни звука, на что она намекает... Если бы я тогда хотя бы подозревал, что к злополучной гостье приложило лапу кошкино отродье под именем Василисков, когда-то наводнявшее дом? И что именно они посодействовали жене разыскать незнакомку и, как именинный букет, преподнести мне на день рождения, мне бы и в голову не пришло торопить события. Я бы уж как-нибудь сам выкрутился из беды. Мне не привыкать обращаться и с потусторонними знаками. Но как допереть с места в карьер, что она — жива?!

— Поздравляю, Валерий. Налей! — сказала развязно дама. — Не узнаешь? Забыл? Каких-то двадцать пять лет прошло, а ты уже все забыл! Я же — твоя Анна!..

Никакой Анны, между тем, у меня не было. Всех молодых женщин, считавшихся когда-то моими, аж из других веков, хоть Изольду, хоть Инезилью, хоть Евдокси Ростопчину, — я помню в лицо, а эту не знал и не знаю. Была, правда, особа с таким аллегорическим именем, да и то не вполне мною сочиненная, вымышленная Донна Анна. Лишь на бумаге скандалила. Реминисценции по «Дон Жуану». Но чтобы бесплотный образ материализовался? Нонсенс!

Весомо толкает локтем:

— Ку-ку, замороженный! Наливай, наливай...

И залпом зацепистый стакаш без закуси. Наступательная, однако же, дамочка. Быстрота и натиск.

— Сбежал в сумасшедший дом и думаешь освободился? Да я сейчас откроюсь во всем, и тебя присудят ко мне. Плакала твоя Юличка...

Отродясь не было у меня этой прилипчивой стервы!

— Что нос воротишь? Да я из-за тебя, паразита, чуть с собой не покончила. Слава Богу, вовремя опомнилась и уехала на край света...

Я обвел глазами собрание. Никто не слушает. Все воркуют за ужином. Ни души себе подобных. Юлия Сергеевна, все это мне сдуру подсунувшая, удалилась на кухню совершенствовать жаркое. Настя, едва отметившись, помчалась сломя голову в детсадик за своим Андрюшей. Игнат, гегемон, вдребадан, лыка не вяжет. А раскормленные, повзрослевшие Галочка с Нюсей, захватив двух молодых людей из прежнего состава, гонят порожняк о пользе и достоинствах вегетарианства. — Как вам не стыдно! — доносится. — Как вы можете есть живое? Ведь это почти людоедство... Те мнутя, жмутя и ни гугу, — юноши истощенные и бесхозные... По себе знаю. Горький рекомендовал не курить. И хоть бы одна кошка! Но кошек жена отвадила, оберегая мои нервы, и все настолько запуталось, что проще разрубить этот рубикон, чем выяснять отношения с чужой бабой. Та как с луны свалилась. С цепи сорвалась!

— При мне, — шипит, — было здесь веселее. Вольготнее. На кого ты судьбу променял?..

Знаю, все знаю. Каждый обольщается, что с ним свет в оконце. Каждого манит надежда, что в нем единственный смысл и обретение бытия. Но где ее раскопали? И зачем?..

Это лишь позднее, когда разразился скандал, до меня дошло, что Юлия из благих побуждений и с подачи коварных подружек пустилась в импровизацию. Видит, приятелей у меня кот заплакал. Алкоголик Игнат да несколько безглагольных соседей со двора, с которыми иной раз здороваемся. Писателей я чурюсь. Кошачью царапину лучше не бередить. Дай, сообразила жена, разыщу кого-нибудь из старой компании Валерия Иноземцева, с кем он дружил и водился до женитьбы, и для его удовольствия приглашу за стол. И невдомек бедняжке, что угораздила на бывшую астролябию иного Иноземцева, обитавшего в Кошкином доме задолго до нашей свадьбы. И всю эту подлянку заделали мстительные Василиски, чтобы поставить меня, неповинного человека, в смертельную развилку двоеженца.

Не зря мне сегодня с утра покойный однофамилец в зеркале мерещился. А ночью во сне...

— Сбавьте обороты! — торможу негодницу, засадившую уже одного родного мужа в психушку. — Все-таки, мадам, вы меня с кем-то перепутали!

И глотаю на всякий случай спасительную пилюльку. Значит, заведен до предела и на все готов. В открытую глотаю, под рюмку.

Ни в какую! Стратегическая фемина уже грозит шантажом, дебошем, разводом и позором на все времена. Даже заурядной кутузкой блеснула. Что-то ее заело. Но когда загоняют в угол, приходится отбиваться ногами. И я потерял голову. На меня нашло. Не шевелите змею. Не играйте с огнем. Не дразните тигра. Ярость, мной овладевшая, граничила, если хотите, с поэтическим вихрем. В таких передрыгах выражаешься высокопарно, неряшливо и за себя не отвечаешь. Ничего не помнишь. Не видишь. Не знаешь. Кровь застит глаза. «Да горите вы синим пламенем! — возопил я мысленно. — Вперед под танки!.. Сейчас я ей засажу!..»

И никто не заметил, как мне сделалось нехорошо и я вышел из себя. Я сам этого не заметил. Тело Иноземцева мирно сползло со стула и растянулось под столом в живописной позе. Я не успела проследить, смежил ли он на прощанье свои чудесные вежды, слегка поперхнувшись последней рюмкой. Все сошло как-то слишком гладко. Мне было не по себе...

Нельзя было терять ни секунды, пока хозяйка не прибежала с жарким из кухни и пропажа не обнаружилась. На мне висела репутация дамы, никому здесь, к счастью, не знакомой и несколько экстравагантной. Но чорт ее знает! Может, в Москве у нее где-нибудь завалились поклонники. Я поежилась. С бабами нас всегда ожидает масса неудобств. И, дотянув до конца свой неразлучный стакашек, я взяла себя в руки и, путаясь в юбках и немного пошатываясь, отчалила к другому берегу нашей голубой гостиной. Там изнывала под ударами вегетарианок пара голубков из Юличкиной команды. Бесцеремонно растолкав собравшихся, я увидела испуганные глаза одного из птенцов. Кажется, его звали Гришей.

— Юноша, вы мне нравитесь! — объявила я пацану, дунула на него и поцеловала в маковку. Тот не успел возразить...

Уфф, вышел из пике. Из-под ее гравитации. И при всем том устоял на ногах! Вот что поразительно!

— Гриша, она же пьяная! Помоги ей подняться! Что ты стоишь как пень? Сережа, бегом на кухню! Позовите Юлию! — раздавались над ухом приказания Нюси и Галочки. — На помощь!

Остальное как во сне. Вызывали скорую помощь. Недоумок Сережа только путался под ногами и совался куда не след. Вибрировал. Ошалевшие девки были не краше. Кто-то с перепугу засел в уборной. Кто-то пытался дать Иноземцеву капли, другие отвлекали бесполезными советами. Словом, пустой базар и праздная колготня. Хорошо, по крайней мере, что Юлия Сергеевна не видела всю сцену. Господь спас! Даже не слыхала, как протрезвевший Игнат всосал ситуацию и всех робко спрашивает, куда подевался бесценный Валерий Германович, не в силах пережить, что выпиванто, едва начавшись, уже закончилось. К тому моменту два тела в полубессознательном состоянии безропотно унесли санитары, пробурчав, что промывание кишок лучше уж делать по-большому, в больничных условиях. А Юлия Сергеевна почему-то оставалась спокойной. Во всяком случае она сказала мне доверительно, с очаровательной грустной улыбкой:

— Гриша, я никогда не поверю, что с нашим Валерием Германовичем может

случиться что-нибудь страшное. Ничем не болея, ни с того ни с сего... В разгар торжества. Это полный абсурд. Вот увидите, он скоро вернется...

Я сидел перед ней и мысленно ее оплакивал, не подавая, естественно, вида, что я — это я, да и она бы меня не узнала. Мы были уже слишком разными и отчужденными друг от друга, и не стоит вспоминать, какими мы были когда-то. Не знаю, как это происходит у других, но прошлое обвалилось мгновенно, и на первых порах я о нем не задумывался. Только зарекся встречаться со знакомыми прежде людьми. Да и с незнакомыми тоже держи ухо востро.

О несчастной Анне, явившейся к нам на квартиру по ее вине и почину, Юлия Сергеевна почти не вспоминала, и я в очередной раз подивился, насколько избирательной бывает человеческая память. О том, что нам неприятно, мы стараемся не размышлять. Ну, была какая-то дама и была... Глушняк. Я тоже не очень-то беспокоился о судьбе не известной мне и не мною оскорбленной женщины. В конце концов, с телом ничего страшного не случилось. А души у нее никогда не было...

Гости не солоно хлебавши стали смущенно рассасываться, не ведая, что сказать в ободрение, и я обещал им завтра позвонить. Но докладывать каждому о положении в Кошкином доме я не занимался. По договоренности с Юлией Сергеевной заночевал в башне. Было стыдно и боязно оставить ее одну в пустом доме, где за какие-нибудь полчаса столько стряслось перемен. Я был перенасыщен и едва держался, плохо соображая, кто я такой и куда мне теперь исчезнуть.

Несколько дней протяну, конечно, возле заброшенной женщины, сворачивая мастерскую и наводя порядок, если, разумеется, мурлетки сюда не пожалуют под видом заботы о бывшей подруге. Чуют кошки, чье мясо съели! Вся эта история на их черной совести. Ухитрились-таки выжить писателя из-под собственной кровли. Судьба Толстого в Ясной Поляне мне открылась наконец, но было уже слишком поздно.

Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой.
Пищит бедняжка вместо свисту,
А ей твердят: пой, птичка, пой!

Писательство и дневники придется отложить до погоды. Кое-что похерить, а что-то припрятать в доме. Какое жильё у бомжа? Слава Богу, квиток во внутреннем кармане нашелся. Гришин адрес у черта на рогах. Леший знает, какая у него родня, где трудоустроен, кому обязан, с кем повязан. Новый исторический виток предстоит впереди, не говоря о других, немыслимых сальто-мортале, подстерегающих изгнанника. Ведь прыгаешь наудачу, вслепую. Из ночи в ночь. Начинать сначала. Вечный удел художника. Не угодить бы из огня да в полымя! Уж тут не до изящной словесности...

Сколько координат меня раздирало с утра на части! А теперь даже в зеркало недосуг заглянуть. Да, по правде сказать, и неохота. Лучше еще раз прочесать и запрятать до времени свежий текст. Форма найдена. Дело сделано. Не воротишь. И горевать нечего. Лишь бы кошки не нагрянули раньше срока. Раскурочил тайник и пересчитал башли. На первые месяцы зелени у меня хватит с лихвою. Можно кое-что и соломенной вдове подбросить незаметно, а там что-нибудь сочиним. И вдруг заплакал, постигнув, как я ее безнадежно, невзирая ни на что, люблю.

Глава десятая. Донна Анна

Одноактная пьеса

Римское кафе. Пусто. За столиком — с бутылкой перье — Донна Анна. Входит Дон Жуан. Присаживается.

ДОН ЖУАН (*Донне Анне*). Разрешите?

ДОННА АННА. Силь ву плэ.

ДОН ЖУАН. Я вам не помешал?

ДОННА АННА (*досадливо*). Я сказала: пожалуйста!

ДОН ЖУАН (*громко*). Гарсон! Будьте любезны! Для начала: стейк, спагетти и бутылку красного!..

ОФИЦИАНТ. Какого красного прикажете?

ДОН ЖУАН (*нетерпеливо*). Ну как это теперь называется? Бордо, надеюсь? Кьянти? Вальполичелло виваче? Вот-вот, последнее... (*наклоняясь к Донне Анне*)
Мадам?

ДОННА АННА. Грацио. Я не пью. Но я же вам сказала: пожалуйста!..

ОФИЦИАНТ. Будь-сде! (*Убегает.*)

ДОН ЖУАН (*Донне Анне*). Мы, кажется, с вами встречались?

ДОННА АННА. Не знаю. (*Официанту вдогонку.*) Человек, еще перье!

ДОН ЖУАН (*настойчиво*). А я вас помню! В одна тысяча девятьсот тридцать пятом году мы были знакомы, не так ли?

ДОННА АННА (*подпрыгивает*). Так ли! Так ли! В тридцать пятом? Ах, это было прекрасно! В тридцать пятом!..

ДОН ЖУАН. Не притворяйтесь! Я узнал вас с первого взгляда. (*Немного нервно.*) Но кто это кричит?

ДОННА АННА. Бог с вами, милый господин. Здесь очень тихо. (*Помолчав.*) Пока вы не вошли... (*Краснеет.*)

ДОН ЖУАН (*раздраженно*). Птицы! Птицы кричат. Летают и кричат. Попугаи, скворцы... Цапли.

ДОННА АННА. Господь с вами, какие соловьи? Здесь никого нет.

ДОН ЖУАН. В самом деле? Мы одни? (*Протирает руки.*) Мы с вами здесь одни? Наконец-то. Позвольте представиться: Дон Жуан!

ДОННА АННА (*приподымаясь*). Донна Анна.

ДОН ЖУАН. Донна? Анна? Не может быть! (*Отвлекаясь.*) Гарсон, как там насчет стейка?

ОФИЦИАНТ (*внезапно появляется*). Жарится, сэр! (*Исчезает.*)

ДОН ЖУАН. Жарится? Прекрасно. (*К Донне Анне.*) Итак?.. О чем мы с вами?..

ДОННА АННА. Чик-чирик!

ДОН ЖУАН (*хватаясь за голову*). Опять? Вы слышите — опять?

ДОННА АННА. Ку-ку!

ДОН ЖУАН. Это невыносимо!

ДОННА АННА. Цып-цып!

ДОН ЖУАН. Нет сил. Признайтесь, это вы сказали «ку-ку»? Или мне послышалось?..

ДОННА АННА. Я ни о чем не говорила. Пциреб-пциреб!..

ДОН ЖУАН. Зачем вы меня преследуете? Я приехал — всего на несколько дней — немного развлечься. Оттаять. Встретил вас... И все живое...

ДОННА АННА. Ку-ку!

ДОН ЖУАН (*разъярясь*). Хватит! В конце концов, сколько можно? Это вы чирикаете? Или мне снится? Отвечайте!

ДОННА АННА (*протяжно*). Дон Жуан!

ЭХО. Жуан! Жуан!

ДОН ЖУАН (*оглядывается*). Кто меня зовет? Кто спрашивает? Алло! Это ты, Мирелла?

ДОННА АННА (*не выдерживая*). Какая еще Мирелла? Очнитесь. Я столько ждала, Жуан! Двадцать пять лет...

ДОН ЖУАН. Наконец-то! Наконец-то меня кто-то назвал по имени! Это вы, Анна? Донна Анна — это ты? (*Глядит, не видя.*)

ОФИЦИАНТ (*возникая*). Стейк, сэр. Вивачи, сэр. Спагетти... Перье, мадам. (*Исчезает.*)

ДОН ЖУАН. Прекрасно, превосходно! Я так изголодался, измучился! Вы не поверите, мадам, — нет, вы не поверите, — вот уже третьи сутки, как я не ем и почти не пью. Не хватает времени...

ДОННА АННА. Бедненький! Все барышни на уме?

ДОН ЖУАН. Стихи, поэмы, картины и романы... (*Встает из-за стола, нервно прохаживается, напевает.*) «Красотки, красотки, красотки кабаре, вы созданы лишь для наслажденья...» (*Садится.*) Кстати, сеньора, мы можем встретиться сегодня же в отеле «Атлантида», номер 614. На шестом этаже. С двух часов пополудни до двух тридцати.

ДОННА АННА (*встает*). Вы меня оскорбляете! У меня муж умер, а вы...

ДОН ЖУАН. Что вы говорите? Муж умер? (*Принимается за еду.*) Рассказывайте, рассказывайте. Это так интересно. Кто бы подумал — муж умер...

ДОННА АННА (*отпивая перье*). Не передать! (*Плачет, утираясь концом*

черной шали, так, чтоб не размазать краску на лице.) Мы жили с ним, как два голубка.

ДОН ЖУАН. Как вы говорите? Два голубка? Забавно. И звучит аллегорически. Звучит!

ДОННА АННА. И вам не стыдно?

ДОН ЖУАН. Мне? Дону Жуану? Стыдно?.. (Фыркает в салфетку.)

ДОННА АННА. Голубь мой!

ДОН ЖУАН. Как вы сказали? Ангел? Никогда не пробовал.

ДОННА АННА. Педераст! Алкоголик! Обжора! Зачем я сюда приехала? (Оглядывается.)

ДОН ЖУАН (радостно). Узнал! Узнал! Это вы в самом деле? Вы?.. О, Донна Анна!

ДОННА АННА (гордо). Я! А ты думал — ты от меня уйдешь?

ДОН ЖУАН (конфузливо). Опять? Опять птицы щебечут! (Беспомощно озираясь.) Но я-то при чем? В конце концов, я тоже доставлял кое-кому маленькие радости. И так старался. Не правда ли?.. (Оборачивается к Донне Анне. Сухо.) Чем могу служить? Что вам угодно, сударыня?

ДОННА АННА (про себя). Подлец!

ДОН ЖУАН. Вы чем-то недовольны, сеньора?

ДОННА АННА (причитает по-бабьи). И за что я тебя полюбила? Сама не знаю. Связалась...

ДОН ЖУАН. Вы говорите — полюбили? Это всегда обманчиво, мадам. Обманчиво и заманчиво. Сеньоры и сеньориты, мадам, созданы для любви. (Всматриваясь.) Кажется, я вас где-то уже встречал? Ваше лицо мне почему-то знакомо. (Играя пальцами.) Знакомо! Хе-хе! (Играет пальцами.)

ДОННА АННА. А ты не помнишь — как ты клялся?!

ДОН ЖУАН (вздрагнув). Помнить?.. (Приосанивается) Я все помню. Всех женщин я держу в голове. (Хлопает себя по сердцу) Вот здесь! Могу засвидетельствовать. Могу описать (ожесточаясь). Помните, Донна Анна, где, как и сколько раз вы мне принадлежали? (Грозно) А?!

ДОННА АННА (слабо). Не надо!

ДОН ЖУАН. Первый раз — на кладбище, у ограды...

ДОННА АННА. Милый-милый! Не станем припоминать. К чему ворошить былое?..

ДОН ЖУАН. Но я могу! У меня прекрасная память!

ДОННА АННА. Ну, что ты можешь, дурачок? Вот у меня муж умер...

ДОН ЖУАН. Вы правы — необходимо подкрепиться. (Торопливо ест.) Силы падают. Так и заболеть недолго. (Уставясь на Донну Анну.) Сударыня, мы, кажется, встречались?..

ДОННА АННА (холодно). Не помню.

ДОН ЖУАН (игриво). А что наш общий друг — невыездной Командор?

ДОННА АННА (равнодушно). Валится.

ДОН ЖУАН (воодушевляясь). То есть как это — валится? Вы хотите сказать: не встает?!

ДОННА АННА. Памятник не держится. Не тот уже возраст. Обветшал. Шестидесят лет прошло. Приходит ночью. Ничего выдающегося. (Входит Командор и садится третьим за столик.)

КОМАНДОР. Привет, Жуан. Здравствуй, Анна. Давненько не видались. Как жизнь молодая? Закусываем?..

ДОН ЖУАН. Чао! Легки на помине...

КОМАНДОР. Как спалось, Анна?

ДОН ЖУАН. Ну, как спится вдовам? Все невинные мальчики снятся...

ДОННА АННА (в наитии). Во сне я так изменяла мужу! И все были такие некрасивые! (Плачет.) Лизочка — такая талантливая журналистка, а я у нее мужа отбила... (Плачет.) И, главное, — зачем? Я такая несчастная!..

ДОН ЖУАН. Ты мне изменяла? (Обнажает шпагу.)

КОМАНДОР. Брось ты ее. Оставь!.. (Подозрительно.) А вы, кажется, здесь с моей женой о чем-то совещались, Жуанчик?

ДОН ЖУАН. Я? С чего вы взяли? (Закладывает шпагу.) Я уже сто лет не говорил с девушками! Я, если хотите знать, — пишу! (Гордо.) Мемуары! Зачитайтесь! И веду корабельный дневник...

ДОННА АННА. Неправда, Иван! Ты должен иметь смелость честно сказать Володе, что я — твоя!

ДОН ЖУАН (*озираясь*). Не знаю, не знаю... У нас с ней, правда, бывали иногда...

КОМАНДОР (*твердым голосом*). Женитесь, Дон!

ДОННА АННА. Ах, батюшки!..

ДОН ЖУАН. На ком жениться? В моем-то возрасте?.. Под старость? (*Показывает на Донну Анну*.) Ведь заест, лярва!

ДОННА АННА (*выпрямляясь*). На мне!

КОМАНДОР. Так я и думал! Ах, Анна, Анна!.. (*Рыдает*.)

ДОННА АННА (*Жуану, повелительно*.) Женись!

ДОН ЖУАН. Но мы едва знакомы. И потом не женятся на женщинах, от вашей же руки, как бы это сказать помягче, овдовевших. Командор, будьте свидетелем! Я-то здесь при чем?..

ОФИЦИАНТ (*возникая*). Мороженое, сэр? Сыр, сэр? Кофе? Ликер?

ДОН ЖУАН. Ах, давайте подряд. Ликер. Салат. Мне теперь все равно. Терять нечего... Везувий. Колизей... (*Командору*) Что у вас там новенького, в Испании?

КОМАНДОР. Я о тебе лучше думал, Анна. Отдавай часы!..

ДОННА АННА. Как ты жесток, Валентин!

КОМАНДОР. И ты могла — Анна? И ты — могла? С убийцей мужа?.. (*Шепчет*.) С убийцей?..

ДОННА АННА (*очнувшись*). Мужа? Какого мужа?.. А-а-а, это ты, Вовочка? (*Разочарованно, Дон Жуану*.) Вовочка приехал. Познакомьтесь, мальчики.

КОМАНДОР (*возможно тверже*). В некотором роде приполз.

Появляется слуга и сгружает с тележки десерт. Дон Жуан, разгневанный, вылезает из-за стола и манит пальцем Официанта. Парочка — Донна Анна и Командор — шушукается и над чем-то смеется.

ДОННА АННА (*Командору, заботливо*). Скушай что-нибудь. (*Тычет в тарелки Жуана*.) Подкрепись. Вон там осталось. И там... Тебе налить?

КОМАНДОР (*наливает и пьет*). Помянем павших, не чокаясь. Это что, портешок? Давно не пробовал.

ДОН ЖУАН (*Официанту*.) Полюбуйтесь! Это когда верхом сидит сеньорита. Называется «Конь Гектора» или «8 Марта». Международный женский день. Каково?!

ОФИЦИАНТ (*смеется*). Не понимаю. Их вайс не понимай! Вы русскими будете? Али поляки?.. Португальцы?

ДОН ЖУАН. Едят, пьют. А я расплачивайся! (*Командору — громко, но тот не слышит*.) Ах, ты — крыса замогильная! (*Хватает стул и, хорошо размахнувшись, бьет по полу возле Командора. Стул бесшумно разваливается*.) Промах! Снова промах! (*Возвращается за столик, бормочет*.) Я вам не интеллигент какой-нибудь! Я не дозволю охальничать! (*Мстительно*.) А помните, Донна Анна, как вас на стол опрокидывали? И вы шептали, помнится: «Осторожнее, Жуан, умоляю! Вы мне помнете прическу!» и еще стонали: «Ну, пожалуйста, Жуан, хотя бы не дышите в мою сторону!» На моем письменном столе. Раскидывая книги и рукописи, как лошадь, своими коваными каблуками...

ДОННА АННА. Как лошадь? Доносчик!..

КОМАНДОР. Что я слышу? На ломберном столе?! Вот новость!

ДОННА АННА. Неправда! Опьянев, бывало, я сдергивала с себя одежды и, неглиже, выгоняла всех из комнаты. Всех! Абсолютно голой — абсолютно! — брала в руки книгу и читала. «Граф Монте-Кристо», например, или «Анну Каренину». А отдавалась я всегда исключительно трезвая. И только в постели. Чтобы дать отчет... Трезвая! И в постели!

ДОН ЖУАН (*робко*). А как же на столе, Анна? На моем кухонном столике?.. Нечаянно. И так поэтически...

ДОННА АННА. Не было, Дон Жуан! (*Смеется*.) Ничего не было. Все вы сочиняете... (*Резко и вульгарно*.) Решили улепетнуть? (*Передразнивает*.) Женитесь, Дон Жуан! Женилка у тебя тогда не работала. Отвык? Женилка!.. (*Истериически хохочет, задумывается*.) А в доме стояла рождественская елка...

КОМАНДОР. Вот так-так! Не работала?

ДОН ЖУАН (*испуганно*). Не может быть!

КОМАНДОР. Удивительно! Кто бы мог подумать?

ДОННА АННА. Не ссорьтесь, мальчики. В доме стояла рождественская елка...

КОМАНДОР. Елки-палки! А помнишь, Анка, как мы брали Перекоп?

ДОН ЖУАН. Ничего не помню... Последнее, Анна. Вы любите меня?

ДОННА АННА. В игрушках...

ДОН ЖУАН. Повторите, умоляю. Что, я бы бо... немедленно!

ДОННА АННА. Да пойми ты, идиот! что тебя, идиота, я бесконечно... (*Бросается.*) Поезд — поезд!..

ПОЕЗД (*из-за кулис, грозно гудит*). Кого люблю — того давлю!

ДОН ЖУАН. Вот вам и Лев Толстой!

КОМАНДОР (*кашляет*). Ну я пошел.

ДОННА АННА. Но ты же обещал, Вова? Где рукописи, Владимир? Где дневник, Алексей? (*Хватает Командора за грудки и трясет.*) Умер-шмумер, отвечай!

КОМАНДОР (*растворяясь в воздухе*). Привет вам от Прокопа. (*Исчезает.*)

ДОННА АННА (Жуану). Вот видишь, что ты наделал?!

ДОН ЖУАН (*трет глаза*). Ни черта не вижу. Зрение сдает. А кто такой Прокоп?

ДОННА АННА (*мечтательно*). Я помню себя совсем-совсем девочкой... Елка... Прокоп мне каталку подарил...

ДОН ЖУАН. Куда вы уплываете, Донна?

ДОННА АННА. Сейчас вернусь, чик-чирик. Потерпите минуточку.

ДОН ЖУАН (*беспокойно*). Но что я буду думать без вас?

ДОННА АННА. Даме надо в уборную. Вы позволите? (*Делает книксен, язвительно*). Улетаю в туалет. Вечно ты говоришь пошлости! (*Удаляется.*)

ДОН ЖУАН (*в одиночестве, разводя руками*). Разве я мешаю? (*Бормочет.*) Семь пятниц на неделе. (*В воздух.*) Командор, будь свидетелем! Пальцем ее не трогал, а она все недовольна... Придуривается... Гарсон, подай счет! Сколько там набежало?.. Забыл очки. Ладно, держи пятьсот. Сейчас вернется важная госпожа — проводишь до такси. Вот еще двести. Нет, ста пятидесяти тысяч лир с нее хватит. Скажешь — меня, Диего дель Аманчи, затребовали по телеграфу. Срочный вызов. Не мог дождаться. Понятно?

ОФИЦИАНТ. Будьте у Верочки — все исполним! (*Дон Жуан ощупью, как слепой, уходит.*) Ну и денек! А еще посуду тащить на кухню! Пока Верка вымоет... За всех в ответе. Что она там, уснула? (*Кричит.*) Эй, сеньора! Донна Анна! Не откликается... Верка, сбегай в туалет!.. Что, никого нету?.. Вечно накладные расходы! Так я и знал! Никого нет...

— — — — —
Из бумаг В. Иноземцева, полученных от Юлии Сергеевны.
(Капитан Д. Бальзанов).

Глава одиннадцатая. Голый номер

Бальзанов третьего дня, как прикатил от Насти, так и рванул к чемодану. Нет, слава Богу, кажется, без него никто ничего не трогал. Все бумаги на месте, считая с последней тетрадкой под грифом «День рождения», которую он едва приоткрыл (см. главу девятую).

В доме Бальзанову стало спокойнее. Если Иноземцев и шатается по Москве, то рано или поздно он его вычислит. Преступники (впрочем, как и писатели), в сущности, глубоко неблагополучные люди. Слишком много заботятся о престиже. Слава и успех развращают профессионала. Даже гениальные уголовники — а Колдун, как ни крути, гений преступности — ущербные существа. Господь лишил счастья быть простым человеком.

Укорив себя, что рассуждает почти как Настя, Бальзанов в виде противовеса начал обдумывать происшествия в «небесном кабинете». Неприятно признаться, но, окажись он на месте Колдуна, и он бы действовал точно так же. То есть отбросив надоевшее и полное противоречий, спорное тело Иноземцева, перешел бы сначала в образ скандальной дамы, а затем в первого встречного. Колдовская логика как бы предполагала, что Бальзанов мало-помалу станет его подобием. Что сыщик, что разбойник — одно и то же. Прямо ангельская картинка для Насти: лев рядом с ягненком... А на деле Иноземцев, если пораскинуть умом, — отпетый людоед, каннибал, каких мало.

Убийства одно за другим, не применяя ни яда, ни пули, ни даже английской

булавки. Вне тела. Без отпечатков. Одним своим агрессивным творческим духом он выдавливает душу человека, как сок из лимона, натягивает на себя чужую, благополучную кожуру, покейфует в ней и линяет дальше. А что остается человеку? Только тело? Голая оболочка без души? Зомби? Подобного бедствия Бог на землю еще не насылал. И еще эти оборотни обладают, кажется, способностью к размножению. Того и гляди настанет конец света. Заполонят общество, разделятся на две части — и, пожалуйста, получайте: гражданская война! Вы заметили, надеюсь, как в новейшее время красные и белые то и дело меняются местами...

Впрочем, при чем здесь Иноземцев? Средней руки писатель, на мгновение воспаривший, а потом покинутый, брошенный этим бесом, колдуном, душегубом... Оставшийся — зомби?.. Все это надо было еще и еще раз продумать и проверить.

Слава Богу, за окном припустил дождь. Более того, над Москвой разыгралась гроза. После многодневного окаянного пекла это было помилованием. Бальзанов как был, в одной рубашке, выскочил под ливень и с помощью ржавых клещей отдрал заскорузлые доски. Потом, изнутри, распахнул раму, и на него хлынули все дивные звуки и запахи, какими еще таровата Москва. Москва бунтовала. Вода пузырилась на мостовой и хлестала ручьями. Форменный потоп. Хляби разверзлись. И в довершение удовольствия чуть ли не вровень с домами проехался близкий, чистокровный гром. Все-таки в большом городе мы отрезаны от природы настолько, что от нее отвыкаешь и вторжение живительных или смертоносных стихий кажется невероятным событием. Экая невидаль — дождь пошел! Но в тот душный год он проходил в Москве почти на уровне чуда...

Промокшие искатели приключений, отбросив благоразумие, плясали и голосили, впадая в первобытный экстаз, как малые ребята, словно это они, дикари, вызвали грозу над Москвой и с этой минуты все у них в жизни само собой наладится и образуется. Мимо бальзановского распахнутого настежь окна медленно провальсировал какой-то босой господин в завернутых выше колен чесучовых брюках и в американской рекламной майке, явно выскочивший под дождь в погоне за прекрасным. Омытый благодатью, он шествовал по воде, стараясь ступать поглубже в лужи, беспричинно смеясь и что-то напевая. Ему повезло — хоть выжимай художника! Бальзанов тоже почуял в жилах общий подъем, дочитывая у окна сочинения Иноземцева. К тому же вперевивку с бесподобной грозой, — ах, как ухало и колыхало, казалось, мостовая провалится, — независимо ни от чего высунулось из-за туч совершенно новорожденное, младенческое солнце, и глазам сделалось больно от этой режущей во все стороны и вдруг открытой невинности. Солнце как будто удивлялось, выпрашивая: а что у вас, люди добрые, произошло такое невероятное, пока я сияло на весь свет или скрывалось на западе? Как если бы тысячелетиями не проходили на его глазах все безумства и преступления мира...

Жаль, Бальзанов не успел показать доктору Шрайбергу бумаги Иноземцева. Шрайберг разобрался бы, кто здесь ненормальный. Страшные хари в зеркалах, обступавшие лиходея в день рождения, — самый обыкновенный параноидальный бред. Хотя в его маниакальной кошмофобии есть, пожалуй, и рациональное зерно. Только это зерно, подумал Бальзанов, на сегодня еще недостаточно изучено и освоено. Речь идет о силах добра. Ведь хитрый и лицемерный Колдун почему-то не может переступить границы Кошкина дома, несмотря на то, что оставил здесь саморазоблачительные бумаги по меньшей мере примерно двадцатилетней давности и подозревает, что Бальзанов их прилежно исследует, мечтая его изловить. И в то же время благосклонно бездействует. Это загадка.

Супер где-то вычитал, что писатель — это вор, преступник, а литературный критик — это сыщик, идущий по его стопам. Тот же Супер как-то сказал, посмеиваясь, что в бальзановских рассуждениях о Кошкином доме уже чувствуется рука Иноземцева. Писатель, дескать, которого он изучает, исподволь повлиял на него, на критика. И это иной раз проскальзывает в стиле бальзановской жизни.

— Берегитесь, Донат Егорович, — кейфует Супер, — как бы Колдун вас в писателя не заколдовал! Ладно, шучу! Понимаю — близость к объекту исследования — первое условие чистоты эксперимента...

Бальзанов не обижался на Супера. Грех обижаться на человека такой доброты и честности. Но что он понимает в этой мистике, кандидат каких-то кибернетических наук, пускай и семи пядей во лбу? Да и смотрел-то он всего две или три выкройки из этих бумаг. Однако душа радуется, как подумаешь о Супере. Обещал сегодня заглянуть. Вчера, говорит Настя, в Москву вернулся из дальней командировки, а сегодня бегом сюда, к Бальзанову.

Значит, полон энергии и снял наконец-то с себя запрет на Кошкин дом. Вот бы еще и Шрайберга к делу приспособить. Тогда втроем, возможно, они одолели бы монстра. С кошкиной, разумеется, помощью...

Праздные мысли умеют ветвиться наподобие помолодевших деревьев, обрызганных и освобожденных грозой. Особенно когда их по ходу пьесы записываешь, не отвлекаясь ни на что другое. Бальзанов обнаружил это, перечитывая дневники Иноземцева. Но, кроме некоторой небрежности или вольности слога, иных параллелей с ним за собой, хоть убейте, не находил. Взять, к примеру, тех же кошек. Он, Бальзанов, всегда поминал их добром и с благодарностью, как верных союзников и незримых охранителей, пусть в этом качестве их пока что лично ему не пришлось наблюдать. Ну, а Колдун по малодушию приписывает им вероломство и чуть ли не предательство, мифическую склонность превращаться в людей и даже становиться невидимыми. Но, сказать по чести, Бальзанов и сам толком не знал, кто такие эти кошки, да и кошки ли это, а в их позитивной оценке во многом отталкивался от страхов и маний Колдуна. «Если он чурается кошек, то нам с кошками будет хорошо. Что поделаешь, я — прагматик».

Нет, для борьбы с Колдуном позарез необходим психиатр, и лучшей кандидатуры, чем Мирон Зиновьевич Шрайберг, не подобрать. Тем более, он лечил Иноземцева, настоящего Иноземцева, на ранней стадии заболевания, еще до женитьбы, и помнит, быть может, его завихрения, даже если тогда это был совсем другой человек. Любая информация вокруг этой призрачной и растяжимой личности не повредит. Надо провентилировать Шрайберга. Мирон — отличный медик, да и мужества ему не занимать, как Бальзанов имел случай убедиться на деле.

В молодости они были приятели. И вот, не упомнишь уже в каком году, Мирон, будучи дежурным психиатром, вовлек его в кругосветное путешествие по Москве. Всего на одну ночь в канун Нового года. Ну, что значит дежурный? Циркулируй по столице и забирай психов в крайней форме. Решай, кого сию же секунду госпитализировать, а кого повременить под расписку родных или добрых соседей. В общем, чумовозка скорой помощи. Бальзанову эта незаконная стажировка пришлась по вкусу, Мирон рекомендовал его как своего ассистента, и они помчались.

Теперь представьте картину. Предновогодняя Москва. Мягкий снежок лениво и неукоснительно падает, обещая идти себе и идти вразвалку до самого почитай Рождества. Снег идет как бы с того света, и город на наших глазах превращается в волшебное царство. Впервые Бальзанов видел знакомую Москву такой непобедимо красивой. Хотелось окунуться в мирную ее тишину и не просыпаться к действительности. Деревья стояли под снегом какие-то уже совершенно пуховые, нахоленные, а снег все падал и падал, как в театре. Как в Большом театре, в опере «Евгений Онегин», перед началом дуэли с козлетоном Ленским. И Москва все глубже и глубже погружалась в очарованный сон. На улицах ни души, и они мчались на красный свет по каким-то немислимым вызовам, которые держал в уме один доктор Шрайберг. Явно наслаждаясь, он осведомил Бальзанова, что если сейчас придется вынимать из петли старуху, чтобы тот держал ее за ноги, когда будут снимать тело, а на другом конце города кто-то перерезал вены. Он пугал, ясное дело, и никаких трупов им в ту ночь не досталось, а были, главным образом, мелкие квартирные склоки на почве ревности, алкоголя и кухонных неладов, когда две обезумевшие бабы, сцепившись, обзывают друг друга шлюхами и ведьмами, и поди разберись, кто из них сумасшедший и кого надо срочно отправить на Канатчикову дачу. Бальзанов бы немедленно всех этих разнузданных баб, плачущих и причитающих, подчас дико взлохмаченных, в разодранных до пупа рубахах, спровадил. Пусть не хулиганят! Но мудрый Мирон ласковым голосом находил для каждой стервы подобающее сердечное обращение и гипнотическими пассажами как-то их всех усыпительно вразумлял и завораживал до очередного бедлама.

Лишь под утро на Казанском вокзале Мирон признал достойным изоляции одного безобидного малого, задержанного по ошибке милицией. Тот не буйствовал, не кричал и, выстояв многочасовую очередь за билетами, сам подошел к постовому и сообщил доверительно, что в этой безумной толпе кто-то за ним неумолимо следит. Будучи схваченным, однако, пошел на попятную. Никто, мол, за ним не следил, а просто ему помстилось с устатку, и этого было довольно, чтобы паренька заарканили. Напрасно бедняга доказывал, что его поезд на Уфу вот-вот отойдет, а в Уфе его будет ждать мама на перроне, и денег на новый билет больше у него не найдется. «Честное слово, подумал Бальзанов, — я бы его отпустил». Но Шрайберг сказал ласково:

— Ничего страшного, миленький. Отдохните две недельки в Москве, в прекрасном стационаре, и валяйте на здоровье хоть на Дальний Восток...

Именно такие тихони — разъяснил в машине Мирон — наиболее опасны. Однажды один славный парнишка (тоже на вокзале) уболтал Мирона, сел в скорый поезд, а потом ему снова что-то втемяшилось, и он перочинным ножом порезал ни за что ни про что троих попутчиков по купе, показавшихся ему подозрительными. А Мирон за этот прокол схлопотал выговор.

Бальзанов не был согласен с Мироном. От бессонной ночи, наполненной флюидами безумия, у него с непривычки побаливала голова. И все же та блаженная зимняя карусель по Москве надолго запала в его душу, как что-то бесконечно родное, тревожное и восхитительное. Он тогда только и понял, или скорее даже не понял, а всей кожей ощутил, что Москва — это запредельный город — то ли с двойным, а может, и тройным дном. Вроде Китежа, но куда запутаннее, обширнее, многолюднее, реальнее и с обратным знаком. Целый лабиринт, за каждой переборкой которого под неслышным покровом ночи, снов и нежнейшего снега, который все падает и падает, вспыхивают разборки, скандалы, острые психозы. Но снаружи никто ничего не замечает. Можно сказать, та воздушная, полная вдохновения ночь и сыграла поворотную роль в судьбе Бальзанова. Он развил в себе способность прозревать корень скрытого зла за благообразной пленочкой обычной жизни. И Шрайберга почитал своим крестным отцом, пускай с тех пор они с ним почти не встречались. Все некогда и недосуг обсудить с ним проблему, как это ни смешно и ни отвлеченно звучит, мирового зла. У каждого свои мелкие заботы и каторжные обязанности. Но с той незабываемой ночи и потянулась та нить, та главная линия бальзановской жизни, что привела его к охоте за Колдуном. Одноглазый старик, по обету, без копейки денег, без шансов на успех, ползком, через пень колоду, с одним бьющимся чувством, возможно, уже близким безумию, сумасбродной идефикс. Вдвоем с Колдуном на московской, обетованной земле им не жить. И Москва, — чувствовал Бальзанов, — на его стороне...

Автору остается теперь лишь кратко изложить, со слов Бальзанова, что случилось после грозы. Мостовая не успела просохнуть, когда под окнами весело задудел автомобильный клаксон, выводя нехитрой морзянкой «дай, дай закурить» — их с Супером позывные. Вроде боевого приветя. Бальзанов обрадовался, только не мог понять, откуда у Супера тачка. Через миг все объяснилось. Первыми в дом вошли Матильда с Андрюшей на поводке, затем Супер с владельцем машины. Матильда нервно щерилась и зевала.

— Мы ненадолго, Донат Егорович, минут на десять, — обнадежил Супер и показал на спутника. — Прошу любить — Сережа. Отличный мужик, талантливый физик. Короче, *наш* человек. Деловой. Может вам понадобится. Разными сторонами...

Разносторонние таланты Сережи остались пока неизвестными, но Бальзанову он, в общем, понравился. Открытый взгляд, крепкое рукопожатие. А то сейчас развелось много каких-то неопределенных молодых людей, подающих руку, все равно как безвольную тряпку. А этот жмет что надо. И говорит мало. Когда здоровались, всего два слова произнес, негромко, но внятно: «Рад служить», и это Бальзанову тоже в нем понравилось. На бардак и запустение в Кошкином доме ноль внимания. Никаких вопросов, восклицаний. На чемодан с бумагами посреди комнаты даже не посмотрел.

— Поздравьте меня, Донат Егорович, — продолжал между тем Супер. — Улетаю в Америку. На конференцию. Всего на две недели, но приятно. Вернусь, и мы подключаемся к вашим заботам. Не выпить ли по этому поводу?

Сияет, как медный таз. Еще бы, повезло! И все вокруг радуются. Только улыбка Матильда не пляшет как попало, а усевшись, где приказал Андрюша, не сводит с гостя настороженного взгляда.

— Вы тоже улетаете? — спросил Бальзанов Сергея.

— Куда ему, — засмеялся Супер, — Сергей терпеть не может западный образ жизни, хотя никогда не был на Западе. Так выпьем, что ли?

— Почему терпеть не могу? — возразил Сережа, и его ответ опять понравился Бальзанову. — Я человек терпимый. Просто если все улетят в Америку, кто будет в России работать?

— Да я же только на две недели, — взмолился Супер. — Туда и обратно. А на это время, Донат Егорович, вам остается Сережа. На него, как на меня. Как на

каменную стену. Он и лампу вам посмотрит на месте, и телефон, и водопровод, и что угодно...

— Телефон не работает. Отключен.

— Потом, потом, Донат Егорович! Мы торопимся. А пока, без дураков, тяпнем по рюмашке. Чисто символически. За наш союз, за мой отъезд и возвращение! Посошок на дорогу. Вы не против, Сережа?

— Всегда готов! Но много не буду. За рулем. К тому же не мешает спросить хозяина...

Бальзанову смертельно не хотелось устраивать здесь пьянку. Но отказать он не мог: не хотел обижать Супера. Пришлось тянуть резину.

— Сначала надо напоить Матильду.

На кухне Бальзанов налил в жестяную миску воды из-под крана. Долго слушал, как заливчато и музыкально, прищелкивая языком, лакает собака. Сладше соловья. А когда вернулся в гостиную, в «Небесный кабинет», на его любимом треножнике стоял молодецкий бутылек «Абсолюта». Опять на кухню, как маятник. Два плавленых сырка. Четыре бумажных стаканчика и громадный пакет оранжада.

— Мне, ребята, и посадить вас по-человечески некуда. Дырявое кресло да хромая табуретка. Да еще стул наверху. Принести?

Супер переминался в явном нетерпении. Сглотнул слюну.

— Некогда, Донат Егорович. Постоим. Ноги молодые. А вы садитесь, садитесь же! По коням!

— Минуточку, Саша! Вы по коням, а мы с Андрюшей будем пить оранжад. И не уговаривайте меня Христа ради. В рабочее время, у станка, я — пас. Да и вы, пожалуйста, без гусарства...

Казалось, Супер что-то смекнул, но остановиться было выше его сил. Если бы горная лавина двигалась на него, он все равно бы выпил.

— Слушаюсь, капитан Бальзанов. По две капли в каждый глаз!

И он действительно отмерил в стаканчики ровно по одному сантиметру медикаментозного пойла, не больше. Чисто Кулибин. Бальзанов измерял взглядом. Буквально три бульки.

Зачем так подробно описывать всю эту механику и оптику? Кто что сказал, позволил себе непредусмотренный жест или сколько принял? Затем, что в описании этого события — как станет ясно из дальнейшего — требуется точность протокола. И чтобы никаких излишеств. Никакой художественности. Тут нам и Лев Толстой не указ. Слишком субъективен и недостаточно фактичен. А всякая фантазия исключает строгий контроль. Тут нужны не домыслы, не догадки, а хроникальный и скрупулезный анализ.

Итак, Бальзанов стоял рядом с Супером, лицом к Сереже, в ясной памяти и трезвом уме, со стаканчиком оранжада, и доподлинно видел, как у Сережи стали вылезать из орбит вдруг побелевшие глаза и он уставился на стаканчик Супера и провожал его глоток так, будто друг не мизерную дозу долгожданного своего «Абсолюта» вкушает, а чистый цианистый калий. Только Супер внезапно обмяк, словно шарахнутый пыльным мешком из-за угла, стаканчики покатались, а Сережа что-то сказал приятелю и начал падать. Бальзанов едва успел подхватить его под мышки и осторожно опустить в кресло. Сережа задыхался. Зато Супер явно пришел в себя, порозовел и непонимающе озирался.

— Вызывайте неотложку! — скомандовал Бальзанов Суперу. — Телефон-автомат на Врангеля. Если не фурычит, ближайший автомат на Арбате.

Но, вместо того чтобы без проволочек исполнять четкий приказ, Супер, как безумный, почему-то закружился по комнате, будто был не в силах с ней расстаться. Бальзанову, ошарашенному происшедшим, показалось, что он ищет для подкрепления духа свой бесценный «Абсолют». Затем он кинулся к заветному бальзановскому чемодану с криминальными бумагами и попытался его застегнуть. Бумаги не уместались, вылезали из-под крышки и расстилались веером по полу. В кресле едва дышал подозрительный побратим.

— Да ты что, совсем сбрендил? — прикрикнул Бальзанов.

— Опасно тут, опасно, — осипшим голосом забормотал Супер, а дальше что-то про спасать имущество. И ноль внимания на поверженного товарища. И косыми не глядит. Присел по-зековски возле чемодана — сразу на обе ступни — и положил машинально ладонь на голову Матильды. И вдруг та на него ощерилась. Ни слова не говоря, показала зубы. Взбеленилась, перейдя на сторону Бальзанова. Да он и сам не выдержал:

— Очнись, дурень! Дуй скорей к телефону...

Супер махнул рукой и вышел, как выбил дверь. Вырвался, паразит, как из п..ды на лыжах...

Прошло пятнадцать минут — ни Супера, ни скорой помощи.

— Может быть, дядя Саша побежал звонить на Арбат, а там телефон тоже сломан? — высказался разумный Андрюша и начал оправдываться, почему он сюда явился без позволения. Дядя Саша заехал за ним и собакой, сказав, что они обернутся максимум за какой-нибудь час, а дядя Сережа к Насте не подымался и ждал внизу в машине. Злополучная сумка с «Абсолютом» покоилась на заднем сиденье, но кому принадлежала и по чьей инициативе очутилась в Кошкином доме, вдумчивый мальчик распознать не успел. Время рейса в Америку тоже оставалось белым пятном. Скорее всего Супермен теперь вообще никуда не поедет. Не бросит же он в беде приятеля. Нет, кто угодно, только не дядя Саша. Однако какого черта он опаздывает?!

Короче, чтобы не размазывать бессмысленные гипотезы, Бальзанов направил Андрея с горсткой телефонных жетонов, и тот без труда справился с указанием, да еще принес с улицы новое сообщение. Машина дяди Сережи, которую они припарковали неподалеку от дома, как провалилась куда-то, если на ней не уехал дядя Саша в неизвестном направлении в поисках врача. В общей сложности на все процедуры ушел остаток дня. И Бальзанов очнулся только у Насти поздно вечером, чтобы подвести нулевой итог. Сережу все-таки забрала неотложка, а Саша как в воду канул. С Настей не простился, обещал еще зарулить и вернуть Андрюшу с Матильдой до отлета в Америку. У Юлии Сергеевны он тоже не появлялся. Но, по подсчетам Бальзанова, Супер в данную минуту уже находился в воздухе, на дуге в другой континент. Только был он уже не Супером, не Сашей Суриковым, а заклятым Колдуном, который обошел и обвел вокруг пальца своего гонителя в собственной его резиденции, на глазах изумленных кошек. «Тоже мне наводчицы и защитницы порядка, — с горечью подумал Бальзанов, когда окончательно просек смысл происшествия. — Что им наши печали и социальные проблемы? Недаром взгляд у кошек, я это сразу подметил, такой холодный-холодный. Прямо-таки ледяные глаза...»

Разумеется, о несчастье и понесенном позоре Бальзанов Насте и Андрею не докладывал. Сашу им не воротишь. Скоро сами узнают, что больше нет у них ни брата, ни дяди. Что его догадка верна или во всяком случае близка к истине, подтверждалось тремя фактами, всю глубину которых Бальзанов осознал лишь потом. Первый факт — это реплика Сережи в лицо Супермену, которую уловил Андрюша: «Сапожник, портной, — ты кто такой?» Этаким знак перехода из одного тела в другое. Второй факт, на который Бальзанов сразу обратил внимание, — поведение Матильды. Ведь Супер ей был почти такой же родной человек, как Бальзанов, Настя или Андрюша. Одна семья. Казалось бы, что ей Гекуба? Какое ей дело до Колдуна? Но вот унюхала чужую душу под мягкой ладонью Супера и мигом, приподняв губу, оскалилась, воительница. Слово не пудель, а лучших кровей ищейка. Бальзанов места себе найти не мог: «Нет, в этой тесной компании прекраснее всего держались Андрюша с Матильдой, а хуже всех и бездарнее показали себя я, старый дурак, и покойный Супер». В анализе ошибок он стремился быть объективным.

Наконец, третья улика — едва уцелевший в этой буре чемодан с начинкой, из-за которого весь сыр-бор и загорелся. Каким ястребом-разбойником метнулся к нему Супер! Вернее сказать, засевший в суперменском теле лихой Колдун. Потеряй Бальзанов на полминуты бдительность, — и уволок бы он драгоценный чемодан в свою скоростную коляску, в аэропорт, в самолет, в огромный международный лайнер — и где ж вы, где ж вы, очи карие, куда ушел ваш китайчонок Ли?.. Но, смертельно ненавидя наглого Колдуна, Бальзанов не мог одновременно не восхищаться его умопомрачительным артистизмом. Ведь надо же умудриться войти в доверие к Суперу, а затем втереться в Кошкин дом, преодолев панический страх перед неблагоприятными ему кошками, и здесь, на глазах у волонтера-сыщика, незаметно, так, что комар носа не подточит, убить Супера, подменив его чистую душу собственной черной душой.

«Лучше бы он меня убил, — безутешно сокрушался Бальзанов. — Так нет, я слишком для него стар и неказист. Подавай ему пышущего здоровьем и неукротимой энергией Сашу Супермена. Всегда у нас в первую очередь гибнут самые благородные, самые перспективные молодые люди».

Глава двенадцатая. За бугром

Гибель Саши Сурикова надолго выбила Бальзанова из седла. Настя все еще дожидалась возвращения брата либо какой-нибудь спасительной о нем весточки, и Бальзанову не хватало твердости ее разуверять.

В этом умении верить Настя не уступала Юлии Сергеевне, бывшей жене Иноземцева, чья недобрая репутация ведьмы держалась, как в конце концов разобрал Бальзанов, на одних только сплетнях и домыслах вокруг загадочной фигуры Колдуна. Юлия Сергеевна превосходила всех в интуитивных способностях. Ведь это она нагадала Бальзанову смерть лучшего друга. Она же, по наблюдениям Бальзанова, испытывала к Суперу своего рода слабость и нежно его преследовала, что иными принималось за распущенность. Теперь же ему было ясно, что Юлия Сергеевна всегда любила одного своего ненаглядного Иноземцева, а про бедного Супермена бессознательно ощущала и безотчетно предвидела, что когда-нибудь, на каком-то витке, мятущийся дух Иноземцева вопьется в Сашу и вытеснит без остатка его белоснежную душу. Молодой сосед тем ей как бы и нравился, и она величала его не иначе, как «Суперчиком». Теперь Юлия Сергеевна что-то стала прихварывать, и Настя сделалась при ней сиделкой, забыв былые раздоры и взаимные неудовольствия. У женщин, вероятно, характер подвижнее нашего, и они по смутным причинам то сходятся, а то расходятся без особых затруднений.

Впрочем, Бальзанову было не до психологии. Внезапный побег Колдуна в Америку лишил Бальзанова корней, перспективы и смысла искать и бороться. Так собака бежит по следу, пока тот не исчезнет у нее неожиданно из-под носа и фазан не взлетит впопыхах, оставив обозленного пса ловить обездоленный воздух. Конечно, Бальзанову занятий хватит — и привести в порядок и систематизировать собранный материал для дальнейшей работы, и сделать дубликат для надежного хранения. К тому же пора было расставаться с ролью следопыта и вернуться к тусклому существованию отставного человека в футляре, перебивающегося репетиторством.

В конце лета Бальзанов получил письмо из Сан-Франциско, и оно его озадачило. Во избежание кривотолков приводим здесь его дословно.

«Милостивый Государь, капитан Бальзанов!

Хочу сообщить, что своей лютой настойчивостью Вы меня допекли, извели и можете, наконец, спать спокойно. Не стану уверять, что в моем поражении Вы единственная скрипка. Тому способствовал ряд привходящих моментов. Но пальма первенства — безусловно Вам.

Теперь приглашаю Вас в этом лично убедиться. Достоин, как хотел бы, принять Вас не смогу, так как тяжело и неизлечимо болен. Но минимум удобств обеспечу.

Не тревожьтесь. Нет в моем приглашении ни подвоха, ни маневра, ни хитрости. Однако поторопитесь. Ибо дела мои воистину плохи. Расходы на Вашу поездку с двумя-тремя (по Вашему выбору) спутниками я, разумеется, возьму на себя.

Естественно, Вы спросите, какая мне в этом корысть. Отвечаю. В ваших руках остался чемодан с моими бумагами. Я намерен передать Вам из рук в руки еще одну папку. Для полноты картины. Почта ненадежна. Поспешите.

Александр Суриков (Супер)

Подписываюсь последним из имен, под которыми Вы меня знаете. Перебирать же все — слишком утомительно. Да иные я уже и забыл...»

К письму был приложен подробный маршрут и адрес по-английски. Где-то под Сан-Франциско. Страшно представить, как от нас далеко. На другом конце света.

Бальзанов побежал к Шрайбергу, и все тут же завертелось. К удивлению Бальзанова, доктор Шрайберг, изучив письмо Колдуна и копии дневников Иноземцева с бальзановскими комментариями, пришел в неопишуемый восторг и предложил ехать немедленно и на пару. Мирон радовался, как дитя, какой это будет вклад в развитие русской науки. Вся мировая культура, говорил Мирон, подпрыгнет от русского безумия. Но, как человек практический, в виде приводного ремня к научной проблематике он подключил бравого генерала Осадчего. С таким мощным мотором предприятие действительно обрело реальность.

Никуда бы им не уехать, если бы не генерал.

— Какой же дурак откажется на халяву слетать в Америку! — сказал Олег

Рудольфович и позвонил куда надо. Неизвестно, какие старые связи он обновил или подмазал, на какие кнопки нажал в Интерполе, но «добро» им дали в самой высокой инстанции.

Чудом Бальзанову удалось втащить в эту дерзкую экспедицию Андриюшу, которому едва исполнилось пятнадцать лет. Во-первых, он числился близким родственником Супера. Во-вторых, мальчишка был единственным среди всей эскадрильи, кто знал английский язык и мог послужить им переводчиком в чужеземной Америке. Настя, кажется, не совсем понимала, что происходит. Ей было не до того. К печали о Супере прибавились больничные хлопоты возле Юлии Сергеевны. Настя сбивалась с ног.

Благодаря Осадчему таможенный досмотр их почти не коснулся. Да и ехали они налегке. Зато сам генерал на четыре билета всей честной компании вез громадный багаж и заставлял их таскать его тяжеленные кофры, приговаривая, что борьба с терроризмом — это им не прогулки с Пушкиным и требует аварийных затрат.

Генерал вывозил за границу многолетние сбережения, и Бальзанов не возражал. Пусть подавится, пусть делает, как знает, лишь бы подальше от них. Его устраивало, что Осадчий, покровитель и глава экспедиции, летит отдельно от всей команды, люксом, бизнес-классом, и, значит, не станет влезать со своим уставом в их разговоры, беспробудно погрузившись в коньяк, шампанское и коммерческие подсчеты. Для Бальзанова же основная задача состояла в том, чтобы растолковать Андрею, что Супер, поджидающий их где-то под Сан-Франциско, вовсе не милый дядя Саша, а злой Колдун. Подросток обалдело кивал, а Мирон ни к селу ни к городу заметил, что психиатрии известны подобные обороты, и вспомнил никчemuшную старушку у них в клинике, мечтавшую переселиться во Францию в роли законной дочери Людовика XVI. Довод, что там уже давно установлена республика, от нее отскакивал. Все эти годы бесправия старушка, по ее уверениям, пролежала в глубоком летаргическом сне, а теперь именовала себя Козеттой и вознамерилась вернуть себе корону и трон.

С доктором Шрайбергом у Бальзанова был во время полета отдельный большой разговор. Бальзанов спросил, почему Колдун перед смертью во что бы то ни стало стремится передать ему свои дьявольские бумаги. Именно ему, своему врагу?!

— По-видимому, — ответил доктор, — вы для него единственный, кто этими бумагами интересуется.

Тут Мирон перешел на психологию умалишенных, соединив ее, как ни странно, с писательским самосознанием. По его словам, получалось, что некоторые одаренные авторы, например Пушкин, как, впрочем, и бездарности, предпочитали бессмертие своих творений, весьма и весьма относительное, большому, загробному бессмертию своей персональной души, имеющей безусловно божественное происхождение. Под эту хиромантию Бальзанов слегка задремал и очнулся в испуге, когда небесная стюардесса в голубой униформе спрашивала его, что он намерен дринькать. Отогнав авиационную девку, как назойливую муху, Бальзанов, тем не менее, славно пообедал, глотнул кофе и вернулся сквозь сон к Мироновой философии.

Тот считал, что главная драма Иноземцева (а именно так упорно называл Колдуна доктор) состоит в том, что в раннем детстве Иноземцев перенес какую-то инфекцию или травму, в результате чего начисто утратил представление о почве, на которой возрос, о собственном детстве и отрочестве. А человек с отрезанным детством в принципе неполноценен и склонен замещать потерянные истоки, ферменты, фрагменты своей искалеченной особи какими-нибудь фантазиями, взятыми напрокат, с потолка, вроде изначальной способности свободно перемещаться из одного физического тела в другое. «Парамнезия» ... «конфабуляция», — говорил Мирон и не желал допускать, что на глазах у Бальзанова полтора месяца назад произошла пересадка этой самой окаянной души в Сашу, отчего они и летели сейчас трансатлантическим рейсом в Америку. Предрассудки ученых — это вам пострашнее мракобесия. И Бальзанов вознегодовал на чисто промытую лысину своего тугодумного ассистента.

Ему покоя не давал совершенно иной вопрос: почему на этот раз Колдун так фатально принимает недуг и возможный летальный исход, он, десятки раз менявший многогрешную оболочку?

— А что если он завязал? — вздохнул Андриюша. — Или, может, исправился?.. Ох, уж эти великодушные упования на перемены к лучшему!

Америка их встретила морем самолетов, которые реяли в небе под гербами разных держав, то возносясь, то приземляясь, и распарывали воздух вдоль и поперек во все свои гремучие, турбореактивные бронхи. И триумфальная арка простерла ответно над ними свои орлиные, свои ювелирные крылья. На аэродроме стайка японцев без конца фотографировалась на фоне собственных чемоданов. Но сами американцы показались Бальзанову народом до смешного простодушным и по-детски непосредственным. Этакие великовозрастные дошкольники. Если иные социологи называют нас, русских, народом подростков, то американский конгломерат можно сравнивать с нацией младенцев, невзирая на все их общепризнанные заслуги в области науки и техники. Вечно они улыбаются, вечно бегают друг за дружкой по улицам, в одних трусах, и почти не курят. Берегут, мол, свое драгоценное здоровье и надеются подольше прожить. Милые, наивные янки! Даже миллионеры у них все равно что грудные дети. Вечные сосунки, бегунки...

Однако они сюда прилетели не ради этнографии, и Калифорнию Бальзанов надеялся лучше разглядеть на обратном пути, когда все тяготы и тревоги будут позади. Правда, уже в гостинице, где наши путешественники заночевали перед последним броском, от них опять откололся генерал Осадчий. Сперва он заявил, что, по агентурным данным, город Сан-Франциско населяют одни педерасты и писатели и сначала следует связаться с Интерполом, а потом уже бороться с опасным Колдуном, обложив его со всех сторон. Бальзанов подозревал, что доблестный военачальник просто-напросто сдрейфил и предпочел заняться собственным благоустройством. Но, — баба с возу, кобыле легче.

С утра они схватили такси и двинулись по адресу. Это оказалось не так уж далеко, но местность вокруг была безлюдной и природа дикой или Бальзанову так померещилось в соответствии с настроением. Вместе с тем при виде этих девственных ландшафтов так и подмывало запеть «Широка страна моя родная». Высоко в небе парили орлы, высматривая добычу. Одинокий коттедж стоял на отшибе в обрамлении вековых деревьев хвойной породы. Бальзанов не мог уразуметь, когда успел приезжий с зыбкими документами Сурикова обеспечить себе такое привольное имение. Впрочем, подумал он, деньги все сделают.

Перед домом так и сяк прыгали замысловатые белки. Пролетела экзотическая синяя птичка величиною с нашу сороку. К ним вышел форменный арап и представился медработником Джоном, державшим вахту с напарником Янгом, чистокровным китайцем. Черный Джон сказал по-английски, что ситуация с больным безнадежна. Рак у него в самой запущенной форме. Метастазы. От хирургического вмешательства и химической терапии мистер Суриков наотрез отказался. Метастазы. Предпочитает скончаться в собственной постели, в окружении старых друзей, которых он с нетерпением ждет. Висит на кислородной подпитке и обезболивающих. К нему можно войти. Мистер Суриков только что очнулся после ночного бреда и сейчас находится в ясном уме и сознании.

В светлой просторной комнате, куда гости вторглись гуськом и замерли у двери на почтительном расстоянии, покоился на подушках Колдун. Он показался Бальзанову необычайно маленьким и легким, как пух, вот-вот улетит, тем более что по комнате свободно циркулировал воздух. Только потом увидел Бальзанов, до чего он исхудал. Черты лица заострились и сделались как будто рельефнее, но, в общем, облик, Сашин облик, остался неизменным. Его можно было узнать. Они тихо поздоровались, однако не приближаясь к больному, — тактика была выработана еще на пути в Сан-Франциско. В этом военном рейде отсебятина исключалась. Лучше быть суровыми, даже жестокими, чем проявить преступное легкомыслие в ущерб, может быть, всему человечеству. Поэтому Бальзанов начал с того, что напрямую спросил, как его теперь величать.

— Называйте меня по-прежнему Супером или попросту Сашей. Мне это будет приятно. Да садитесь же, садитесь... Надеюсь, в конце концов мы расстанемся друзьями...

Говорил он крайне медленно, еле слышно, испытывая — либо имитируя? — при каждом слове необыкновенную слабость, но Бальзанов внутренне взорвался. Негодяй убил Супермена, убил несчастного Сашу и теперь предлагает от имени мертвого свою порочную дружбу. Ему это будет, видите ли, приятно! Дикий, бессмертный, чисто воровской эгоизм!

— Да вы присаживайтесь, друзья, — повторил устало Колдун. — Стулья у стены.

Действительно, в стороне от постели больного стояли четыре кресла. Одно было лишним. Колдун не учел сбежавшего генерала. Все же число кресел было подозрительно точным и не располагало присаживаться. Мало ли что... Они продолжали стоять лицом к противнику, готовые в любую секунду к отпору и обороне.

Чтобы не затягивать молчания, Бальзанов задал Колдуну главный вопрос. Вопрос, что называется, в лоб. Неужто у Лже-Супера иссякли колдовские способности и он больше не в силах оккупировать хищной душой и моментально освоить чье-нибудь тело.

— В силах. Способен, — ответил Колдун, явно любуясь собою.

— Так чего же вы медлите?

— Прохожу испытание. Сдаю экзамен.

— Какой еще, к чорту, экзамен?

— На выдержку. Помните старинную русскую поговорку? «Бойся жить, а умирать не бойся». Вот я и пытаюсь по мере сил не бояться смерти.

— Жить надоело?

— Конечно, надоело. Как вы раньше не догадались?

Там, объяснил он, в Москве, ему досаждали кошки, а здесь преследуют птицы. Больной, похоже, стал заговариваться:

— Возможно, это галлюцинации, но как от них избавиться? Так и мелькают в глазах...

И вдруг, приподнявшись на подушках, он жалобно попросил у Андрюши воды. Но Бальзанов одним прыжком сбил мальчика с ног и упал на него сверху, угрожающе выставив Колдуну фигу. Знай наших!

— Не бойтесь, — Колдун рухнул на подушки. — Это было бы, Донат Егорович, слишком для меня просто... Смерть надо заслужить. Заработать... А вы решили, что сейчас я проглочу Андрюшу и запью водой... Простите, я сам виноват...

Он засмеялся, закашлялся, а Бальзанов вертанул Андрея на место, подальше от вредной постели. Было немножко стыдно. Но Колдун принимал их с таким отрешенным спокойствием, словно имел за душою какой-нибудь новый фортель. Уж лучше быть смешным, чем рисковать.

— Забыл я старое правило, запрещавшее прикасаться к нам накануне кончины, — продолжал больной перебирать свои мысли, настолько рассеянные и беспредметные, что они казались прозрачными. — Чтобы мы не передали наш опасный дар из уст в уста, из рук в руки, из глаза в глаз... Папка с бумагами на столе у окна... Возьмете после моей смерти...

Больной задыхался. Паузы между словами делались все пространнее. Язык не слушался. Дрожащими пальцами он нашарил звонок и вызвал прислугу. Черный Джон дал ему напиток, придерживая безвольную голову и низко склонившись над ним. Если бы Колдун захотел, мелькнуло у Бальзанова, он мог бы легко перепорхнуть в доверчивое черное тело. И ему вспомнилось одновременно, как трудно бывает в состоянии тяжелой болезни протянуть руку, повернуть шею, пошевелить ногой, повысить голос. Для самых простейших движений недостает жизненной силы.

По знаку Джона гости удалились в сад. Блаженно закурив, Бальзанов спросил Мирона, как ему встреча с людоедом.

— Но это же не Иноземцев! Это кто-то другой!

Большой ученый Мирон Шрайберг, а все-таки поразительный болван. Жалкий пленник материализма! А китаец Янг сообщил, вежливо улыбаясь, что они с медработником Джоном собирались вызвать к мистери Сурикову православного священника, но тот сказал, что его исповедь заняла бы несколько лет и лучше обойтись без формальностей. Нетвердый в вопросах религии, Бальзанов только пожал плечами.

Бальзанов с доктором Шрайбергом вернулись в палату. Больной то проваливался в сон, то в бред, то в безумие, то просто в беспмятство, лишь изредка выдавая мало-мальски членораздельные фразы. Они провели возле него больше суток, по временам подменяя друг друга. Эксцессов, слава Богу, не было.

Пуще всего ему докучали птицы. Их смутные призраки проносились над ним в одиночку и целыми стаями, едва не задевая лица. С тоскливыми призывными криками они мелькали над его разгоряченным сознанием, устремляясь Бог весть куда, как если бы маршрут перелета проходил через его комнату, словно дом был сквозной. Что влекло их сюда? Отчего они выбрали сдуру лететь таким немислимым транзитом?

Из других его темных речей Бальзанову запомнились такие:

— Я вышел с ним на прямую связь. Ах, Феликс, Феликс, как далеко ты меня опередил...

— Смерть — самое интересное, что мне осталось...

— Над Христом измывались, словно над поверженным клоуном. А что в итоге? Царь царей...

— Что нам владеть вселенной, если мы не владеем собой?..

— Красивая баба. Одно имя чего стоит — Изольда! Грудь, задница — все при ней. Но что-то у нее ко мне, по ее же словам, не лежало...

— Ведь и вам, Донат Егорович, скоро сдавать вахту...

— А Юлия Сергеевна тоже с вами приехала?..

В его репликах исчезали границы во времени и пространстве. Феликса он, наверное, взял из лагерных своих путешествий, Изольду — из другого столетия. И на этом встревоженном фоне — птицы, птицы...

Бальзанов вышел покурить и немного очухаться. Андрей что-то писал в своем школьном блокнотике. Резвились белки. Летали сойки. Свиристели цикады. Бальзанов спросил у китайца, зачем у больного возле кровати стоят два одинаковых будильника. Китаец радостно объяснил, что эти часы друг без друга почему-то не ходят и что мистер Суриков привез их из Москвы и бережет как зеницу ока. Один будильник показывает московское время, а второй — здешнее...

Последние слова Колдуна Бальзанов со Шрайбергом записали в точности:

— Прощайте, меня зовет отец...

Бальзанов долго смотрел в неживое лицо. Несмотря на худобу, оно казалось добрым и почему-то счастливым. Счастливое лицо Супера. Любимое лицо... А ведь за улетевшей душой ветвилась такая длинная, преступная и сумасбродная жизнь. Еще раз проверил пульс на холодной уже руке. Будильники не тикали. Разом оба остановились. Бальзанов взял папку с бумагами и вызвал такси.

Экспедиция завершилась.

Полдня и кусок ночи, проматывая последние доллары, они колесили по Сан-Франциско. Осваивали этот чудесный и будто свихнувшийся город. То вверх, то вниз. Местами Сан-Франциско напоминал Вологду или другой затрапезный старинный городок в России. Те же петушки-гребешки и лезущие друг на друга изысканные, безобразные домишки, разве что более комфортабельные и облизанные, но с той же наивной и проказливой претензией на провинциальную красоту. Как вяземские пряники. Иные зданьца походили на горные сакли, но с колоннами Афродиты Паллады. И здесь же, поодаль, кошмарный мираж высокоствольных небоскребов, сотканных из тумана, гранита и наших потусторонних грез. Мосты Семирамиды висячей серебряной ниткой пересекали два океана, Тихий и Великий, а под мостом, на головокружительной высоте, бороздили бездонные воды бисерные кораблики.

Фриско рисовался Бальзанову — под впечатлением смерти Колдуна, что ли? — каким-то фантастическим сочинением, сгустком бреда, который клубился за ними и, преследуя, опережал. Все трое немного опомнились, когда узнали в отеле, что генерал Осадчий тем временем исчез, оставив Бальзанову душеспасительную записку, где просил не считать его больше российским гражданином, поскольку он, поразмыслив, решил приносить пользу обществу на ниве американского бизнеса. Генерал сделался невозвращенцем, бросив в Москве престарелую жену. По счастью, русский консул оказался парнем с мозгами и, сверившись с инструкциями новейшего образца, сказал, что к бегству генерала Осадчего друга никакого касательства не имеют. Подобных казусов сейчас в нашей разведке пруд пруди. Что поделаешь, ребята? Всеобщий политический кризис и мировой дисбаланс!..

Они возвращались в гостиницу поздним вечером, потеряв представление о дне недели и номере года. Быть может, они, не выходя из игры, уже кружились по таинственному лабиринту. Усталость и напряжение давали себя знать. Ряды и гирлянды освещенных окон, казалось, принадлежали не домам, не камню, а были вырублены или прорезаны в плотном ночном воздухе. Москва казалась отсюда столь же невероятной, как и весь этот выдуманный, феерический Сан-Франциско...

Однако на другой день в самолете болезненные впечатления рассеялись. Они летели с пересадкой в Нью-Йорке, оставив мрачные видения на той стороне континента. В споре с Бальзановым во всю длину обратного пути Мирон вынужден был признать, что Александр Суриков и Валерий Иноземцев — одно и то же лицо (или, лучше сказать, один и тот же субъект), под разными физиономиями. Решающим доводом послужило то обстоятельство, что Колдун поминал перед смертью Юлию

Сергеевну. Видно, хотел повидать ее напоследок. А в какой-то Изольде он давно разочаровался...

В самолете Бальзанов занялся папкой Колдуна. Увы, это были не дневники многолетних походов, а литературные опусы и наброски разного времени. То есть сплошные выдумки и безответственные фантазии с никому не нужными художественными особенностями. Среди прочего лежал «Золотой шнурок», машинописная копия криптограммы, о которую он уже ломал себе зубы в Кошкином доме. Правда, без ятей и еров. И два рассказа рукой Саши Сурикова. Почерк он узнал сразу.

За стенкой

Вчера получил квартиру. Отдельную. Вчера. Получил. Квартиру. Я. Вам — ни шиша, а мне — пожалуйста. Утретесь. На втором этаже. Одна комната — десять метров в диаметре, не считая коридора, ванной и мест общего пользования. И все — в мое удовольствие. Одному. В полное распоряжение.

Квартира: стенки, окна, дверь. Умывальник. Я еще молодой человек. Холостой. Вполне. Все положено. Окна, двери. И что я сделал первым делом? Естественно, разделся. Хожу голышом, помахиваю, никого и ничего не боюсь, улыбаюсь сам себе. Взял ванну. Захотел и взял ванну. Купаюсь. Ну, просто купаюсь в этой ванне, ныряю, как богиня Афродита. В голубой пене, в волне. От счастья себя не помню. Помню — Афродита! Афродита или Афротита?.. Не очень точно.

Вдруг слышу: тук-тук-тук — каблучки. Шпильку уронила. Прислушался: опять ходит. Ну, думаю, — то самое! Она! Ее-то нам не хватало! Холостой человек, сами понимаете. Сижусь.

А она все ходит. На двух ногах. Ладно — предупреждаю, у меня не погуляешь. С течением времени возьмем за холку — ходи, не ходи. Но зачем же вы так, — сам себя спрашиваю и себе же отвечаю, — грубо? Не успели въехать и ходите взад-вперед. И так нескромно, бестактно.

Говорю ей через стенку:

— Иди сюда! Будем жить как жена с мужем. Тебе же лучше!..

Не двигается. Молчит и не двигается.

— Иди сюда!

Ни звука. И так — всю ночь!..

Лифт

1. Четвертый этаж

Схема. Прихожу домой, а она уже стоит и ждет.

— Ну, что, говорит, пришел? Пришел?! — Я тихо и спокойно ей отвечаю:

— Пришел.

Обои на стенах. Птички какие-то на обоях. Молчат и не чирикают.

Тут я воскликнул:

— Соси х..! — сказал я. И повторил:

— Соси х..!

Больше ничего не было. Ничего. Обои. Стены. Домой пришел. Птички? Ну разве что — птички.

Схема. Иду по второму разу. Говорю: — Ты с Колькой живешь? Я все знаю. Не станешь отрицать. И она отвечает:

— Не стану.

— Ладно! — отвечаю. — Ладно! — отвечаю. Идите вы все от меня, идите вы, куда хотите. Подальше. А я тут останусь. Тут. Мой — дом. Потолок, стены.

Посмотрел на потолок: а он белый, белый...

— Тут где, спрашиваю, веревка? От белья. Дай — веревку. Здесь мне делать нечего. Пойду удавлюсь.

И она дает. Протягивает веревку и тихо-тихо отвечает:

— Иди и давись. Глаза бы мои тебя не видали...

Беру. Иду. Потолок. Стены. Говорит: иди и давись. Ничего, ничего не будет. Обои, правда. Окно. Немного жалко: окно.

Захожу в уборную. Беру шнур, все это сложно объяснять, какие там узлы, ве-

ревки. Радиатор гудит. Птички. Радиоприемник. Короче говоря, не долго думая, ты с Колькой живешь, ну и живите и живите... Помню только — садануло, резануло по коже. Вроде ожога. Ну и проваливайтесь вы все, ну и проваливайтесь. А потом? Что было потом? Я не помню.

2. Третий этаж

Прихожу домой. Даже что-то напеваю. И не думал никогда. Закрыв окно, чтобы не простудиться. Посмотрел на потолок. Там ничего не было, на потолке. Ну ничего. Полный абсолюте. Говорю: — Как дела? Не опоздал? Не думала, что приду?

Она — молчит.

Я ей опять вдалбливаю, что так нельзя, что Сергей Иванович все равно тебя бросит, пиши пропало. Она — молчит. Она — молчит. А я говорю и говорю, сам не помня о чем. Сергей Иванович, дескать. И пошел — на чердак.

Смотрю — белье сушится. Хорошее белье. Да что было делать? Живем один раз. Когда я закачался, тогда я только и понял, что напрасно это все, напрасно, постарался, да было поздно...

3. Второй этаж

Ах, как я пил! Ах, как я жил! Вам бы так жить и пить! Она меня любила. Ах, как она меня любила! Вас так никто никогда. Да, никогда, никогда и никто вас не полюбит нигде, как — меня. Она. Как меня — она. Как. Она. Меня. Ничего не было. Никаких осложнений. Окно. Я всплакнул. Но тут же понял: нельзя. Нельзя так жить. И она, и ей, и ее... Зачем? Зачем?..

Ее не было. Ее вообще не было. Ничего, ничего. Все и ничего. Все это я разыгрывал. Рад стараться. Завтра расскажу товарищам по работе. И она заплачет. — Ах, скажет, дурак! Как ты мог? Нет, как ты мог?!

4. Первый этаж

Просыпаюсь. Вспоминаю. Что было позади и чего не было. Вешался, вешался — это точно. Но для чего, почему — уже не знаю. Комната — помню. Потолок — тоже помню. Была ли она? Не знаю, не знаю — была ли она?

А я — это он или нет, погодите, я — это он, а ты — это ты, с ума сойти? Разве ты была ей? И тот потолок был тем потолком? И те стены?

Тебя — нет. Тебя все равно давно, давно нет. Но я-то остался! Я — остался! Тебя — нет. А я есть! Я — есть! Прости — я иду к тебе.

Почему-то: я это видел. Видел. Видел. И сколько раз повторять? На чердаке? В уборной? В окно? Опять из окна?..

Окно, окно. Вот это верно. Вот это наверняка. При чем тут белье? Какой Сережа? Никакого Сережи. А что еще? А что — кроме окна.

5. Подвал

Ну вот пришел. Пришел, наконец. Теперь никуда не денешься. Теперь ты наш. Где она? Какая она? Никто и никакой. Что будешь делать?

Что дальше будешь делать? Ниже — некуда. Выше — уже нельзя. Помнишь, как ты сказал, как она сказала: иди. И ты пошел, поверил, что нет тебя, нет и не будет. А вот он где ты! Ты. Он. Она. Помнишь птичек — смотри: комната, потолок, обои и как хорошо, как они поют, никого не трогая. А ты поверил. Стены, дескать, окна. И белый, белый свет. Помнишь — первое — в уборной? Второе — на чердаке. Третье, третье — ты забыл, как ты выбросился в окошко. А рама выдержала. Не разбился, но как повис, как ты повис... — помнишь? Четвертое или пятое — не станем считать. Не уйти тебе, не уйти. Она сказала: — Соси х..! — сказала. А ты и обиделся. Посмотрел на стены. Живите, ответил, со своим Колькой.

Нету Кольки. Нет никого. Ни тебя, ни меня. Потолок остался. Потолок всегда остается. Высокий, квадратный. Попробуй еще, попробуй. На сей раз — не сорвешься, уйдешь. Да. Уйду. Но куда? И сколько можно? Колька, Сергей Иванович — здравствуй, здравствуйте? Вы — здесь, а я там? Но она не придет, больше не придет. Как хорошо, как спокойно. Когда обои, комната и ты приходишь домой с работы. Ты приходишь — домой.

Эпилог

Когда он повесился — мы все обрадовались: повесился наконец.

...И снова какой-то запутанный, нескончаемый кошмар...

...сон, как хлороформ, затягивал в пустую воронку. Тряхнуло наконец-то. И Бальзанов ощутил под колесами твердую московскую землю.

Глава тринадцатая и, как тринадцатая, последняя.

Золотой шнурок

«У вас ли мой прекрасный башмак? — Да, он у меня. — У вас ли мой золотой шандал? — Нет, у меня его нет. — У вас ли мой новый платок? — Нет, у меня его нет. — Какой сахар у вас? — У меня ваш хороший сахар. — Какой сапог у вас? — У меня свой кожаный сапог. — У вас ли мой гусь? — Нет, у меня свой. — У вас ли мой старый нож? — У меня красивый нож. — Какой фонарь у вас? — У меня ваш старый фонарь. — Есть ли у вас новый стол? — У меня старый стол. — Есть ли у вас большой дом? — У меня большой красивый дом. — Есть ли у вас маленький хорек? — Да, он у меня. — Есть ли у вас золотой нож? — У меня золотой нож. — Есть ли у вас серебряный шандал? — У меня оловянный шандал.

— У вас ли мой золотой шнурок? — Он у меня. — Какой сахар у вас? — У меня дурной сахар. — Хочется ли вам спать? — Да, мне спать хочется. — Жарко ли вам? — Нет, мне холодно. — Есть ли у вас сыр? — Нет, у меня ничего нет. — Есть ли у вас хороший кофе? — У меня нет хорошего кофею, у меня хороший чай. — Какой чай у вас? — У меня ваш чай. — Что у вас дурного? — У меня дурной башмак. — Хочется ли вам пить? — Мне спать хочется. — Что у вас прекрасного? — У меня прекрасный суконный плащ. — Какой сапог у вас? — У меня старый кожаный сапог. — У вас ли серебряный шнурок? — У меня его нет. — Есть ли у вас что-нибудь? — У меня ничего нет. — Есть ли у вас что-нибудь хорошее? — У меня нет ничего хорошего. — Что у вас дурного? — У меня дурной конь моего доброго приятеля. — Есть ли у вас хлеб? — У меня нет хлеба. — Какой сыр у вас? — У меня нет сыру, у меня хлеб. — Какой орел у вашего брата? — У него большой орел моего соседа.

— Какой шнурок у вас? — У меня золотой шнурок. — У вас ли железный молоток кузнеца? — У меня его нет. — Есть ли у вас что-нибудь хорошее? — У меня нет ничего хорошего.

— Любите вы табак? — Нет, я его не люблю. — Что же вы любите? — Я люблю чай и кофе. — Что вы любите, барана или теленка? — Я не люблю ни барана, ни теленка, я люблю кофе и чай.

Но с другой стороны: — Что у меня? — У вас большой орел. — Любите вы этот пирог? — Нет, я не люблю пирога, но люблю тот паштет. — Красный платок у меня или желтый? — У вас нет ни красного, ни желтого платка, но у вас мой золотой шнурок.

— Мой ли орел у охотника или свой? — У него нет ни вашего, ни своего, у него нет орла, у него хорек. — Где у вас мои маленькие ножи? — У меня их нет, я их ищу. — Ищешь ли ты ослов? — Я ищу ослов и быков.

— Что у этого офицера? — У какого офицера? — У того офицера, которого не любит полковник. — У него кожаные сапоги сапожника.

— Сколько коней у вас? — У меня пять коней. — Хотите ли вы мой нож? — Нет, я его не хочу. — Где видите вы трех больших слонов? — Я вижу их у нашего богатого соседа, у которого три больших дома. — Имеет ли дом купол? — Нет! — Есть ли у солдата кивер? — Да! — Какие друзья у турка, эти или те? — У него ни эти, ни те, у него нет друзей.

— Видели вы жилеты моего молодого брата? — Нет, я их не видел. — Сколько фазанов видели вы в лесу? — Я видел там десять фазанов и три кабана. — О каких кабанах говорите вы? — Я говорю о трех больших кабанах.

— Какие стаканы у вас? — У меня новые и красивые стаканы. — Хотите ли вы этот красивый шандал? — Нет, я его не хочу. — Можете ли вы мне дать вашего коня? — Я не могу, он у моего брата. — Видите ли вы большие рога этого козла? — Я вижу трех козлов и десять быков с красивыми рогами.

А в это время: — Что у бедного кузнеца? — У него железные щипцы. — Имеют ли эти люди голубей или гусей? — У них нет ни голубей, ни гусей, у них три ма-

леньких соловья и двадцать два воробья. — Сколько у вас носков? — У меня их сорок восемь. — Где мои башмаки? — Здесь!

— Что видите вы? — Я вижу море.

— Железный или оловянный горшок у него? — У него хороший оловянный горшок. — Видите вы соловьев там в саду? — Я вижу соловьев и воробьев. — Сколько крыльев у соловья? — У него два крыла.

— Который час? — Шесть с половиною.

— За чем идет этот башмачник? — Он идет за башмаками студента. — Есть ли в доме вашего отца котята и мышата? — В нашем доме нет ни котят, ни мышат. — Может ли тигр пожрать оленя? — Может.

— Хотите ли вы перцу, чтобы посыпать перцем ваш окорок? — Благодарю, я не люблю перцу. — Могут ли писать ваши братья-писатели? — Они могут, но не хотят. — Почему они не хотят? — Потому что они слишком ленивы.

— Какую женщину видит этот юноша? — Он видит молодую и прекрасную женщину в черном платье. — Где он ее видит? — Он видит ее в церкви. — Видите ли вы большую лошадь? — Да, я ее вижу. — Куда идет кучер с лошадью моего отца? — Он идет в новую конюшню. — Идете ли вы в церковь? — Да, я иду туда со своими сестрами.

— Для чего вам нужна соль? — Я хочу посолить жаркое.

— Сколько сестер у доброго сына нашего столяра? — У него нет ни одной сестры, но у него пять братьев. — Имеет ли этот убийца братьев? — Нет, у него нет братьев, но у него три сестры. — Где матери этих любезных девиц? — Они в церкви. — Много ли икры у сельдей? — У них мало икры. — А у каких рыб ее много? — У осетров.

— Видите ли вы эти прекрасные похороны? — Да, я их вижу. — Кого видите вы там в цепях? — Я вижу в цепях убийцу нашего хорошего соседа, ловкого кузнеца.

— Какие перчатки у этих господ? — У этих господ очень хорошие кожаные перчатки. — Видите ли вы этого знаменитого стихотворца? — Да, я его вижу каждый день.

Однако... — Что я вижу там на улице? — Вы видите там хорошенькую женщину с очень хорошенькими детишками. — Приносит ли вам сапожник ваши сапоги? — Мой сапожник не приносит мне моих сапог, но зато мой портной приносит мне новые платья.

— Какие у вас карты? — У меня трефы. — Я думал, что у вас черви. — Нет, у меня трефы, пики и бубны. — Собачка ли это, которую я вижу? — Нет, это не собака, это свинья. — На чем играет ваш сын? — Он играет на скрипке. — Но почему вы покупаете зонтик, вместо того чтобы купить трость?

— Кто варит говядину? — Повар ее варит. — Француз ли вы? — Извините, я русский. — Кто этот господин, у которого столь высокий лоб? — Он англичанин. — Хотите ли вы продать мне свою шляпу? — Нет, я не хочу вам продать ее, потому что она мне самому нужна. — Могу ли я снять сапоги прежде, нежели сниму перчатки?

— Не слишком ли много вы пишете? — Нет, я пишу слишком мало. — Кто эта сумасшедшая там на рынке? — Это жена того сумасшедшего, которого вы часто видите в концерте. — Много ли козлов у пастуха? — У пастуха мало козлов. — Хорошие товары у этой женщины? — Да, у нее очень хорошие товары. — Что у нее? — У нее хорошие серебряные ножи, вилки, стальные перочинные ножики, ножницы и другие железные и стеклянные товары.

— Что драгоценнее красоты? — Добродетель. — Не можете ли вы одолжить мне несколько франков? — Я часто вам одалживал, но вы никогда мне ничего не отдавали.

— Сколько времени оставались вы у своего врача? — Я оставался у него два часа с половиною. — Что вы там так долго делали? — Мы играли в карты. — Что делает теперь портной? — Он чинит платье, которое я ему послал. — Зачем этот молодой солдат столько пьет? — Вероятно, ему пить хочется.

— Что у вас украли? — У меня украли прекрасные часы и золотой шнурок, который я купил в Париже. — Имеете ли вы белые перчатки? — Нет, у меня желтые перчатки. — Видели ли вы уже книгу, которую я написал? — Да, ваш издатель мне ее прислал. — Читали ли вы ее? — Я ее не читал, но пробежал немного. — Зачем не пишете вы как должно? — Я не могу писать лучше. — Стреляйте же, теперь ваша очередь! — Спасибо, я только что стрелял...

— Думаете ли вы возвратиться в Россию? — Нет, я этого не думаю.

— Что вы любите делать? — Я люблю читать и в особенности писать. — Много ли вы читаете? — Мы, литераторы, не имеем времени много читать. — Хотите вы купить этот замок? — Я хочу купить его, но у меня нет денег. — О каком человеке говорите вы? — Я говорю о том, у которого сгорел вчера дом. — Отчего плачет это дитя? — Потому что ему дали ножницы, чтобы стричь ногти, и оно себе обрезало пальцы. — Отрежьте мне кусок говядины. — С величайшим удовольствием!

— Пользовался ли уже ваш брат лошастью, которую он купил? — Да, он ею пользовался. — Сказали вы своему брату, чтобы он сошел с поезда? — Нет, я не смел сказать ему этого. — Почему вы не смели ему это сказать? — Потому что я не хотел его будить. — Скоро ли вы принесете мне мой обед? — Я лучше вовсе не буду обедать, нежели обедать так поздно. — Какая у вас вилка? — У меня вилка, которую мне дал мой брат.

— Видели вы золотой меч храброго капитана? — Я не видел его золотого меча, но я видел его серебряный шлем. — Отчего у этого молодого человека такой надменный вид? — Он почитает себя великим художником, он, который только весьма посредственно играет на фортепьяно.

— Купит ли ваш брат эту лошадь? Он ее не купит, потому что у него нечем ее купить. — С которых пор носите вы эту большую шляпу? — С тех пор, как я возвратился из Германии.

— Но у кого золотые шнуры? — Никто их не имеет.

— Кто стучит в двери? — Это я! Хотите вы мне отворить? — Чего желаете вы? — Я пришел просить вас отдать мне деньги, которые я вам одолжил. — Если вы будете столь добры и придете завтра, я вам их отдам.

Почему этот пьяница, всю жизнь свою пивший только вино, спросил в час своей смерти большой стакан воды? — «Умирая, — сказал он, — должно помириться со своими врагами».

Вот и все. Конец следствию. И преследованию. И странностям. И странствию. Мы никого не поймали. Хуже — потеряли то, что имели... Ни журавля в руках, ни синицы под окном. От всего, с чем в дорогу пускались, только и осталось что «Золотой шнурок». Тянется Ариадниной нитью от Пролога в Эпилог. Где ты, Лампа?

Смысл эпилога в том, что он велит оборотиться к началу. Но у Бальзанова долгое время не было сил это сделать. Смерть Супера его перевернула. Смерть доводит наши черты до конца и как бы закрепляет их и углубляет, делая умершего человека рельефнее, понятнее нам и даже иногда доступнее, чем живые люди, у которых путь в будущее еще открыт, и, значит, еще неизвестно, что они сотворят напоследок и как себя увенчают. И, вглядываясь мысленно в светлый образ Саши, Бальзанов проницал в нем то, что раньше было ему не совсем близким и только сейчас разъяснилось и выровнялось.

Он еще и еще раз оторопело перечитывал опусы Колдуна, прикрывшегося в этот раз Супером. Перечитывал в тоске. В страхе. Недаром же, как ни тянул его Бальзанов, не хотел Саша Супер, чистая душа, влезать в гиблый Кошкин дом, насквозь пронизанный испарениями вредоносных вымыслов. А чем же еще прикажете ее считать, всю эту русскую литературу, с ее научениями что делать и как жить не по лжи? Вся эта гнусная писательская мафия, разыгравшаяся на просторах времени вдоль и поперек, одним золотым шнурком повязана. Перебирая хрупкие листки архива из Кошкиного дома, сухой остаток приключенческой фабулы последних месяцев, Бальзанов теперь видел это так ясно, что мозг его отказывался понять: как его, старого воробья, провели на такой мякине и как это вышло, что он всю жизнь пробыл у демонского отродья в толмачах и пропагандистах?

На старости лет нелегко расписаться в банкротстве. Чем он лучше других?

Всю жизнь занимался словесностью, а теперь выясняется, что в ней корень зла. Во всяком случае русским, с их безответственными фантазиями, с чистым искусством нужно повременить. Рискованных соблазнов избегать. Как алкоголику следует воздерживаться от водки.

Бальзанов встречал писателей, состоявших из одних угрызений совести, а иногда ему казалось, что все они пьяницы. Но если говорить серьезно, то главное у них — разнузданное воображение. И в результате Россия — воображаемая страна. А все оттого, что слишком много читаем. Какая еще страна так зависела от изящной словесности? У каждой нации есть писатели и подчас не хуже русских, но ни в одной стране мира нет таких самонадеянных. Наглецы мнят себя солью человечества, сравнивают себя с царями, с богами, именуют себя властителями дум, как будто думы — главное на земле, а не пустые мечты и звуки. При имени большого писателя каждый раз вздрагиваешь, что он еще отчебучит? Толстой, например, унасекомил Наполеона, а потом и до русского царя добрался. Я не монархист, но нужны хоть какие-то исторические масштабы, чтобы не утратить реальности. А Горький считался следующей после Сталина фигурой, хотя в действительности ничего не мог, пустозвон. «Все совдепы не сдвинут армий, если марш не дадут музыканты», — самонадеянно утверждал Маяковский, имея на прицеле, очевидно, свой «Левый марш». И ведь не то чтобы русские писатели обязательно были нескромными. Просто у них самоощущение такое, словно от их мечтаний зависит судьба человечества. Гаршин «Красный цветок». И угрызения совести, если дело не выгорело, тоже отсюда. Несчастные в сущности люди, живущие иллюзиями. Стоит о них подумать, так душа разрывается от жалости, любви, презрения, страха и негодования. А страна, где так чтители и чтут писателей, разваливается.

Писатели приучили страну жить выдуманною жизнью, не считаясь с реальностью. Отставной учитель буквально изнемогал, от несчастной любви к изящной словесности и растущей подозрительности по отношению к ее творцам:

«Может быть, это у меня оттого, — думал он, — что я человек старой выучки и привык связывать литературу с жизнью, а если в жизни что-то не так, то винить в этом надо «надстройку», иначе говоря, словесность.

«Простой пример: во всем мире люди разводятся. Во всем мире разваливаются семьи и судьям приходится долго разбираться, с кем оставить ребенка: в доме матери или с отцом. И только в России ребенка традиционно оставляют с матерью. Исключения крайне редки. А мамы куражатся, папашек к дитятам не подпускают, что хотят, то и делают, и нет на них никакой управы. А кто виноват? Толстой виноват! Лев Николаевич! Как описал страдания Анны Карениной и душераздирающее свидание ее с сыном, так все законы Российской Империи и кончились. И теперь все судебные решения не по законам идут, а сплошь по словесности. Вот вам и сила слова. А сколько писателей и прочих выдумщиков прозаседало в президентских советах? Да Америка давным-давно от СПИДа бы вымерла, если бы вокруг ихних президентов вся эта надстройка крутилась.

«Поэт в России больше, чем поэт! Чудовищные слова! Какой должен быть народ, если он во главе своей истории поставил литературу!..

«Писательский демон творчества вовсе не прекрасен. Все несчастья, все бедствия страны — от него. Он — этот демон — начало разложения, распада, под видом созидания. И я, учитель словесности, и влекусь к ней и страшусь ее. Ведь какой был литературный расцвет накануне революции, а чем все дело кончилось и сколько народу из-за литературных идей зазря поубивали! Что нам в конце концов дороже — литература или жизнь? Разумеется, жизнь. Разумеется?..»

Часто Бальзанов вспоминал путеводительницу-лампу. Как та настаивала, просто за руку дергала — прочти да прочти «Золотой шнурок». Не по зубам было. Не дотумкал. Зато теперь тщательно штудировал копию из бумаг Лже-Супера. Он раскручивал и перекручивал, пропускал сквозь пальцы «Золотой шнурок», вывязывая его редкостными узлами: *шкотовым* и *стопорным*, *удавкой* и *восьмеркой*, *двойным морским* — а все выходили *кошачьи лапки*. Сперва он думал, заметив в злокозненной шифровке следы бессовестной письменности самых разных эпох, что перед ним итоговый материал, своего рода дайджест. Но однажды ночью, во время неверного ненадежного сна, с ним случилось что-то вроде озарения — так что он даже сел, мгновенно очнувшись, на кровати: это был не дайджест, не итог — это был проект и проспект, пратекст, установочный документ для всех колдунов мировой

литературы, спущенный верховным генералиссимусом зла еще до начала треклятой словесности.

«У вас ли мой прекрасный башмак?» О, след башмака тут не случаен. Придет Гоголь, и заберет этот башмак, и сварганит из него Башмачкина, и оденет драной шинелью, чтоб из дыры в ее рукаве высыпалась вся натуральная школа.

Куда пристроился золотой шандал, Бальзанов пока, без дальнейших изысканий, не мог сказать, но зато платок узнал сразу. «У вас ли мой новый платок?» — Его сразу подобрал Шекспир, и Дездемона не зря беспокоится и не находит себе места. Знает, какие будут последствия.

«Старый нож»... «новый нож» — ну это вам любой первокурсник прочтет как подготовительную вариацию-заготовку для пушкинской Земфиры: «Старый муж, грозный муж» — и новый муж и грозный нож здесь легко угадываются из подтекста и контекста.

Дальше пошел знакомый литературный инвентарь: *фонарь, стол, дом*. Его, почти автоматически отметил Бальзанов, использовали во множестве разные авторы — Блок, Цветаева, Ибсен, Шоу... Меж тем золотой нож сменился серебряным шандалом, а затем оловянным ... Этой эволюцией цветных металлов широко пользовались Гесиод с Гомером, нам же досталось одно серебро в виде наследия начала двадцатого века. Бальзанова прямо колотило от стучавшихся, чтобы без очереди пробиться в его сознание, инвариантов: «*Прекрасный суконный плащ*» — это тот синий, что Блок отдал в 1908 году Любови Дмитриевне, чтоб ей было во что печально завернуться. *Сыр*, конечно, заготовлен впрок для басен дедушки Крылова. Для него же, а до него еще для Эзопа и Лафонтена, все эти *гуси, орлы, хорьки и кони, три слона, «ищешь ли ты ослов и быков?.. три маленьких соловья и двадцать два воробья... пять коней... сколько фазанов вы видели в лесу?»* — На всех на свете баснописцев хватит...

«*Что у этого офицера... которого не любит полковник... кивер... стаканы...*» — заготовлено для сборника «Поэты-декабристы», но и автору «Войны и мира» подсказка на капитана Тушина. «*Железный или оловянный горшок у него?*» — Горшок, как ясно видел Бальзанов, предназначался Гансу Христиану, в подтверждение чему неподалеку болтались *свиньи*, и им мог потребоваться свинопас. «*В нашем доме нет ни котят, ни мышат...*» А это отойдет Маршаку и Чуковскому в кладовую детской классики.

«*Какую женщину видит этот юноша? — Он видит молодую и прекрасную женщину в черном платье*» ... Тут Бальзанов уперся мысленным взором в целую шеренгу Дон Жуанов. Великие бродячие сюжеты вплетены были в «Золотой шнурок». «*Сколько сестер у доброго сына нашего столяра?*» — Это даже нахальство спрашивать! Три сестры, разумеется, три — и всегодились Антон Палычу. «*Имеет ли этот убийца братьев?*» — А как же! «Братья-разбойники!» «*Куда идет кучер с лошадей отца моего?*» Как куда? На скачки! В «Анну Каренину!» «*Кого видите вы там в цепях?*» — «Шильонского узника!»

«*Какие перчатки у этих господ?*» — Господа в перчатках не труднее были для Бальзанова остальной викторины. Потому что рядом возникала тема стихотворца, отороченного хорошенькой женщиной, хотя несколько мешали детишки, они были из другой оперы... Но ключевое слово-понятие — «перчатки» — вело вовсе не к Шиллеру и не к рыцарю Тогенбургу, а к Анне всея Руси: «Я на правую руку надела...» ну и так далее.

«*Какие у вас карты? — У меня трефы. — Я думал, что у вас черви...*» Германн. Три карты, три карты, три карты...

«*Кто варит говядину? — Повар ее варит. — Француз ли вы? — Извините, я русский...*» Говядину-повар-русский-француз... Приглашение Льву Николаевичу приняться за «Войну и мир» и говядину переделать в конину: «Будут, будут же они у меня лошадиное мясо жрать, как турки!»

Бальзановское решение не расходилось с ответом. *Турки* были тут же, несколькими строчками выше.

Так, взяв след и идя по тексту, как по болоту, проваливаясь в него почти по колено, по пояс, Бальзанов, счастливый охотник, набрел на главную дичь. Все было сказано здесь же, почти впрямую, открытым текстом. Его и шифром-то невозможно счесть. Где были раньше его глаза? Ах, пентюх, преступная растяпа, вот за что Саша Супер заплатил жизнью...

Вот оно. Вот оно.

«Могут ли писать ваши братья-писатели? — Они могут, но не хотят. Почему они не хотят? — Потому что они слишком ленивы...»

Ну что вы на это скажете? Но дальше, дальше:

«Не слишком вы много пишете? — Нет, я пишу слишком мало».

Что это, как не отчетливый прообраз бесчисленных в двадцатом веке романов о том, как их авторы пишут (или не пишут) свои романы — от «Дара» до «Пушкинского дома» или «Спокойной ночи»?

Словно в игре «холодно-жарко», становилось совсем жарко:

«Видели ли вы уже книгу, которую я написал? — Да, ваш издатель мне ее прислал. — Читали вы ее? — Я ее не читал, но пробежал немного. — Зачем не пишете вы как должно? — Я не могу писать лучше. — Стреляйте же, теперь ваша очередь! — Спасибо, я только что стрелял...»

Бальзанов взмок от удачной охоты. Ох, сколько, сколько тут всего! Ветвится и разбегается в стороны ассоциациями по сходству и по противоположности шустрая мысль.

Во-первых, «Поэт и царь». Поэт и власть. Главная парадигма. И какая сатанинская гордость в ответе: «Я не могу писать лучше!» И далее — прообраз всех дуэлей в нашей и ненашей литературе: «Стреляйте же, теперь ваша очередь!» Вот и стреляют — и в героев, и в авторов. Дальше хоть подшивай все известные мартирологи — от Герцена и до Волошина. «Темен жребий русского поэта!» Но авторов Бальзанов теперь уже не жалел, он вывел их всех на промокашку, вытащил, выудил посредством золотого шнурка! Только поздно — Сашу Супера уже не вернешь.

Да, этот «Золотой шнурок» был та еще штучка. Второго такого подрывного текста Бальзанову за всю жизнь не случилось держать в руках. Проект? Проспект? Практекст? Установочный документ? — Да, да и еще раз — да! Но это был и за-текст, и пост-текст, итог, собственно говоря, всей литературы. Вершина! Значит, поостыв, стал вычислять Бальзанов, в загашнике у каждого колдуна, беременного пресловутым творческим духом, есть такая листовка. Дух — он на то и дух — вселяется то в того, то в этого, и готово дело: в здоровом некогда теле возникает творческий зуд, гул ритма, завязь сюжета, глупая вобла воображения. Жены, мужья, братья, сестры — все побоку. Пресловутый эгоизм творческой личности. В военном пайке британским детям изредка перепали бананы, так вот, сын Ивлина Во, тогдашнего классика, рассказал по случаю какого-то юбилея папаша, что ему за всю войну ни одного банана не досталось. А все дух, дух творчества! И мама была согласна — витамины классикам! А Андрея Николаевича Лескова почтительный мемуарий про отца почитайте. Дух творчества превратил старшего Лескова в капризного и черствого эгоиста. Да что примеры! Начнешь — не кончишь. Как говорил писатель Игорь Померанцев, писатели — очень плохие люди, и если хочешь оставаться человеком, приходится изо всех сил сдерживаться, глаз с нутра своего не спускать. Вел, значит, этот Игорь со своим Колдуном внутри себя непрерывную обреченную борьбу. Но — ближе к делу. Итак, Колдун, тот, за которым вился по пятам Бальзанов, обнаружив преследование, поступил, как любой другой из той же когорты: подселился в полюбившуюся ему плоть, выгнав Суперову душу наружу, в холод и бесприют.

Но пословицу знаете: «В здоровом теле дух здоровый». Саша Супер, наш Саша Супер, словно воплощал в себе эту римскую истину. Никаких собственных текстов за ним отродясь не водилось. И чужие не жаловал. Бальзанов, старый обалдуй, огорчался. Льва Толстого от Алексея не отличал, а уж про Алексея Константиновича и не слыхивал. Элементарно неначитан. Литературно малограмотен. И как ему только аттестат зрелости выдали?! Раз сидели они на лавочке на Никитском бульваре. Бальзанов тянул свое: зайди да зайди в Кошкин дом... Супер отнекивался... Все там, сказал, дышит книжной рухлядью и литературной фальшью. Тут он развил перед Бальзановым монолог, единственный за все их многолетнее знакомство. Бальзанов поразился — он не помнил, чтобы Супер когда-нибудь произнес больше пяти слов кряду. Так поразился, что тогда же и записал, чтобы не забылось. А теперь вот горестно перечитывал.

— Ах, Донат Егорыч, Донат Егорыч! Да разве можете вы понять, что такое крепез? Нет, дорогой друг, вам это не дано... А между тем в нашем железном деле бывают соединения разъемные, а бывают неразъемные. Ну, неразъемные — это просто:

сварка,ковка и заклепка. Но разъемные — это же поэзия! И вот тут нужен крепеж. Здесь вы белым стихом не обойдетесь, тут все детали резьбовых соединений нужны: и болты, и винты, и шпильки, и гайки, шурупы, глухары, шайбы, шплинты, а также штифты. А слова-то какие! Петь хочется — эх, шайба-гровер, шайба-гровер, и кто тебя только выдумал!

Но кроме ноты чистого искусства, заложенного в крепеж, есть в нашем деле и тонкий моральный нюанс. Вот вы свои сокровища где держите? На открытых полках, чтобы всем видно было, а если за створками, то чтобы те зеркальным стеклом сверкали. Каждому человеку, видите ли, нужна своя библиотека. Друг перед другом хвастаете, а сами друг у друга воруете. Да, да, воруете. Сами же мне рассказывали, как в юности еще, когда только-только книжной страстью вас зацепило, «Котик Ле-таев» вам достался с авторскими пометками на полях; а в книжку была еще машинопись вложена, вся собственноручной правкой украшенная — то ли Саши Черного, то ли Андрея Белого — уж не помню... Сплошной Князь Серебряный. Так где ваше сокровище? Украли. А кто? Великий человек, надежда демократии — сам Серж Григорьянс! А мой по железному делу товарищи гаечки у меня не тронут.

И склад свой я в консервных банках держу, без всякой вашей показухи его собираю и другу любимому Кириллу Леонтовичу, по прозвищу и по профессии Доктору, а по железному делу — коллеге, на его пятидесятилетие шикарный подарок сделал — ведро — вы представляете — большое ведро — полное крепежа — подарил. Держите, держите меня за руку, капитан Бальзанов, а то я вам сейчас целый чуден Днепр про крепеж исполню! Ведь я как обнаружил еще в шестом классе, что наружная облицовка автобуса имеет много лишних винтов, так с тех пор без отвертки и пассатижей из дому не выхожу. А для Доктора ведро я три года собирал, три года к его дате готовился. И это вам не тридцатиштучник Федора Михайловича на полку поставить или все сто томов партийных книжек Льва Николаевича. С книгами просто — были бы деньги... Ах, в магазинах нет? А жучки из частного сектора зачем? Какие среди них профессионалы! Сами знаете! Что хотите достанут. Хоть прижизненные издания тезки моего Александра Сергеевича, хоть сгоревший список «Слова о полку». Да что говорить!

Но попробуйте собрать двухсотграммовый стакан винта миллиметрового сечения. Но любовь побеждает смерть, и в том ведре целых два стакана миллиметрового винта было. И в разгар застолья вынес я свое ведро, «смотрите все!» сказал — и снял крышку. А там... А там на горе сверкающего металла драгоценные стаканы стоят. И мы с доктором чокнулись!

Какого человека потеряли!

Попытным движением памяти заново совершая недавнее путешествие с Андрюшей в Америку, Бальзанов иначе понимал смысл встречи с Колдуном в облике Супера. Нелегко, ох нелегко приходилось Кощею в этом облике. Никуда не денешься — творческое свербение завелось и в Супероном теле. И экие злобные экзерсисы остались в его серой папке! Но недаром знают психопаты, психоаналитики и психотерапевты, что телу о душе известно больше, чем душе о теле. Здоровая Суперова конструкция отторгала чужое литературное непотребство. Раз уж оно внутрь затесалось, — как бы сказало тело, все, что на ту минуту оставалось от Супера, — я его из себя не выпущу. Душу мою уже не вернешь, — пропало дело! — но Россию я Колдуну не отдам. Он у меня не выкрутится!

Да, — со злорадством подвел итог горе-сыщик, — это тебе не лагерный грибок в наследство от предыдущей жертвы. Это Саша. Это Супер. Да ему памятник надо в Москве поставить на месте Кошкина дома, как Георгию, победившему дракона.

Бальзанов вздохнул и закрыл папку:

«...Беда, что после ранения у меня исчез жест, когда по совету врача пришлось бросить курить. Конечно, речь идет о внутреннем жесте, сопряженном с чувством собственной правоты, так важной учителю. В особенности когда он имеет дело со взрослыми людьми большого и тяжелого опыта, с милицейским промыслом. Что-то вроде невидимого, интонационного восклицательного знака, служащего нам точкой опоры. Стойкость этому жесту придает вздетая вверх, к потолку, лихо задымленная сигарета. Не бойтесь, курить я бросил. Как отрезано! Но потерянный жест — вместе с чувством уверенности — восстановил только сегодня...»

Эпилог

Разлуки, пускай самые краткие, всегда создают впечатление, будто без нас не то что-то потерялось, не то, наоборот, произошло что-то невероятное. И ведь действительно произошло. Вернувшись в Москву, Бальзанов, Донат Егорович, по прозвищу Капитан, одноглазый учитель сыщиков, летавший на халяву в Америку, узнал с огорчением, что за этот непродолжительный срок на руках у Насти в одночасье скончалась Юлия Сергеевна, бедная вдова Иноземцева. Мир ее праху!

Кошкин дом, пока он летал в загранку, снесли до основания, и там уже строят то ли казино, то ли ночной клуб. Пригнали самосвал с бульдозером, и можете нас поздравить. На месте особняка взрытый повсюду асфальт. Ребята в милиции ему объяснили, что в заброшенном доме случилось *самовозгорание*. Таких загадочных случаев в нынешние провальные времена по Москве великое множество, и начальство само уже хватается за голову, почему, от какой напасти железные сейфы, люди, деньги, квартиры и целые состояния сами собой воспламеняются и бесследно исчезают? Что может в подобном огне сделать изношенный, одноглазый сыщик?

Однажды Бальзанов с Андреем прогуливали Матильду по знакомому нам пустырю и обсуждали собачьи достоинства. Мальчишка увлеченно развивал свою очередную гипотезу о появлении на земле человека. Последний произошел совсем не из обезьяны, как наивно утверждал Чарльз Дарвин, а, вероятнее всего, доказывал Андрюша, из пуделиной породы собак вроде нашей Матильды. Когда она, радушно виляя хвостом, стоит на задних лапах и с огромным интересом смотрит в окно на пробегающих мимо прохожих, собак и кошек, ее физиономия — просто копия знаменитого Адриана Евтихиева.

— Какого еще Евтихиева?

— Волосатого человека. Не верите? Был такой в России в девятнадцатом веке. У него все лицо шерстью заросло. Мне дядя Саша показывал в одной книжке...

При имени дяди Саши оба они грустно замолчали. Наконец Бальзанов в сердцах воскликнул:

— Проклятая литература! Если бы ты знал, Андрюша, сколько она добрых людей погубила на свете. Если бы ты знал...

— Но мне почему-то все равно жаль Колдуна, — возразил Андрей. — Ведь он всю жизнь любил, ты сам говорил, дядя Донат, мамину подругу, Юлию Сергеевну. И они умерли, ты же знаешь, как в сказке, в один день...

— И в один час, — печально подтвердил Донат Егорович. — Вот что удивительно...

— Как в сказке! — повторил мальчик. — А может быть, он все-таки жив?..

Оторопев, Донат Егорович стал терпеливо объяснять, что они с дядей Мирном самолично присутствовали при агонии Колдуна и готовы головой поручиться: того больше нет в живых.

— А может, за то время, что вы не виделись, — фантазировал Андрюша, — он как-нибудь научился пересылать свою колдовскую душу на далекие расстояния и теперь все еще летает и вселяется в разных людей?

— Не дай Бог...

И, меняя тему, Бальзанов спросил Андрея, чем тот намерен заниматься в недалеком будущем и какую теперь предпочитает профессию.

— Я буду историком, — охотно откликнулся подросток, словно сам давно уже размышлял над этим вопросом. — А повезет — писателем.

Капитан недовольно поморщился и поднял голову. По всему пустырю, по битой щебенке и по лицу мальчишки скользила легкая тень. В осеннем солнечном небе, на большой высоте, проплывало золотое мохнатое облако.

Мне всегда хотелось написать роман ни о чем. Сесть бы за письменный стол и с места в карьер поехать куда глаза глядят, куда Макар не гонял, на все четыре стороны. Писать о том, что вот, как это ни дико, ни удивительно, сижу и пишу, никого не трогая, ни о чем не помышляя, не спрашивая, встряхиваясь на ухабах слишком длинного, затянувшегося не в меру периода, просыпаясь и вновь засыпая над чистой страницей, которая между тем не спеша заполняется реденьким текстом с лохматыми силуэтами встречных мужиков, бредущих, не замечая меня, в ушанках и полушубках, по проселочной дороге, под вечеряющим небом, укрыв, как младенцев, за пазухой новенькие, ледяные поллитры. По бумаге, готовой разъехаться снежным лесом, темным

полем, посреди которого, ни с того ни с сего, вдруг возьмет и рассыплется город, в замороженных киосках, в автобусах, с кооперативными квартирами, с чахоточными, иссякающими в зубовой пляске огнями, или то снова, быть может, знакомые запретка и проволока, заточенные до свинцового блеска черные кольца острога, а там узкоколейка, проселок, полосатая рука шлагбаума, и за шлагбаумом опять потянулись ровные леса и поля, пыхнет паровичок, и снова полосатые леса и поля.

Нет, всего лишь текст. Книга, не имеющая ни фабулы, ни названия, ни даже, если всмотреться, героев, без формы, вне содержания, попробуй схватить этот дым, пройти пешком по этой рыхлой равнине и где-нибудь на полустанке, иззябнув, сесть в поезд и тронуться снова, ничего не видя, не помня, уставившись холодным лбом в холодную мглу за окошком, прослушивая, с холодом в сердце, перестукивание колес.

— Не доедем — не доедем — не доедем — на доедем — не дое...

— Выбьемся — выбьемся — выбьемся — выбьемся — вы...

— Смерти подобна — смерти подобна — смерти подобна — наша — наша — наша — наша — наша — душа...

— Свобода — свобода — свобода — свобода — свобода народа — без рода — без рода — пусть — пусть — пусть — пусть...

— Пш-ш-ш...

Пар выпускают. Приехали. Остановка. А поезд уже пошел и пошел...

1974–1997, Фонтене-о-Роз
Публикация М. В. Розановой

* * *

В отличие от большинства современных писателей, Абрам Терц (он же — Андрей Синявский — 1925 — 1997) никогда не стремился поскорее напечататься. И если Андрей Синявский еще в середине 50-х приносил в «Новый мир» очередную статью и гневался задержками с публикацией, то у Абрама Терца — его непутевого двойника — между отправкой (тогда же) рукописи во Францию и встречей с книгой иногда проходило много лет.

Мало-помалу это стало привычкой, раздвоение писательской личности прочно вошло в обиход, и если Андрей Синявский сегодня писал лекцию, а завтра читал ее в Сорбонне, Баварской академии или Гарварде, то тексты злокозненного Абрама отлеживались долго. Так, прошло много лет между окончанием «Прогулок с Пушкиным» (1968, Дубровлаг) и их публикацией (1975, Лондон), роман «Спокойной ночи» жил в рукописи четыре года (это при собственном издательстве!), и даже маленькое эссе «Путешествие на Черную речку» появилось в журнале «Синтаксис» (тоже собственном!) через три года по окончании.

У подобной заторможенности нашлось и теоретическое обоснование: Синявский считал, что Абрам Терц — писатель для очень немногих: глаголом сердца людей наш Абрам не сжигал и как жить не по лжи никого не учил, поэтому массовый читатель ему не нужен и торопиться тоже некуда. Недавно в архивах Синявского я обнаружила записку, где перебиралось по пальцам: «Трудно приходится писателю. Он все время вычисляет. Мария (жена) — меня понимает, Каспар-Хаузер (кошка) — тоже, кажется, понимает. Матильда (собака) — та уж вообще все понимает. Наташа Рубинштейн (критик) — написала обо мне лучшую статью (тоже все понимает)».

«Кошкин дом» был окончен в 95 году. Потом лежал. Летом 96-го автор рассыпал готовое произведение, поменял местами некоторые главы, кое-что дописал, многое сократил, что-то осталось в вариантах. Собрат, свинтить свою любимую игрушку — текст — не успел. Пришлось это делать мне, руководствуясь его планами, заметками и записками. С помощью Натальи Рубинштейн, за что ей великая благодарность.

М. Розанова